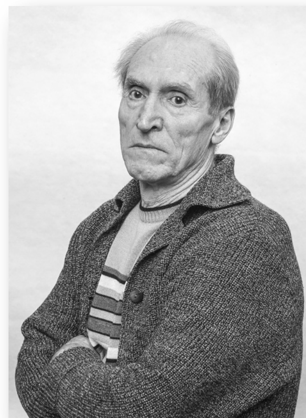


ОЛЕГ ЖДАН

*Не погибнет со мной**

Роман

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава седьмая

Предчувствия, что арестуют сегодня, не было. Но, во-первых, никогда не верил в предчувствия, во-вторых, знал, что не сегодня, так завтра, послезавтра, через неделю — не растерялся да и не слишком взволновался, услышав, как распахнулась дверь на первом этаже и впустила в подъезд торопливое кабанье стадо. Он едва успел собрать рассыпанную по столу рукопись и отхлебнуть перестоявшегося горького чая.

— Аккерманский мещанин Николай Степанов Ланской?

Спастись от ареста можно было только уехав из Петербурга. Но как уехать, если арестованы Андрей, Соня, Геся, Рысаков и Михайлов? Как жить и спасаться, зная, что лучших — нет? Что скажет собственная душа избежавшему казни телу?

Уехать было нельзя.

Но как вышли на его след? Только Желябов, Фроленко и Вера Фигнер знали его новый адрес. Дворник? Хозяйка квартиры, у которой снимал комнату?.. Взглянул на них, принимавших участие в обыске как понятые. Дворник Федор Козлов, могучий тридцатипятилетний мужчина, рабски согнувшись, стоял у стола, заглядывал в протокол обыска. Что ж, если доноситель — он, гарантированно ему поощрение и авторитет среди других дворников столицы, а может, и в деревне, откуда он вырвался на теплые петербургские хлеба.

Ну, а хозяйка квартиры Александра Григорьевна Иванова, которой он не далее как вчера починил старую керосинку и долго слушал рассказ о спившемся супруге, что утонул в полынье Невы в Рождественскую ночь? Она интересовалась, куда попал супруг. За пьянство положено вроде бы в ад, но если в Рождество Христово... Может, и в рай?

Она к доносу, видимо, не причастна. Растеряна, испугана, ей — порицание, а не поощрение, не уследила, не разобралась, не опередила иных. И это было утешительно, поскольку всегда печально, если доносительница — женщина. Иная у них должна быть в жизни роль.

Еще адрес знал Василий Меркулов. Его арестовали в один день с Желябовым, и тогда же всем, чьи адреса он знал, было предложено срочно оставить квартиры. Оставить — легко, но где поселиться? Ныне хозяева квартир, гостиниц тотчас требовали паспорта и сведения относили в участок.

Впрочем, теперь все это уже не имело значения.

---

* Продолжение. Начало №№ 3, 4 2014 г.

Обыск заканчивался. На первых же минутах обнаружили план Петербурга, три карты европейской России, а главное, брошюру «Правила выделки игольчатых запалов с гремучекислой ртутью». Больше ничего и не было, кроме десятка книг да керосиновой лампы, что носил с квартиры на квартиру, смены белья да серебряных часов, что подарил когда-то Степан к переходу в Медико-хирургическую академию. Вдруг всех заинтересовала подушка. Была она перьевая, а не пуховая — купил три года назад, выйдя из тюрьмы, что подешевле, — и когда начали ощупывать, перья затопорщились под наволочкой, это и заинтересовало. Было смешно, что трое мужчин поочередно, как курицу-несушку, щупают ее с внимательными лицами, и он сказал:

— Д-да, с яйцом.

На шутку такую не отозвались, но подушку оставили в покое.

Что ж, в путь?

Надел пальто, уже проверенное жандармами, зимнюю шапку, перчатки — все это он с помощью Прасковьи Ивановской купил полгода назад в Гостином дворе. «Однако, какие они стройные, эти аккерманские мещане!» — воскликнула тогда Прасковья: паспорт у него был на имя аккерманского мещанина Василия Агатескулова. Очень приятно услышать такое от женщины. Обычно он покупал поношенные вещи, а тут — новое. Ни за что не хотел снимать пальто даже в гостях, пока прилюдно не давали слово, что возвратят.

Хотел шагнуть в дверь первым, но капитан остановил его:

— Минуту. Пойдете за мной.

В полицейской карете два жандарма сжали его плечами.

— Я в-вас не стесняю? — спросил одного, потом другого: — А вас?

Жандармы были молодые, молодцеватые, их можно было бы назвать красивыми, если бы не выражение крайнего физического напряжения в лицах и муки неподвижности в глазах. Возможно, то был их первый выезд на арестование.

Шторки опустились, карета тронулась. Сперва он угадывал улицы по поворотам, длине проездов, потом сбился. Очень настойчиво просились в голову мысли о прошлом и будущем. Он не впускал ни те, ни эти: будет время подумать.

Наконец, карета остановилась, и в распахнувшуюся дверь Кибальчич увидел секретное отделение градоначальства. Этот адрес он и предполагал. Вышел, зажмурился. Стоял полдень, и солнце явно показывало на скорую и бурную весну. Непривычно шумно было на улицах: прибавилось праздных и озабоченных, извозчики дали отставку саням, запряглись в колеса. Чем-то они, покрикивающие, помахивающие кнутами на козлах, напоминали прилетевших с юга грачей. Солнечная река, казалось, полноводно течет по Гороховой и там, у Адмиралтейства, бурлит, вливаясь в новый поток. Это неистовое сияние напомнило ему иной день, когда они с Александром Квятковским вышли из кондитерской на Невском и тоже замерли на дне солнечного океана: где мы? где лево, где право, куда идти? Два года прошло с того дня, недолгий срок, но теперь казалось — то была встреча в иной жизни. Или — с нее началась новая жизнь. Очередная новая жизнь.

Теперь, если оглянуться, можно увидеть, что не Квятковский, не брат Степан, не отец — сам по своей личной воле несколько раз круто менял ее, обещавшую долгое и покойное течение. Так было в Чернигове, Новгород-Северске и дважды здесь, в Петербурге. Так было и накануне того дня, когда встретился с Квятковским. И все это были очень разные жизни.

Конечно, каждый поворот что-то предполагало, и в этом смысле он был не так уж самостоятелен. Что же предполагало встречу с Квятковским?..

Не то, что бы он ожидал увидеть баррикады, выйдя после суда на улицы Петербурга, но, казалось, в облике толпы будет одна мысль и значение: вот оно, началось. Все, что таилось, обнародуется, пряталось — откроется, выплеснется на улицы с ожиданием и готовностью.

Ничего подобного не увидел. Как ни в чем не бывало неслись «ваньки», отчаянно вскрикивая на поворотах, молодцы на Сытном рынке по-прежнему лихо рубили говяжьи и свиные туши, вечерняя толпа на Невском стала еще более нарядной и праздной.

На следующий день он отправился в академию. Вакации заканчивались, но и в саду и коридорах было еще пусто, работала только канцелярия.

Письмоводитель Музыкатов вскочил, увидев его, рванулся из-за стола и замер. Алая кровь медленно заливала вечно девственное лицо.

— Ваше прошение у Быкова, — сказал он. — Зайдите к нему, Николай Иванович.

— П-понятно... Чья резолюция на прошении?

— Покойного генерал-адъютанта Мезенцева.

— Тогда какой смысл? П-последняя воля священна.

— Николай Иванович! — заговорил письмоводитель. — Я читал ваше прошение. Очень плохо составлено... Проситель должен выразить свою душу... Поверьте мне, я больше понимаю в этом. Повторите прошение, вы страдали — выразите страдание. Передайте, о чем думали в заключении, в чем переменились... Хотите, я помогу вам?

Кибальчич улыбнулся этому безусловно славному человеку.

— Спасибо, Музыкатов. Не получится...

— Я напишу за вас!

— Не надо...

Непривычно долгим показался коридор, незнакомо звучали собственные шаги. Чем ближе подвигался к выходу, тем быстрее.

История была проста. Столоначальник петербургского градоначальства Агафьев, получив прошение Кибальчича и запрос Быкова, задумался, не зная, какое принять решение. Прецеденты имелись, но обыкновенно за первопросителя в таком особенном случае кто-либо хлопотал — порой лица в государстве весьма значительные. По его собственному разумению Кибальчичу следовало отказать немедленно, но столь же быстро можно попасть впросак. Он передал прошение генерал-адъютанту Мезенцеву. Градоначальник, однако, тоже впал в размышление. С одной стороны, наказание Кибальчичу было определено смехотворное, чем суд признал, что напрасно продержали человека в тюрьме два года и восемь месяцев; с другой — милостивый суд еще не истина в последней инстанции, на его решение явно оказал воздействие тот грандиозно задуманный, но бестолковый процесс, унизивший правосудие империи; с третьей стороны... Вроде негожа категоричность в новой атмосфере столицы. Он сформулировал ответ вопрошающе и неопределенно: «Едва ли удобно разрешать?»

И когда прошение вернулось на стол предыдущий, хозяин его, удовлетворенный и формой и содержанием резолюции своего начальника, его единомыслием и единочувствием, уверенный, что так же правильно мог бы решать более важные государственные вопросы, твердо написал: «отвечать отрицательно». Окончательную форму ответ получил на третьем столе, начальник которого, судя по почерку, был молод и тщеславие свое пока удовлетворял хорошими формулировками.

«Господин главный начальник III-го отделения собственной Его императорского Величества канцелярии признает со своей стороны необходимым

отклонить ходатайство сына священника Николая Кибальчича о принятии его снова в число студентов Медико-хирургической академии».

Все трое тотчас забыли об инциденте, как забывали большинство проходивших через канцелярию дел, и неизвестно, вспомнили ли о нем через несколько лет. Если и вспомнили, то с удовлетворением: правильное было решение.

Но для Кибальчича оно имело особенное значение...

И еще был эпизод с прошением, о котором Кибальчич вспоминал со стыдом.

Не так просто оказалось существовать в Петербурге без друзей и занятий, с неясным завтрашним днем, не говоря о более далеком будущем... Целыми днями, чаще всего без обеда, с открытия до закрытия сидел в Публичной библиотеке.

Странная особенность отличала его: плохо контролировал время. Потому и подарил брат Степан серебряные часы: «научись ценить хотя бы часы, если не минуты». То было увеличение, он давно ценил и часы, и минуты. Но открыв журнал или книгу, мог выпасть из времени и прийти в себя вечером от необходимости зажечь свет или от голодной пустоты в желудке. Так и здесь однажды случилось: пахнуло откуда-то сытным картофельным супом, и он понял, что не дойдет до ночлежки на Обводном канале, где жил тогда и где давали на ужин ломоть хлеба и кружку чаю. Тут-то и вспомнилась студенческая столовая академии, навечно пропахшая картофельным супом.

В конце концов еще не поздно, а три истекших года он тоже не терял времени даром.

Снова написал прошение начальнику академии Быкову.

Ответ получил скорый и ясный: отказать согласно резолюции генерал-адъютанта Мезенцева.

Мезенцева не было, но резолюции продолжали работать. Быков не захотел принять его.

Впрочем, не только вспоминание о тарелке супа пробудило желание вернуться в академию и стало причиною унижения. Вскоре после убийства Мезенцева вышел указ, по которому все лица, находившиеся когда-либо под судом или следствием по политическим делам подлежали высылке из столицы в сельские местности. Была и еще причина, по которой полиция могла особо интересоваться его персоной: остался должен Особому присутствию 101 рубль 61 копейку, 98 рублей 8 копеек — на путевые расходы свидетелям, 53 копейки — на почтовые расходы, 3 рубля — священнику за приведение к присяге свидетелей.

Надо было либо получить студенческий вид на жительство и рассчитаться с ОППС, либо перейти на нелегальное положение.

Чрезвычайно интересная встреча случилась у него в декабре, незадолго до Нового, 79-го года. Досидевшись, как обычно, в библиотеке до голодной тошноты, он возвращался в ночлежку, как вдруг услышал женский голос:

— Кибальчич?

Оглянулся и увидел знакомое, а когда-то и дорогое лицо. То была «Вивиен де Шатобрен», «Маруся», «Веньяса» — Елена Андреевна Кестельман.

— П-пресвятая Дева Мария, — сказал он, — н-неужели — вы?

Год прошел со времени их встречи в Киевском замке, немало минуло событий и, если откровенно, он забыл ее. Конечно, порой вспоминалось нечто неопределенно счастливое, но не искал, не стремился увидеть. А сегодня — в затерханных на полу ночлежки штанах, в пальто, что служило и одеялом, и постилкой, с кучерской бородой — и не хотел бы.

Уже пора было сказать что-то связное, спросить или рассказать, а он все топтался, заступая дорогу, улыбался, так что уши съехали на затылок, и повторял: «Е-Елена Андреевна, Елена Андреевна...»

Она тоже обрадовалась ему.

Приехав в Петербург, она остановилась у знакомого по Киеву студента Медико-хирургической академии Леона Мирского, в двухкомнатной квартире на Большой Невке, которую он снимал с другим студентом, Алексеем Шеманским. Это он, Мирский, сын обрусевшего уманского шляхтича, внушил ей, что если мечтает о настоящей жизни, надо уезжать в Петербург.

Настоящая — значит, романтическая. Именно о такой она и мечтала.

Мать тоже не возражала. Самое важное — манеры и хороший французский — она ей обеспечила, устроив в знаменитую Фундуклеевскую гимназию, наняв репетиторов. Пришла пора самостоятельно устраивать жизнь. Можно хорошо выйти замуж и в Киеве, но здесь их мнения впервые и навсегда разошлись: отвращение вызывали у дочери отпрыски купеческих и дворянских семей, интерес — те бестолковые студенты, что жили на двадцать копеек в день.

Однажды она познакомилась и тотчас влюбилась в Валериана Осинского. «О Боже! — стонали подруги. — Он прекрасен, как солнце!» Но иным, совсем иным поглощен был Валериан.

Когда он предложил ей вступить в брак с неким Кибальчичем, обиделась, возмутилась, однако согласилась тотчас: как еще сохранить тонкую нить, связывающую с ним?

Нет, Кибальчич не разочаровал ее. И недаром она назвалась его невестой в марте семьдесят восьмого, когда ее арестовали вместе с Леоном. Хотя и Леон не особенно погрешил, назвав ее своею невестой...

Алексей Шеманский тоже тотчас влюбился в нее. Но разве мог он, медведеподобный, безропотный, сравниться с Леоном?

«Вы прекрасная, Вивиен!» — шептал Леон по-французски, когда оставались одни. Имя это он сам придумал для нее, поскольку еврейская фамилия Кестельман и самоназванье «Веньяса» хороши, быть может, для Киева, но не для Петербурга.

Она протягивала руку, и Алексей неуклюже и робко пожимал ее, а Леон падал на колено и замирал, прильнув губами, единственная вольность, что позволял себе — поцеловать в ладонь.

В конце концов она и в самом деле почувствовала себя некой «Вивиен де Шатобрен», а не киевской мещанкой, которой судьба подарила необычную внешность.

Иногда Леон рассказывал, какие перемены назревают в России. Ясно было, что он сыграет в них не последнюю роль. А однажды пригласил в свою комнатку и показал новенький револьвер и две коробки патронов к нему. В тот день она позволила прижаться лицом к платью, когда Леон упал на колени перед ней:

«Вы прекрасная, Вивиен».

И вдруг — обыск. Револьвер системы «Веблей», патроны, кистень, а главное — брошюра «Покушение на жизнь Трепова», чигиринская «Золотая грамота», газеты «Вперед» и «Начало».

Леон держался достойно. Для чего купил револьвер? Для удовольствия. Для чего газета, брошюры? Для расширения кругозора. Где приобрел то и другое? Сказать не желаю.

Особо заинтересовала полицию «Золотая грамота»: вскоре после ареста Леона из Киевского замка бежали Стефанович, Дейч, Бохановский. Тотчас отправили в Киев, где шло следствие.

Обыскали и комнатку Веньясы, нашли письмо Кибальчича. Кто он? Жених.

Леон слал из Киева письмо за письмом. Когда был рядом, многое отпугивало в нем, казалось преувеличенным, странным. Письмам она доверяла больше. Он писал о любви, скорой встрече, о светлом будущем, что ожидает Россию.

Порой ее навещали его друзья, например, Александр Михайлов. Он и порекомендовал новую квартиру — комнату у секретаря поземельного банка Григория Левенсона. То был богатый и гостеприимный дом. Картины в золоченых рамах, хрустальные люстры, глубокие напольные ковры, тишина. Левенсон отдал ей маленький будуар в голубых тонах — кушетка, два пуфа, туалетный столик в стиле французского двора XVIII века, стены, обитые гобеленовой тканью... Денег за комнатку Левенсон не брал, смеялся, когда предлагала, но глядел на нее пугающе настойчиво, пристально, хотя ничего особенного, казалось, и не желал.

Михайлов никогда не приходил с пустыми руками, всегда — с сумкой, портфелем. Задвигал под голубую кушетку, просил подержать у себя несколько дней. Она не интересовалась, что там. Плохо понимала, что хотят такие люди, как Михайлов, Леон, Осинский, что собираются предпринять, но и страха не чувствовала — даже когда арестовали вместе с Леоном и продержали в тюрьме несколько дней. Страх пришел позже: когда узнала о казни Валериана. А пока было ясно одно: из всех знакомых даже внешне самые совершенные — они.

О Кибальчиче вспоминала все реже. Похоже, и он не часто: пришлось окликнуть при встрече — скользнул по лицу взглядом и не узнал.

После ареста Мирского и Шеманского оказалось, что в Петербурге она — одна. Правда, исправно посещала акушерские курсы, но участь рядовой акушерки все менее привлекала ее. Только в разговорах с Михайловым и Леоном такая судьба казалась лучшей из всех. Вдруг испугалась, что снова потеряет Кибальчича,

В тот вечер у Левенсона был приятельским ужин, и она решила пригласить его. Гости собирались к десяти, стол накрывали бутербродами, ставили самовар, несколько бутылок вина. Публика здесь была особенная, говорили едва не на всех европейских языках, и вечера особенные: каждый раз обсуждали государственное устройство, науку и религию какой-либо новой страны. Уже давно покончили с Европой и Америкой, забрались вглубь Азии, и Левенсон жарко потирал руки — близился день его реферата, а из названия государства он сделал секрет.

Они пришли, когда в разгаре было обсуждение устройства Персии. Гости резались не на жизнь, а на смерть, второй самовар опустел и остыл, и Левенсон кричал «чаю!» как кричат в бане «жару!». Гостей было много, около двадцати человек, сидели на стульях, в креслах, на диване, возлегали на ковре. Дым от трубок и папирос стоял столбом.

Кибальчич был сражен и растерян. Осторожно присел с краю стола, не разумея, что происходит, оглядываясь, прислушиваясь, а потом протянул руку за бутербродом, чаем, и, по-видимому, бутерброды и пирожки с запечеными цыплятами ему понравились: оживился, потянулся за вторым и теперь уже не переставал жевать, прихлебывать, одобрительно кивая на всплески и возгласы, пока... Да, пока не кончились бутеброды. Тогда он удовлетворенно откинулся на спинку стула и вдруг спросил?

— Персия, Персия... Что-то знакомое... Г-где же это?

— В Малой Азии, молодой человек, — стыдясь и краснея, подсказал Левенсон.

— Ах да, правильно... А я подумал сперва — б-близ Аккермана. Есть у нас деревня Ахтырка, так там тоже никакой к-конституции нет.

Тихо стало в сиреневой зале Григория Левенсона. Кибальчич увидел, что разглядывают его то ли как агента III отделения, то ли как нигилиста.

— Извините, г-господа, — сказал он и встал. — Очень трудно найти извозчика после п-полуночи.

Елена пошла его проводить.

Рефераты у Левенсона ей изрядно наскучили, но и на Кибальчича она сердилась. В самом деле, какое имел право и основания?.. С другой стороны, наверно, так же повели бы себя и Осинский, и Михаилов, и, возможно, Леон.

— Вам не понравилось? — спросила она.

— Н-напротив, очень понравилось. Особенно с б-балыком, — сказал он.

Выходит, она совсем не знает этого человека, хотя казалось — ясен как лист.

Он являлся еще несколько раз. Однажды она оказалась в испанском платье, другой раз в костюме амазонки — ни то, ни другое не произвело на него впечатления. Может быть, не заметил даже, что комнатка ее — кушетка, пуфики, стены, акварель «Утренний туман» — все в голубых тонах. Особенно оскорбительно вел себя в последний визит: подолгу молчал, отвечал невпопад, хмурился, но и не уходил.

— Сегодня бутебродов с балыком не будет, — сказала она, не в силах сносить такое пренебрежение.

— Чего не будет?

И вдруг начал смеяться. Очень неприятно было смотреть на его крепкие белые зубы — нагло обнажились до десен.

Больше они не встречались.

Когда Леон был освобожден, пришел к ней и, как прежде, рухнул на колена, она опять вспомнила Кибальчича. «Леон, — сказала с досадой, — вы не виконт, я не виконтесса. Вы разорившийся уманский шляхтич, я — киевская мещанка. Встаньте с колен». Леон не понял или не захотел понять — прижал край подола к губам, закрыв глаза. А может, действительно любил ее, и виконт с виконтессой здесь ни при чем.

Два месяца спустя он с лошади, на полном скаку стрелял в шефа жандармов Дрентельна, но промахнулся, лишь только разбил в карете стекло. Подвиг он хотел посвятить ей.

Говорили о том, как упала, поскользнувшись, лошадь, и наездник, вскочив, передал уздцы подбежавшему городовому: «Подержи, братец. Пойду поправлюсь». Что именно такую картину — городового, ласково оглаживающего кобылу, и увидел минуту спустя погнавшийся следом Дрентельн. «Не извольте беспокоиться, ваше высокопревосходительство. Они не разбились».

Но ей, Елене-Вивиен, было не до смеха. Она испугалась до истерики — слишком свежа в памяти была судьба Валериана Осинского.

Леон собирался бежать из Петербурга и пришел к ней проститься. В ту ночь они стали мужем и женой.

Еще два месяца спустя Леон был арестован в Таганроге и приговорен к смертной казни.

Что еще значительного произошло в ее жизни?

Родила дочку, была выслана в Ярославль, где имелась тогда однаединственная фабрика, что производила махорку, вышла замуж за новоторжского дворянина, подпоручика в отставке, ссыльного Федора Измаиловича Бека. Снова, уже вместе с мужем, была выслана в Семипала-

тинскую губернию за продажу лотерейных билетов в пользу ссыльных, а когда вышел срок, переехали в Тифлис. Федор Измаилович долго работал в управлении железной дороги, мечтая вернуться на родину, в Торжок. Но — не было суждено.

А Елена Андреевна вернулась в Киев и еще долго жила там, выдавая замуж дочерей, женила внуков.

Она считала, что жизнь ее не удалась.

Что касается Мирского — его помиловали, учли безрезультатность покушения и молодость. Позже, сидя в Алексеевском равелине вместе с Нечаевым, предал его, когда тот задумал побег, связавшись через охрану с народовольцами. Несколько десятков распропагандированных Нечаевым солдат отправились в Сибирь.

Освоив новую роль, Мирский предавал и других.

В Сибири, отбыв Карийскую каторгу, вышел на поселение в Верхне-Удинск. Редактировал в начале нового века оппозиционную газету, был снова приговорен к смерти экспедицией генерала Ренненкампфа и снова помилован. Ни он о Елене Андреевне, ни она ничего больше не слышали друг о друге со времени той памятной встречи.

Трудно без друзей и определенных занятий, еще труднее — без денег. Взялся подготовить к гимназии сына купца Рюханова за вознаграждение в сто пятьдесят рублей — ленивого, тупоумного, мстивого — и не подготовил, трехмесячный труд пропал зря, не получил ни копейки, еще и обругал Брюханов площадными словами. А когда стало и вовсе невмоготу, отправился к откупщику Брыгайло на Сытный рынок, прослышав, что ему требуется приказчик. В месте приказчика Брыгайло сразу отказал, но предложил попробоваться на молодца, повесить на крюки несколько телячьих туш. Кибальчич понимал, что издевается, даже заправские молодцы цепляли туши вдвоем-втроем... «Нет, господин студент, — широко улыбаясь, ответил Брыгайло. — Говядина не по барину». Пробовал предложиться приказчиком в ветошный ряд — тоже не подошел...

Спасибо профессору Доброславину, издателю «Здоровья» — не забыл за три года, давал переводить для журнала, мог отвалить и задельных пятьдесят рублей. Позже публиковался и в «Слове». Здесь и гонорары оказались приличнее и работа серьезнее — писал обзоры, рецензии на книги естественного направления, заколачивал иной раз до двадцати рублей. Мог бы и больше, но хотелось поправить свое жалкое образование, вгрызался в ньютоновские «Принципы», в механику Вейсбаха и Брашмана, в математику Малинина, аналитическую геометрию Брио и Буке.

Порой наступало пресыщение книгами, и тогда ходил в доступные благодаря прежним приятелям кружки. Кружков в Петербурге было много, десятки, а может, и сотни. Казалось, весь город организовался в кружки. Они объединялись и распадались, проповедовали социализм, анархизм, адамизм, коммунизм, спиритизм. Вслушивался в нынешние речи и сравнивал с теми, накануне ареста. Впечатление было таково, что в огромной топке стало больше жара, но каждый готовит свое варево, каждый несет в общий котел свою щепоть соли, свой золотник мяса, свои приправы. Что за бульон образуется в конце концов?

Заметно меньше стало общих разговоров о любви к народу и больше злобы — не только к полиции, правительству или отдельным лицам, но и к русской истории — за то, что сложилась так, а не иначе, к предыдущим поколениям — за то, что мирно прожили свои жизни, а должны были при-

нять муку. К дворянству, сановникам, чиновникам, интеллигенции, а порой и к крестьянам. Даже к недавним кумирам — Чернышевскому, Чайковскому, Натансону, Долгушину... К первому за то, что прижился в Сибири, спокойненько ждет, когда минет срок, ко второму — уехал в Америку, молится вместе с шеккерами, к третьему за то, что... Каждому и любому предъявлялся свой иск.

Еще недавно эмигранты почитались едва не героями — сегодня с иронией относились к ним.

Меньше других за три года изменились анархисты — по-прежнему твердили, что никаких особых знаний революционеру не нужно, а надо звать народ к бунту; тоже и «набатовцы». Больше — лавристы. Теперь и они считали, что до революции недалеко...

Самое привлекательное из кружков и обществ «Земля и Воля», но именно ему приписывали последние убийства — Рейнштейна в Москве, Никонова в Ростове на Дону, Барановского в Киеве. Много возникало вопросов, и главный — как же так, не слишком ли это — поселиться вдвоем в гостинице и ночью зарезать, налететь толпой и всадить пять кинжалов, пригласить на прогулку и — гирей в висок?

Хотел было примкнуть к «Началу», но прочитал первый номер газеты и разочаровался. Верная оказалась молва: мочало, а не начало.

Однако и одному жить нельзя.

Он присоединился к кружку, где было несколько народников прежнего, «чистого» образца, и несколько новых, считавших — все, хватит, не стоит за одного распропагандированного мужика годами сидеть в тюрьме. Да и кто видел их, распропагандированных? Или — сколько? Если они, мужики, не понимают своей пользы и будущего, так надо заставить понять.

По субботам на сходки кружка приходил некий молодой человек — тихий, замкнутый, слабогрудый. Оказался он сыном смотрителя Трубецкого бастиона Богорадского, где ждали отправки в Сибирь приговоренные к каторге Войнаральский, Мышкин, Ковалик. Он тоже служил в крепости, заведовал тюремной библиотекой.

Сама собой возникла идея: добыть металлорежущие пилки, заделать в корешки книг и передать в бастион. Прекрасной лунной или безлунной ночью они перепилят решетки, а он, Кибальчич, приплывет на лодке к стенам крепости. Наивно? А почему бы и нет, если удрали из-за двойных ворот чигиринцы, если спустились на полотенцах Избицкий и Беверлей, если увезли на рысаке Кропоткина, а Костюрина и вовсе на лохматой водовозке? Чем хуже наш план? Иногда наивность превосходит хитроумие.

Один из членов кружка, что напоминал Кибальчичу приятеля по ДПЗ Тимофея Квятковского, поднял его на смех: Петропавловская крепость не Киевская, Одесская или Харьковская. Другой такой в Европе нет.

Смех смехом, а заправлять пилки в книжки помогал. И лодку обещал добыть — буде из крепости благоприятный ответ.

Однако ответа такого не последовало, пилки вернулись...

— Мне кажется, я знаком с вашим братом, — сказал Кибальчич.

— С которым? У меня много братьев, — недовольно отозвался тот.

— С Тимофеем Квятковским. Мы встречались в мастерской ДПЗ. Думаю, я был бы полезен вашему обществу.

— Какому обществу? — поинтересовался с иронией.

Кибальчич значительно промолчал, дескать, неужели не ясно? И так же, взглядом, получил ответ: нисколько не ясно.

— Как вы там оказались, в ДПЗ?

Слушал невнимательно, поеживался от ветра с Невы, с досадой поглядывал на часы — то ли оттого, что Кибальчич заикался больше обычного, то ли не раз слышал подобные непримечательные истории. Наконец, и вовсе прервал:

— Поговорим в другой раз.

Тогда же и условились встретиться в кофейне на углу Лиговки и Невского. Эта встреча и запомнилась на всю жизнь.

— Допустим, есть такое общество, — Квятковский прихлебывал кофе и скептически поглядывал на Кибальчича. — Что вы можете предложить, кроме сочувствия? Деньги у вас есть?

— Нет.

Совсем уж насмешливо поглядел на него.

— За угощение, надеюсь, найдете, чем расплатиться? — Кибальчич начал бурно краснеть, и Квятковский расхохотался. — Вы мне нравитесь. Может, вас и на довольствие поставить?

— Н-не отказался бы, — с облегчением ответил Кибальчич: больше скрывать было нечего. — Т-три-четыре рубля... Через неделю получу г-гонорар и...

— Так вы еще и писатель?

— Т-такой же, как вы — г-государь.

Он уже вызнал кое-что о Квятковском, например, что прозвище его Александр Первый, что очень недоволен им: почему Первый, добро бы Третий...

— Зачем вам все это? — спросил Квятковский. — Для таких, как вы, смысл жизни в накоплении знаний. Зачем вам беспокойная жизнь? Опасная, между прочим. И с каждым днем будет становиться опаснее. А вы... Покаявшись и покланявшись, можете вернуть благорасположение, а со временем... Такие, как вы, нужны во все времена и во всяком обществе. Такие — скоро добиваются профессорского или иного звания и тогда уж решают, что каждому воздается по заслугам.

— П-понятно, — сказал Кибальчич. — Как скрупулезно продумали вы мои в-варианты. Будем прощаться?

Он-таки наскреб около двадцати копеек и положил на стол.

— Да погодите вы, — с досадой сказал Квятковский. Завис над столом, хмурился и молчал. — Вы легальный?

— Как сказать?.. Паспорт есть, но... Отметился выбывшим в Москву. По Указу от 8 августа не имею права жить в Петербурге.

Отметился Кибальчич еще осенью, и теперь, разумеется, запрос о нем с приметами внешности разослан по всем губерниям. Первая же проверка документов стоила бы ему ссылки.

— Ладно, — сказал Квятковский. — Меня не ищите. Понадобитесь — сам найду.

Вышли из кофейни и замерли: ослепли от мартовского солнца и неба. Это мгновение и запомнилось.

Первые дни он не выходил из дому, ждал Квятковского и даже составлял программную речь. Так представлялось ему вступление, если они — общество, если у них — программа. В этой речи он хотел сказать о переменах, которые необходимы в России: о переделе земли, о роли общины для социализма, об Учредительном собрании, о том, что террором достичь всего этого невозможно. Обоснование было простое. Если крестьяне требуют передела земли и даже определили в народной молве размер и цену надела — пять десятин на душу по двадцати пяти копеек за каждую, значит, так и следует делить и оценивать, есть тому экономические причины; если народ не отвергает общину, значит, жизнеспособна, если поддерживает земство, значит полезно. Наибольшее зло — самодержавие, но народ принимает его, посколь-

ку не знает других форм правления. И в этом тоже надо идти с народом; если Учредительное собрание восстановит монархию, смириться и — легально — продолжать борьбу.

Пролитие крови допустимо только стихийное, во время революции или бунта, но никак не — планируемое. Революция — зло, однако зло неизбежное, партия должна готовить ее, чтобы избежать резни бессмысленной и безрезультатной, однако вовсе — не начинать.

Оно, общество, которое представляет Квятковский, вольно принять его воззрения или отвергнуть. Он — тоже.

Выходя из дома, оставлял записку: там-то, буду тогда-то. Записка оставалась невостребованной, а ожидание утомительным и безнадежным.

И вдруг, 2-го апреля, покушение на государя.

* * *

Когда-то казалось, что главное — освободить крестьян, и все само собой переменится. Действительно, переменилось. Но как в старом доме, из которого вынули прогнивший нижний венец, все посыпалось, затрещало, перекосилось. Польша вместо того, чтобы возблагодарить, взбунтовалась, собственные российские крестьяне в новом ожидании затаились, молодежь сбилась в опасные стаи да и старики взволновались, будто пришел или последний час или вторая молодость... Стало ясно, что и другие венцы надо менять: суд, земство, печать, армию, образование, самосознание...

Вот вам и то, и другое, и третье, еще чуть-чуть — и пошагаем в ногу с Европой.

И вдруг увидели, что дальше этой дороги нет, реформы кончились. Вовремя кончилась, скажу я вам. Совсем иной уровень просвещения и сознания нужен для продолжения. В основном Россия была удовлетворена; прошло трудное время, пора вымыть полы, расставить мебель, устраиваться надолго и счастливо. Но молодежь, ради которой и произвел государь реформы, почувствовала себя обделенной. Тогда и возникла надежда на... На что? На революцию? Ее не видно. Значит, на бунт и переворот. Если оглянуться, не так уж далеки они оказались друг от друга — Бакунин, Лавров, Ткачев, Исполнительный комитет.

Но что после переворота? Этого никто не знал.

Когда в Олонец пришла весть о покушении на государя... Ни я, ни отец мой, ни мать моя никогда не были склонны к неожиданным поступкам и трудно теперь сказать, что тогда случилось со мной.

Ночью, никому не сказав ни слова, я кинулся на почтовый тракт и через день был уже в Петербурге.

Казалось, я там необходим.

Петр Александрович, увидев меня, ахнул. «Знаете указ от 8-го августа?» Разумеется, знал: ссыльных за попытку побега — в Якутск. «Немедленно возвращайтесь!.. Или нет, погодите... Поздно. Ах ты, господи. Двадцать пять лет человеку, двадцать пять лет!..»

Между прочим, мое пребывание в доме грозило ему штрафом до пятисот рублей, чем он и допекал меня: «Как будете рассчитываться? На сколько у вас имущества?»

Деятельность Петр Александрович развил кипучую. Побывал у Кони, Грота, Репинского, даже у князя Оболенского, что, закусив удила, ратовал за телесные наказания политическим... Искал выход на нового начальника III отделения Селиверстова, Дрентельна или хотя бы Трепова.

А я искал Марфу. Догадывался где искать.

Поразила меня в тогдашнем Петербурге ненатуральная, если не сказать смешная, таинственность. Многолюдные сходки, которыми было отмечено мое студенчество, прекратились. Теперь собирались небольшими группами, человек по десять-пятнадцать и держались значительно, с оглядкой, намеками, и все торопились, будто история вот-вот начнет делить честь и славу — надо успеть к сладкому пирогу. Благодаря старым приятелям, я попал на несколько таких сходок и был раздосадован: заговорщицкие лица, недоверчивые и превосходящие взгляды, посматривания на меня, пришлого. И не споры, как прежде, обо всем на свете, а деловые обсуждения: точно ли убитый в Москве Рейнштейн предатель? Надо ли было обливать Гориновича кислотой? Не лучше ли было застрелить, нежели топить, Сидорчука в полынье? Сколько можно пролить крови, не превратившись в убийц? Есть ли альтернатива террору в нынешний момент?

Как я понял, эти люди не имели отношения к событию, что ввергло в испуганное ожидание Россию, но если таковы эти, сторонние кружки и сходки, если возможно обсуждать резонность пролития чужой крови, можно представить, каковы те. Никто уже не думал о нравственном самосовершенствовании, о терпеливой работе в народе, ныне говорили о том, что он, народ, *должен* поддержать их. Все ждали, призывали бунт. Бунт!..

Все верили, что грянет он так же неожиданно, как во времена Пугачева и Разина. Ладно, допустим грянет. Но знаете ли вы, что ждет Россию следом? Не перережетесь ли вы со своим народом? Нет ли в памяти некоторых эпизодов Великой Французской революции? Какие надежды внушает вам та зарубежная гильотина — все ж таки 14 000 голов?

Я, пострадавший, ссыльный, не жажду мщения, я всегда жил и живу среди народа, знаю, каков он, а вы кто и откуда? С Луны свалились?

Вы мало пострадали, вот что мне ответили. Снисходительно, с насмешечкой. Будто у меня, жалкого провинциала, клюквенный кисель в голове.

В те дни я окончательно решил, что мне с ними не по пути. Все они — и те, и эти — были поражены идеей, как массовой душевной болезнью, спасения нет, все это будет продолжаться, пока не вырастет новое поколение, у которого будет своя идея, а эта — перестанет интересовать.

Неужели и Марфа среди них?

Несомненно, то первое, благородное движение выродилось. Террор — признак малочисленности, а значит, и поражения поколения. Больше других жаль было девушек. Им особо присуща клановость — яростно гордились собой и презирали инакомыслящих. Как же громко они восплачут, когда придет время плодов. Коротко время сева, и так свирепо выглядит поле, на которое упали только дикие семена. Немалую ответственность несут они, женщины, за то, что вскоре произошло. Логика, думаю, проста: если они, слабые, сильны и непреклонны, то что же мы? Извечная и вдохновляющая роль...

Марфу я отыскал в столовой княгини Елены Павловны. Какая же наивная у нас полиция! Вот где их можно было брать одного за другим: стаей слетались на дешевые обеды, не думая об опасности, как звери на водопой. Она обрадовалась, будто только обо мне и думала эти месяцы, меня и ждала. Смеялась, встряхивала тучкой волос, словно прогоняя видение, поглаживала мою руку своей по-прежнему жесткой ладонью, вглядывалась и совсем не слушала, о чем я говорю. А я говорил о том, что если заблуждается поколение, это опаснее, чем — правительство, что постепенное развитие надежнее, чем рывок из последних сил: оборвут постромки и... Хорошо, если на ровной дороге, а если на подъеме, и российская телега понесется назад? Потому мы,

мирные обыватели, и стоим за государя, что боимся за перемены, за то, что уже достигнуто. Как бы не кончилось ваше движение черной реакцией, не надавили из вас масла, не превратили благородное семя в колючий жмых... Она кивала и, казалось, соглашалась со мной. «Где ты живешь? Паспорт нужен тебе?» — «Какой паспорт? Зачем?» И когда поняла, что намерен возвратиться в Олонец добывать ссылку, померкла. «Да, — согласилась. — Там хорошо».

Через несколько минут ткнулась, ободряюще боднула меня головой. «Прощай, — сказала. — Не говори, что видел меня». По-прежнему волосы остро пахли простым мылом.

Повидал я и Кибальчича в одном из кружков. Не думаю, что он был там в *клане*. Скорее, напоминал оголодавшего волонтера, ищущего свой отряд.

Пошли к Болдыреву: наш земляк процветал и встретил дружелюбно, однако сообщил, что теперь студентов и всех, кто на них похож, принимает неохотно, время такое, никак по виду не угадаешь, что за душой. Неделю назад явились двое в очках, заказали поросенка с хреном, красного вина, наели на три рубля, а рассчитаться обещали на пасху, то-есть, на морковкино заговенье, причем поросенка резали своими кинжалами. Можно было кликнуть городового, но...

Мы вели себя скромно. Обед заказали рядовой, приказчичий: борщ с расстегаями, мясо с картошкой, черничный кисель.

Куснув расстегай, Кибальчич вдруг перестал жевать и испуганно спросил: «Как тетя Лиза?» — «Слава богу», — ответил я. И тотчас он заулыбался, обмяк. «Ах, тетя Лиза, тетя Лиза...» — забормотал. Что ж, «тетя Лиза» была единственной женщиной по-матерински привечавшей его. Сколько раз она, моя мать, заворачивала такие расстегаи, чтобы я передал ему в бурсу? Завидев меня, Кибальчич сразу вперял в ранец пронзительный взгляд — особенно во время унылых бурсацких постов. А как ждал приглашения на воскресный обед? Приходил за час в армячке или длинном кафтане, перешитом из отцова подрясника, терпеливо внимал пыхтенью на кухне сковород и горшков. Замирал под ладонью, приподняв плечи, как бездомный щенок.

«Поезжай-ка ты к ним. Семь бед — один ответ».

Но порыв мой иссяк, я уже рвался в Олонец. Откровенно боялся, что законопатят в Сибирь.

О том, что происходит в Петербурге, не говорили. Встреча с Марфой отбила такую охоту у меня. Я рассказал, как попал в ссылку, он — как сидел в тюрьме. Пришло время прощаться.

И тут-то, после киселя, Кибальчич сказал, что есть у него некое соображение, идея, маленькая мыслишка, которая, если обдумать и довести, перевернет мир. Ну, если не перевернет, так сдвинет, подтолкнет и, быть может, целое столетие человечества пройдет под ее знаком. Никак не меньше столетия, больше — да, сколько угодно.

В пустой похвальбе или глупостях он до сих пор замечен не был, и я удивился. Что ж это за идея? Посмотрел на него и увидел, что жаждет внимания и интереса.

— Б-будешь слушать?

— Нет, — ответил я. — Не хочу.

Показалось — знаю его идею. Проведя почти три года в одиночке, исключенный из академии, выбитый из обычного течения жизни, он вполне мог заболеть жаждой мести и примкнуть к одним из *тех*. Тем скорее, что, хотя по натуре был замкнут и способен к одиночеству, его-то, одиночества, и не переносил.

Еще и потому я не хотел слушать его, что знал: непроизнесенная идея — это одно, произнесенная — совсем иное. Заявленная перед людьми, она уже обязательство, и чем больше знают о ней, тем настойчивее требует исполнения.

— Нисколько не хочу, — повторил я. — Хочу еще киселя, вина, только не разговоров об идеях.

Но он уже начал говорить. Сперва я просто не понимал его. Речь шла о неком летательном аппарате, нечто вроде «Великого Лебедя» Леонардо или снаряде де Бержерака. О конструкции, двигателе, способах управления. О том, что главная проблема — топливо, которое обеспечит необходимую энергию подъема и движения, и он, Кибальчич, изучив свойства нитроглицерина, пироксилина, артиллерийского пороха...

Я глядел во все глаза, ничего не понимал, но был счастлив, что опасения мои не подтвердились, речь совсем о другом, странном и фантастическом, и готов был верить ему.

— Да ведь ты меня не слышишь! — вдруг сердито сказал он.

— Слышу. Не понимаю, но слушаю, — и я пожал его руку.

Он рассмеялся.

— Ладно, — сказал. — П-пиши свои статейки... Но з-запомни, пожалуйста, этот день.

Теперь рассмеялся я: нормальное самомнение человека двадцати пяти лет.

Вообще-то такая идея была для меня не слишком неожиданной. Интересы его всегда вертелись около наук естественных, физики-химии, математики. И прежде возникали в его голове идеи — чаще всего нелепые. Уже здесь, в Петербурге, в институте инженеров, он возмечтал использовать энергию... вращения Земли. Мне, литератору, была ясна нелепость такой надежды, а он, кажется, носился с нею всерьез.

Мне интереснее было узнать, чем и как живет, рассказать об Олонце, о Марфе, нежели слушать об аппарате и топливе.

— И сколько времени надо, чтобы исполнить твою идею?

Любая идея казалась мне хороша лишь в том случае, если требовала не больше двух-трех лет, чтобы сейчас же, в молодости, добиться признания.

— Не знаю... Деньги нужны. Много денег.

— На какие средства ты здесь живешь?

— А по т-твоему примеру стал писать статейки в журналы, — улыбнулся не без смущения. — В «Слово», например, в «Мысли».

Эти издания я просматривал, имени его не встречал — значит, либо без подписи, либо под псевдонимом.

— Живешь тоже под чужой фамилией?

— Разумеется.

И тут я подумал, что не так уж далек от истины в своих предчувствиях: он с ними.

— Не понимаю, на что вы рассчитываете, — сказал я. — Кто вы? Сколько вас? Тысяча? Десять тысяч?.. Смешно. Вас никто не принимает всерьез!

— П-примут, — произнес он с тем отвратительным выражением дружелюбного снисхождения, которое я ненавидел с детства.

Спорить он не умел. Однажды приняв решение, не желал слушать иные мнения и лишь улыбался, как снисходительный демон, беззлобно посмеивался, как гений над простаком.

— Может, и примут. Но лучшее, на что вы можете рассчитывать, это кандалы обшитые кожей. И поделом! В назидание ближайшим потомкам.

Бесило меня отчасти то, что, понимая себя гражданином, он должен был считать меня робким обывателем, считая себя героем, меня должен понимать, как человека из безликой толпы.

— Мы не герои, Кибальчич! Ты сын тихого сельского священника, я — дворянин, который не может себе позволить второй стакан киселя! Мы обречены либо на страдания, либо на тихую, незаметную, но — видит Бог — счастливую и полезную жизнь! Мы...

— Что ты сердишься? — вдруг перебил он. — У нас нет на это времени... — и положил на мою руку ладонь.

Пришел день и, вспоминая эту минуту, я обратился к Богу. Господи, молился я, пронеси чашу сию мимо этого человека. Разве Ты не видишь, что он достоин? Разве худший он из Твоих сыновей? Разве не хватало у Тебя милосердия даже для врагов Твоих?

Был у меня про запас и иной, вечный вопрос, на который я не решился: что же Ты, всемогущий, не отвел руку его?.. Но что взывать, если известно: знает нужду твою прежде просьбы твоей.

Я произнес его, когда все уже было позади.

Теперь всем понятно: самые замечательные, если не совпадают со временем, ведут общество в тупики, увлекают на гибель рядовых и посторонних. Когда все только начиналось, собирались многосотенные и тысячные сходки в Лесном, на Песках, много было несогласных и неуверенных. Но смешны сомневающиеся среди уверенных: засвистали, затукали, опозорили. Одна-единственная дорога казалась достойной.

Все читали Чернышевского, Маркса, Бакунина, Лассаля, Лаврова, но не было никакой науки в движении. Были святые, смелые — не хватало мыслителей. Нужен был гений-скептик, чтобы открыть им глаза, — такого в поколении не нашлось...

Рекрутировались часто и те, кто, закончив гимназию или один-два курса института, вовсе не имел никакого мнения, лишь испытывал неопределенный по значению восторг. Таким казалось, что Россия в начале пути, а она заканчивает тысячелетие, им виделась новая цель — обычный мираж, встающий перед молодыми людьми.

Что мог видеть тот лихой красавец-наездник, на полном скаку стрелявший в Дрентельна? Вряд ли что-либо еще, кроме себя — лихого наездника, стреляющего на полном скаку...

И даже, когда стало ясно, что терпят поражение, остановиться они уже не могли. Что скажет народ, если — остановиться?.. Единственно суда истории боялись они. Но разве будут судимы, если жизни отданы — ей, Клио?

От Болдырева мы вышли в потемках. Я-таки рассказал Кибальчичу об Олонце, о Марфе, поинтересовался, было ли у него такое. Нет, не было. И я почувствовал себя мудрее, старше, опытнее, чем он. «Николка, — сказал я на прощанье, — неужели ты так уверен?.. Не сомневаешься и не допускаешь другой правды?» — «Ни в чем я не уверен, — с досадой ответил он. — И сомневаюсь, и допускаю».

Такой ответ меня не утешил. Ясно было, что отныне сомнения его будут отступать, а вера расти. «Не занимался бы ты этим, а?» — «Чем?» — «Ну, сам понимаешь. Работай над своей идеей. Ничуть не менее важно для человечества, чем...» — «Чем что?» И я рассердился. «Перестань. Не такой уж круглый я дурачок». Кибальчич рассмеялся. «Ладно, п-подумаю. Может, ты и п-прав».

Не исключено, что и он себе казался более опытным, мудрым, чем я. Ну что ж, — сошлись мы во мнении. Не так уж много за эти годы потеряно. Кое-что и приобретено.

Простились. Адрес свой мне он не дал и имя, под которым жил, не назвал.

В доме Петра Александровича меня ждали хорошие вести. «Можете ехать, — сообщил он. — Кажется, утрясется... Знали бы вы, какие люди решали вашу судьбу!» — «Какие?» — тотчас полюбопытствовал я, почувствовав свою значительность. «А вот это вам знать ни к чему». Кто же? Сенаторы, великие князья, министры? Сам государь?.. Всю жизнь я воспитывал в себе презрение к властям предержащим, а узнав, что кто-то из них, великих, способствовал мне, тотчас возгордился: вот он, я. Что ж, было мне тогда двадцать пять лет.

Через день я покинул Петербург. Петр Александрович, прощаясь со мной, вдруг тяжело задышал, сунулся в один угол, другой, опять замер, вспоминая, что еще хотел сделать для меня. Нет, не вспомнил. «Вы, мой друг, вот что... — заговорил настойчиво, требовательно. — Времена наступили особенные... Не бегайте, не трещите, не суйтесь — вот вам мой завет. Таких, как вы, тоже законопачивают всерьез и надолго. И еще... еще... А там глядите сами. Вы уже старый, батенька, смешно в этом возрасте потерять свободу, а, значит, жизнь...»

Новости в Олонце меня ожидали такие: следом за мной бежал Андрей Брузгин, а через день Тимошкин зарезался сапожным ножом. Похоже, лишнее выпил и затосковал.

В те годы в России резко увеличилось количество самоубийств. Известно, среди иных европейских народов, религий и рас, русские менее склонны заканчивать жизнь таким способом. Итальянец Морзелли сообщает, что северные германцы имеют, примерно, сто шестьдесят случаев на миллион, кельторимляне сто шестнадцать, англосаксы семьдесят, а русские и вообще северные славяне — сорок.

Есть разница и по религиям: если у протестантов сто девяносто, у католиков шестьдесят, то у православных, опять же, сорок.

По его мнению причины самоубийств разные: от цены на хлеб до развития железных дорог в государстве. И чем выше культура, тем...

Имеет значение и климат, пора года, время дня и день недели.

Максимум — апрель, май.

Минимум — конец года.

Мужчины предпочитают понедельники, женщины выбирают воскресенья.

Есть предпочтения и в способах. Если итальянец, к примеру, чаще пользуется пистолетом, то русский — веревкой. Если германец любит топиться, то славянин боится воды.

И еще любопытное наблюдение имеется у Морзелли: количество самоубийц сокращается в периоды общественных волнений, революций и переворотов.

Однако у нас, в России, видно, все, как всегда, наоборот. По крайней мере, Тимошкин отринул свои надежды в ясное солнечное воскресенье безошибочным ударом ножа в грудь. И веревка у него имелась, и общественное движение налицо...

Кибальчич был уверен, что государь помилует Соловьева. После суда и приговора эта вера даже окрепла. У всех было светлое предчувствие. В самом деле, тревожной стала российская жизнь, неуверенной, а милосердие — единственный способ разрядить обстановку, утешить тех и других. Ходили слухи, что государь самолично приедет на Семеновское поле и сам произнесет помилование.

В ночь на 28 мая он почти не спал. Над Петербургом стояли белые ночи, подхватывался через каждые полчаса, взглядывал на часы. Наконец, и вовсе поднялся, сел у окна. Уже появлялись заспанные дворники, телеги погромыхивали по булыжнику, поскрипывали по направлению к Сытному рынку.

День обещал быть ясным. Окно комнатки, которую он снял за двойную цену — пятнадцать рублей, поскольку без паспорта, — выходило на узкую пустынную улицу, неживую, булыжную, с одним единственным топольком у дома. Тополек этот днем уверенно тянулся к солнцу, ночью спал крепко и лишь время от времени, тревожно спохватывался всеми листьями, как подросток — все ли тихо, благополучно? — и тут же замирал снова.

Что видит в этот час бывший торопецкий учитель Александр Соловьев? О чем думает? Плачет о своей несостоявшейся жизни? Раскаивается горько в содеянном? Собирает душевные силы, чтобы достойно встретить последний час? Или свалился на тюремный матрац в тяжелом последнем сне? С какой первой мыслью проснется?

А что государь? Что решил он вчера или решает сейчас? Сколько добра и света прольет он на своих подданных, когда объявит помилование. Сколько погасит злобы, неверия, сколько ненависти обратит в любовь! В жизни императора тоже не часто выпадает такой случай и день.

Вдруг он увидел, что торопливо и сосредоточенно пробегают мимо окна люди, одетые, если не празднично, то и не буднично, в чистое и добротное. Стало понятно, что спешат они *туда*, на Смоленское поле, где должен состояться величайший и редчайший из спектаклей — помилование или казнь.

Он тоже надел чистую сорочку, вышел на улицу. Дворника, что всегда маячил у входа, не было, видно, ушел занять место в первых рядах, не было и квартирной хозяйки. Вчерашним вечером они с приятелями и приятельницами долго толпились во дворе, решая, помилует ли государь преступника, и все сходились на том, что — как не помиловать? На второй день светлой пасхи состоялось покушение, сам господь Бог отвел руку убийцы, этим и государю подсказал решение, и только дворник твердо стоял, что — казнит.

Доехал до Тучкова моста на случайно подвернувшемся извозчике, а дальше — пешком, медленно, неуверенно, оглядываясь, как и все, кто направлялся в сторону поля: не везут ли? Не ударит ли известная всему Петербургу дробь «поход»?.. Уже за версту до выгона, где обыкновенно обыватели пасли коров и коз, услышал смиренный ропот многотысячной толпы, готовой и принять самое страшное, и возликовать, услышав благовест помилования.

Вот они — старики и дети, сумрачные мужчины и тревожные женщины. Что чувствуют они? Страх, покорность? Ненависть к тому, кто стал причиной их страха? Веру в справедливость происходящего? Надежду?.. Что привело их сюда? Что принуждает глядеть на самый трудный час в жизни человека — пусть и преступника?

Нет, сочувствия Соловьеву он не увидел. Пожалуй, единоликая эта толпа была бы разочарована, объяви государь помилование. Раз уж притекла сюда, значит, приняли приговор, смирились, призвали в души жестокость, и лишь казнь удовлетворит и успокоит их. Ничто, кроме слабого утреннего ветра, готового обвеять лица и преступника, и потной толпы, да облачка, запнувшегося под солнцем, не говорило о милосердии.

Понял, что помилование не состоится, и пошел с поля.

Группа, к которой примкнул, называлась «Свобода или смерть». Несколько дней спустя получил паспорт на имя Василия Агатескулова и партийное прозвище «Цилиндр».

Глава восьмая

Первый, с кем познакомился здесь, был Степан Ширяев, которого ему представили, как казака Титова. Казацкого, однако, в его облике оказалось немного. Невелик ростом, узок в плечах. В глазах раз за разом вспыхивало беспокойство, и тогда руки нетерпеливо двигались, перекладывали вещи с места на место, искали в карманах, ощупывали одна другую, будто не выносили покоя. Позже, когда сблизились за работой, Кибальчич узнал, что несмотря на неполные двадцать два, Степан успел много. Был он из крестьян Саратовской губернии, закончил один курс ветеринарного института в Харькове. Там, в Харькове, познакомился с сочинениями Флеровского — о земледелии будущего. В моде тогда были рассуждения о коллективном труде в деревне, — Флеровский считал, что земля никогда не станет фабрикой. В самой деле, что это еще за коллективный труд? Земля — живой организм, и как живое — болеет и выздоравливает, отзывается и замыкается, благодарит, просит помощи... Кто при коллективном труде услышит ее слабый голос?

Быть полезным обществу — обязанность, вот что стало его идеей. Но какая польза нынче от ветеринарного образования?.. Бросил институт, укатил в Лондон. Познакомился с Лавровым, поначалу понял его как кумира, но скоро разочаровался. Впрочем, не столько в самом Петре Лавровиче, сколько — в «лавристах» с их самоуважением, премудростью... Недолго выдержал в Лондоне, тяжелую работу на фабриках, кинулся в Париж — земляки устроили в лабораторию русского электротехника Яблочкова. Яблочков был в зените славы, уже изобрел свою знаменитую «свечу», трансформатор, дуговую лампу и лампу с каолиновой пластинкой, но события в далекой России его волновали мало, — Ширяев затосковал в лаборатории через полгода. Вернулся в Лондон, стал работать в русско-английской компании по электрическому освещению, а еще несколько месяцев спустя — с окончательной ненавистью к Европе и рекомендательным письмом Лаврова — назад, на родину, в Петербург.

Мечтал познакомиться в родной столице с умными и решительными людьми, но — никто не доверял, рекомендательное письмо Лаврова оказалось никому не нужной бумажкой. Понятно, время опасное для случайных знакомств, но нельзя же бояться всех и вся? Хотел уже плюнуть, уехать в провинцию, и уехал бы, если б не Аня Долгорукова, не ребенок, которого она ждала от него, и не «Александр Первый» — Квятковский: решился на разговор после покушения Соловьева...

Для Ширяева не было вопроса в том, нравствен или безнравствен террор. Это для вас, дворян, поповичей, интеллигентов не ясно, — говорил он. А для меня, сына, внука и правнука крепостных, ясно все.

Программа у него была максимальная: земли — крестьянским обществам, фабрики — рабочим ассоциациям. Суд независимый от администрации. Свобода печати, сходок, союзов. Однако слово «социалист» не переносил. «Ныне социалисты все: и Прудон, и Луи Блан, и Бакунин, и Маркс. Что общего между ними?» Очень впору, по душе и по сердцу, пришелся Кибальчичу этот маленький, нервный человечек. А еще нравилось, что несмотря на отвращение к книжкам, был знаком с химией Рихтера, обоими томами Менделеева, а, главное, руки оказались золотые.

Ширяев, напротив, отнесся к Кибальчичу настороженно, — как к лавристу, что воображают себя просветителями и руководителями тупых масс.

Квартиру для опытов сняли в Басковом переулке. Здесь он, Кибальчич, познакомился и с другими членами группы: Морозовым, Баранниковым,

Тихомировым, Исаевым, Гольденбергом. И еще с одним человеком, высоким, с мощной бородой и усами, что вошел в квартиру и загадочно посмотрел на него. «Здравствуй, Коля, — сказал, улучив момент, тихо, вполголоса. — Давно ли ты был в Новгород-Северске? Что-то снится мне порой наша гимназия. Не узнаешь?»

То был Саша Михайлов, и они не виделись десять лет.

«Саша?» — «Уже нет, — улыбнулся он. — Петр Иванович, «дворник». Для самых близких — Петька».

«Очень рад, что ты с нами, — сказал позже. — По-моему, у тебя и не было другого выхода. И потом — это единственный способ прожить не зря...»

Квятковский, улыбаясь, глядел на них.

Кибальчич впервые почувствовал, что кому-то нужен. И тогда же подумал, что, может быть, ошибался. Что общество, в которое он попал, — сила, а если так... В общем, судьба.

Первая проблема оказалась в том, чтобы купить достаточное количество серной и азотной кислот — на это требовалось особое разрешение. Помог Михайлов — привел студента 4-го курса университета, который не только понимал в химии толк, но и был членом менделеевского физико-химического общества — имел возможность добыть все, что нужно. Этот студент оказался замечательно молчаливой и нелюбопытной личностью, никогда ни о чем не спрашивал, не рассказывал и даже — если что-то не получалось — ругался только по-немецки: «Фер-флюхтер!..» За что и получил соответствующее прозвище. Он же, «ферфлюхтер», добыл в лаборатории физико-химического общества гремучую ртуть — производить ее и даже хранить в помещении, где есть нитроглицерин, опасное занятие.

Михайлов долго не верил в успех и, заходя в квартиру, хмыкал, морщился: «Что за вонь?» Видно, считал, что важное вещество должно и соответственно пахнуть. Сомневался и когда получили первые тридцать золотников динамита, не верил, когда приготовили запалы и ехали по Финляндской дороге в Териоки, на пустынное взморье, и лишь когда громыхнул пушечный удар, заулыбался, поверил. «Недурно, господа, — произнес. — Представляю, как шпокнет, если заложить пуда полтора!»

Больше всех радовался Ширяев — тоже, видно, сомневался. Было у него это неискоренимое, крестьянское уважение к наукам, книгам и столь же явное недоверие к ним. Ну, а студент произнес то, что ожидали от него: «Фер-флюх-тер!..»

Однако скоро дело застопорилось — оказалось дорогостоящим. Правда, были какие-то неясные надежды на большие, очень большие деньги. Надежда эта исходила от Михайлова: «Погодите, — говорил, — скоро завалим вас этим барахлом».

И вдруг объявил, что денег, на которые рассчитывали, нет и не будет.

Много позже Кибальчич узнал, что расчет был на Херсонское казначейство: сделали подкоп из соседнего дома, вошли в подвал, в кладовые, взяли полтора миллиона рублей, а увезти не смогли...

После этого все потеряли к динамиту интерес.

А еще несколько дней спустя Михайлов, Квятковский и Ширяев исчезли. Форточка в квартире Баскова переулка была закрыта. Это означало, что входить нельзя.

Июнь того года в Петербурге был безветренный, влажный, душный. Утром — солнце на чистом небе, к обеду — грозовой ливень, снова солнце, а к вечеру опять обильная гроза.

В императорской публичной библиотеке было прохладно и пусто. Кибальчич вернулся к привычным занятиям. Написал для «Слова», перевел для

«Здоровья». Снова взялся за университетский курс физики Петрушевского, за Вейсбаха и Брашмана.

Между прочим, опять начала точить его душу та идея — аппарат для летания, может быть, нелепая, а, может, и гениальная. Беда лишь в том, что — чувствовал — не дорос до нее. Как дорасти?..

Жалел, что поступил когда-то в медицинскую академию, а не в университет. Во-первых, университетский курс был ближе по интересам, во-вторых... Бекетов, ректор, решительно стоял на стороне студентов, полиция не смела к нему войти; Быков, начальник академии, перед полицией трепетал.

Делиться своей идеей, памятуя разговор с Павлом Сильчевским, ни с кем не стал. В самом деле, для постороннего человека смешно. Каждый представит либо птицу, либо мчащий под облаками паровоз.

Но думать об аппарате было отрадно.

Никто из новых приятелей не появлялся, однако теперь он не чувствовал себя одиноким, люди — вот эти: извозчики, лавочники, жандармы, чиновники, мещане, дворяне, царские лакеи и царский дом не представляют, какой их всех ожидает сюрприз...

Они появились в июле — вошли ранним утром загадочные и решительные, загорелые, словно после морских купаний.

— Есть, — сказал Михайлов и положил на стол сверток. — Пятьсот рублей. Позже будут еще.

Что ж, пятьсот — не пятьдесят, с которыми начинали опыты. Пятьсот — это уже солидное предприятие. Но, если откровенно, вовсе не хотелось заниматься теми делами опять.

— Я думал, вы уже на к-казенном коште, — сказал он,

— Все объяснится, — ответил Михайлов, — дай срок. С чего начнем? С закупок?

— С чаю.

Он только что поднялся с постели и сидел сонный, взлохмаченный, близоруко улыбался, глядя на них. Михайлов от нетерпения вышагивал по комнате, а Ширяев, как и обычно, искал в карманах, беспокойно ощупывал руки, уши.

Пили чай, и Степан осуждающе, а Михайлов насмешливо следили за Кибальчичем: как помешивает сахар, тщательно намазывает булку-сайку маслом.

— Ты, я вижу, не оголодал за это время, — заметил Михайлов.

— Отнюдь, — согласился Кибальчич. — Очень славно п-пожил.

Ширяев не выдержал, залпом выпил свой чай, вскочил.

— Заканчивайте, пошли.

— Я шагу не сделаю, пока не узнаю, г-где вы пропадали и вообще, что п-произошло, — и Кибальчич налил себе еще стакан.

Ширяев помрачнел, вопросительно поглядел на Михайлова.

Известие о том, что 18—21 июня в Воронеже состоялся съезд общества «Земля и Воля», для Кибальчича не было совсем уж неожиданным. Давно существовало мнение, что «Земля и Воля» коснеет, и новое время требует новых песен. Что работа в деревне показала свою бессмысленность, и словами мужика не поднять. Этот фундамент российской империи слишком глубоко врыт в землю, и пока есть у мужика надежда не помереть сегодня-завтра с голоду, ни за какими социалистами он не пойдет. Мужик осторожен, умен, расчетлив, наплевать ему и на учредительное собрание, и на конституцию, и на все свободы, пока не убедится воочию, что есть новая сила, которая покрепче старой.

Значит, надо эту старую силу сломать. Нужна хорошо организованная партия — с программой, уставом, денежными средствами, регулярной печатью. Эта партия должна стать кумиром для русской молодежи, надеждой для мыслящей интеллигенции. Хватит наивных студенческих сходок и пустой болтовни. Никакая книжная мудрость не заставит шевелиться мужика. Пора понять, что в России слышен только револьвер. Каждый должен отдать партии главное — жизнь.

Однако хорошо дискутировать с единомышленниками, куда труднее с теми, кто иначе понимает и тактику, и ближайшую цель.

Разногласия нарастали давно, со времени первых покушений — на Трепова, Кропоткина, Мезенцева — и достигли опасного напряжения перед покушением Соловьева. После неудачи они, те, кто считал: единственный путь — мирная пропаганда в деревне, воспряли. Следовало дать им бой, но партию сохранить и укрепить. Оздоровить. Очень мало сил, и трудные предстоят задачи.

Было и нечто непонятное для Кибальчича. Неприятное. Их, представлявших новое направление, оказалась половина из двадцати участников съезда. Дорожили каждым надежным голосом, пригласили союзников из Одессы, Курска, Тамбова, а его, который был рядом, нет.

Почему?

Михайлов объяснил откровенно: кто знает, как ты повел бы себя. Очень озадачивают некоторые из твоих заявлений.

Какие?

А хотя бы о стонах раненых с противоположной стороны.

Они — те, кто считал, что пора браться за настоящее дело, встретились сперва в Липецке. И по всем вопросам достигли единства. Слово должен взять Исполнительный комитет — вот основное.

Но как только съехались в Воронеж, стало ясно: или отступление или раскол. Раскол с их ничтожными силами, средствами?

Отступили, решения приняли согласительные. Подтвердили необходимость работы в деревне. Две трети и без того жалких средств отдали на нее.

Впрочем, и этого оказалось достаточно, чтобы один из самых авторитетных, необходимых — Жорж Плеханов, язвенно желтый от возмущения, красноглазый от бессонницы, гордо покинул съезд.

От раскола спаслись, хотя радости от такого единения мало. Похоже, разрыва не миновать.

— Напрасно вы не пригласили меня, — упрямо сказал Кибальчич.

— Может, и напрасно, — согласился Михайлов.

А что ему оставалось делать? Легко соглашаться, когда съезд позади. Между прочим, он, Кибальчич, жизнь в распоряжение организации уже предоставил. Не так уж мало, да?

Михайлов и Ширяев молчали.

А может, и правильно, что не пригласили. Кое-какие заявления Кибальчича в самом деле сильно озадачивали. К примеру: если можно убить предателя, как Рейнштейна, струсившего, как Гориновича, то можно и просто разочаровавшегося, а там и несогласного, инакомыслящего. Если можно одного, то и — другого, третьего... Если — царя, то почему и не крестьянина, который — за царя?

И почему в уставе партии записано, что нельзя выйти из ее рядов? Почему решение о том, быть или не быть в партии должна вынести она, а не сам человек, решающий этот вопрос?

Впрочем, сомнений всегда больше, чем ясности.

Сняли новую квартиру для динамитной мастерской — в том же тихом Басковом переулке. Работали в ней уже не только Кибальчич и «казак Титов», но и Гриневицкий, Якимова, Исаев, Лубкин, Иохельсон. Девяносто килограммов изготовили за два месяца.

«Земля и Воля» в самом деле скоро приказала долго жить. «Черный передел» и «Народная Воля» возникли на ее костях.

А в августе, 10-го дня, в Одессе казнили Лизогуба, Чубарова, Давиденко.

Еще через день, в Николаеве, — Виттенберга и Логовенко.

Вот когда исчезли сомнения.

26 августа Александру Второму был вынесен приговор.

Несколько дней спустя Кибальчич уехал в Одессу. Здесь, или под Александровском, или под Москвой император должен был завершить жизнь.

Свое настоящее имя Кибальчич назвал на первом же допросе.

Можно и необходимо было скрывать имена Квятковскому, Преснякову, Ширяеву, всем другим арестованным в прошлом и позапрошлом году, поскольку главное дело оставалось невыполненным, ныне — исполнен долг, пусть знают люди их христианские имена и видят готовность за содеянное принародно ответить. Именно так повели себя все: Андрей, Соня, Тимофей и Николай Рысаков. Так будут держаться и оставшиеся на свободе, когда придет их час. И ему ли судить тех, у кого не хватит силы, у кого жажда жизни и страх смерти окажутся сильнее, как оказались, судя по газетам, у Рысакова, кто раскается и восплачет под этим страхом в свой последний час.

Услышав имя, подполковник Никольский замер, упершись ладонями в столешницу. Это имя упоминал Григорий Гольденберг, как главного техника Исполнительного комитета, принимавшего участие в покушении на государя в Одессе и под Александровском. Замер и товарищ прокурора Добржинский: он-то и вырвал знаменитые признания у Гольденберга. Едва заметно повели глазами друг к другу, и это означало, что обоим пришла одна и та же мысль. А мысль была: не является ли Кибальчич и «техник», которого называл Рысаков, одним и тем же лицом? Приметы совпадали вполне. Вот оно, звено, без которого и дознание и процесс были бы не основательны, не убедительны, без которого Россия продолжала бы жить в неуверенности и страхе.

Арестование главарей — важно и поучительно, но тайное общество в состоянии избрать новых, как наверно уже бывало — еще неизвестно значение арестованных Михайлова, Ширяева, Морозова, не до конца выяснена роль казненных Осинского, Квятковского, Преснякова и прочих. Эти люди могут пойти в новое безумное наступление, поскольку, что остается им, отделившимся и отвергнутым? А техник — трудновосполнимое звено. Все эти социалисты при явных и видимых талантах недоучки в профессиональном смысле, и изъятие техника — серьезный удар.

Следовало немедленно предъявить Кибальчича Рысакову, и — если опознает — соединится звено с другими звеньями в нерасторжимую цепь, намертво будет окольцовано трагическое событие I марта.

Он, Никольский, не любил говорить «убийство» или, как проникновенно выражались газеты, «кончина в бозе почившего государя императора»; первое казалось ему недостойным, из рядового уголовного обихода, второе — кликушеством. Речь шла о всенародном несчастии, о трагедии, изживать которую Россия будет не одно поколение и не один десяток лет. Он, подполковник Никольский, много раз видел государя, и едва не каждая встреча запомнилась, как важное событие в жизни, и всякий раз он обдумывал ее значение, возвещающую и предсказующую роль. Однако особо запомнилась встреча

в шестьдесят третьем, когда пришла весть о том, что погиб в Польше его отец, гвардейский полковник Никольский, и он, семнадцатилетний молодой человек, неприкаянно бродил по Петербургу не в силах сознать и смириться, и у Аничкова дворца увидел выходящего из кареты государя. Что-то привлекло внимание государя в лице юноши — долго длился его бесконечно добрый встречный взгляд. С этого мгновения и примирился с потерей, вошло в душу нечто значительное и важное, новое понимание причины и святости гибели отца.

Ну и, конечно, шестьдесят шестой, выстрел Каракозова, выход государя на балкон, взмах руки, приветствовавший тысячи людей. Он, Никольский, решал тогда, какой путь избрать для служения Родине, и тот выстрел решил судьбу.

Когда начались события шестьдесят девятого, аресты семьдесят четвертого, даже выстрелы в семьдесят восьмом, многие считали, что все это молодая блажь, — утрясется, устроится, стоит только государю дать ей, молодежи, чуть больше прав, а следовательно, и обязанностей. Но он, Никольский, в ту пору штабс-капитан, капитан, знал — не утрясется. Слишком быстро менялась жизнь, в обществе возникла болезненная страсть к переменам все более существенным, явилась охота принять в них личное участие. Все поколения оказались терроризованы молодыми людьми, никто не смел сказать — довольно! — и государственная власть стала казаться близкой и достижимой.

Что ж, перемены России были необходимы, но возросла угроза тому, кто их начал и проводил, государю. И когда был убит харьковский губернатор князь Кропоткин, а потом эта неопрятная девица выстрелила в живот Трепову, когда на улице закололи Мезенцева, он, Никольский, уже понимал, куда развиваются события, кто на очереди. Однако не самым замечательным образом складывалась служба — был он хоть и не в малом звании, но что может отдельного корпуса жандармов подполковник сделать для Петербурга, для России? Нужны высокая власть и должность, а ему оставалось лишь только скрупулезно исполнять свой долг и в бессилии наблюдать, как они подбираются к государю.

Три недели назад вместе со всей Россией он присягнул на верность новому императору, но полюбить, как любил покойного, не мог. Нынешнего государя станут любить те, кто только вступает в жизнь, его же сердце занято, и не по присяге он столько времени проводит в размышлении о случившемся, так скрупулезно ведет дознание, а потому, что душой все еще служит покойному. Тщательное следствие — единственное, что он может сделать для наказания преступников и ради священной памяти государя.

В тот же день подполковник Никольский предъявил Кибальчича арестованному Рысакову, и Рысаков тотчас опознал его, как «техника». И хотя фамилию подтвердить не мог, для привлечения Кибальчича к дознанию по обвинению в Одесском покушении и покушении I марта, оснований было достаточно.

Все они, арестованные в последние дни и недели, вели себя разно. Отрешилась от жизни Перовская, ушел в свою последнюю и уже вечную тоску, оцепенел Тимофей Михайлов, зародилась и крепла страстная надежда на спасение в лице Рысакова — всякий раз и каждого он проницал взором: помогите! Есть же Христово милосердие на земле! А если нет — должно быть. Кому отмстил Иисус за свои муки?.. Тяжко было глядеть в его припухшие узкие глаза. Упрямо, настойчиво, не позволяя себе никаких сомнений, держится Желябов: жесты, выражения глаз, голос — все подкрепляет одно другое, свидетельствует о вере и нераскаянности. И кажется, нет у него мыс-

лей ни о жизни, ни о смерти — только о своей бесчеловечной идее, о своем безрадостном торжестве.

Ну, а ты, техник? Откуда это христианское спокойствие, негромкий голос, — терпеливое выражение располагающего правильного лица? Так же негромко, терпеливо и доходчиво объяснял товарищам принцип придуманной им бомбы? Так же без видимого волнения устраивал запалы под железной дорогой в Одессе и под Александровском, так же буднично обдумывал силу взрыва?.. Что это, завидное владение собой или душевный изъян? Что за улыбка — ласковая и некстати — выползает вдруг на лицо? Думаешь ли о том, что ожидает тебя? О родных и близких, что восплачут и зарыдают, как только имя твое облетит Россию? О миллионах, что проклянут?

— З-занятие? Литературный труд. С-средства к жизни? Заработки от литературного труда... Имею двух братьев: Степана и Федора. Трех сестер: Ольгу, Катерину, Татьяну. Одна сестра г-где-то в Петербурге, другая в Козельске, третья... не знаю. Один брат в Коропе, д-другой... Нет, не знаю где. Возможно, в Немирове. Возможно, в Жорнице.

Тоже характерно для социалистов. Держат в уме десятки имен, примет, адресов конспиративных квартир, а где живут самые близкие люди, не знают. Не с этого ли начинается революционер — с забывания? Что за переворот в душах, если чужие люди становятся дороже родных?

— С Желябовым п-познакомился летом семьдесят девятого. На квартире у него не бывал, адрес не знаю. Участие в Одессе?.. П-показывать не желаю. С кем жил там? С женой, — он усмехнулся. — Фамилия? Не знаю.

Никольский оторвался от протокола, с иронией поглядел на Кибальчича. Стоит ли отпираться в мелочах? Многое еще предстоит назвать, во многом признаться. Человек не знает, как много он способен рассказать. Не вдруг, исподволь отменяются прежние решения, поскольку даже убийца — человек. И нельзя за это судить Гольденберга и Рысакова, быть твердыми в решениях способны лишь те, кому еще предстоит жить.

Однако, если подследственный слишком часто произносит «не желаю, не помню, не знаю», значит — устал, и надо прекращать допрос. А жаль: прилив деятельной энергии чувствовал подполковник Никольский.

Отпустил Кибальчича, Добржинского, а сам еще долго работал — составлял список швейцаров, дворников, коридорных, квартирных хозяев, которым собирался завтра же предъявить Кибальчича.

* * *

В том, что человек не меняется вдруг, Кибальчич был вполне согласен с Никольским, а улыбнулся потому, что не было силы, которая принудила бы назвать имя той женщины.

Она приехала в Одессу в начале сентября после серьезной размолвки с Александром Михайловым — вся под впечатлением своей победы.

После той памятной встречи в Лесном в конце августа, когда Александру II был вынесен приговор, едва не все члены Исполнительного комитета разъехались готовить покушения — кто в Москву, кто в Александровск, кто в Одессу. Только немногие остались в Петербурге — она, Вера Фигнер в том числе. Якобы для связи, для координации. Ничуть не утешало, что оставался в Петербурге и сам Михайлов. И однажды сорвалась, наговорила ему бог весть что, как это она очень умела. И Михайлов в ответ тоже сорвался, наговорил — будто она ищет прежде всего личного удовлетворения, вместо того, чтобы предоставить организации распоряжаться ее жизнью, и это

не что иное, как отголоски ее эгоистического воспитания, привычки быть на виду и в центре внимания. Что это дамство, а не гражданство, дворянство, а не социализм.

Михайлов не хотел привлекать ее ни к одному из трех задуманных покушений не потому, что не доверял или сомневался в способностях, напротив, доверял и не сомневался. Иная была причина: слишком хороша, женственна, привлекательна Вера — то есть, приметна. «Посмотри на себя! — гремел он. — Куда ты годишься?» — «Постыдные глупости говорите, — отвечала и от волнения, конечно же, выглядела еще привлекательнее. — И все оттого, что даже вы смотрите на женщин, как на предмет удовольствий». — «Да не я! Жандармы, полиция, дворники будут на тебя глядеть!..» В конце концов она его сломила. С кислой миной, со скрипом колесным отпустил в Одессу.

Кибальчич уехал туда раньше — оглядеться, подыскать квартиру, разузнать, чем они, одесситы, живы. И, разумеется, не получил ли кто из сочувствующих кошмарное наследство — тысяч триста было бы в самый раз. Адрес для первого приюта дал Желябов: «Если негде будет голову приклонить, — сказал. — Не слишком рассчитывай на них. Они...» — нахмурился, не договорил.

Сам он с Иваном Окладским и Аней Якимовой отправлялся в Александровск под Харьковом. Ему в Одессу нельзя — учился в тамошнем университете, слишком много знакомств.

В Москву собирались Перовская, Гартман, Ширяев, Баранников. Там, из дома у железной дороги, который купил Гартман на имя купца Сухорукова, решено было рыть подземную галерею — сорок семь метров длиной.

Одесса произвела на Кибальчича впечатление сильное и неожиданное. Большой город казался ненастоящим, случайным. Будто в незапамятные времена брел огромный, разноплеменный табор, приостановился на сладчайший отдых у моря — неделя, месяц, год — и вот уже несколько столетий живет все так же неосновательно, таборно, будто в ожидании некоего сигнала, трубного гласа, чтобы свернуть бедные пожитки и, бессмысленно ликуя, двинуться в извечный путь.

Петербург на ночь всегда вымирал, опустевал так, что даже ветер носился пугливо от улицы к улице, глыбами отламываясь у каменных углов, оставляя робкую тишину за собой, — Одесса и ночью страстно вздыхала, вскрикивала, бормотала и, опять же, как на краю спящего табора, вдруг поднимался галдеж — там, на причале или Привозе, среди откупщиков, мелких торговцев, рыбаков.

Он чувствовал себя гостем среди гостей. Даже полиция казалась иной, нежели в Петербурге. Там, в столице, полицейские и жандармы — особый, неусыпный клан, представляющий власть, государство; здесь — такие, как все: наслаждаются сентябрьским покоем, ленной праздностью, благополучием. Но — поймай случайный взгляд околодочного и все ясно: не представители власти, сама власть.

Было чувство отъединенности от людей.

Но появилась Вера, подала царственную руку из вагона первого класса, решительно шагнула, подобрав длинную юбку — все переменилось в мгновение. Сильная, горячая и сухая была рука.

Он отвез ее в гостиницу «Европейская», где остановился и сам, внес тяжелый и громоздкий чемодан, отказавшись от услуг лакея.

— Что у вас здесь?

— Наряды. Во зло Михайлову, — сказала она.

И в самом деле оказалось — наряды. Удивился, не знал такой слабости в ней.

Переоделась, надела легкую блузку с пышными кружевными воланами на груди и приказала Кибальчичу вести ее кормить, а затем показывать город, все его примечательности. И с таким интересом внимала, оглядывалась, вникала, что Кибальчич почувствовал себя замечательным собеседником, опытным гидом и даже одесситом, приверженцем вольной жизни и юмора. И уже не понимал, почему не нравился, казался бутафорским этот город вчера.

Обедать в гостиничном ресторане Вера отказалась, они зашли в трактир на Привозе, и пышнокудрый молодой грек со всех ног бросился к ним, увидев даму, и она держалась соответственно — как великодушная пришелица из большого света, которую случайно занесло в этот низкий и злачный, но любопытный мир.

Вдруг она предложила искупаться, хотя было уже темно и пустынно, и когда пришли к морю, сказала: «Встретимся за горизонтом», — указала на лунную дорожку на водной глади. Отошла, и темень тотчас укрыла ее. Кибальчич, услышав плеск, тоже вошел в море. Скоро заметил ее голову над водой, но не окликнул, а плыл в отдалении, и только увидя, как меркнут редкие огни берега, позвал и приблизился. «Не пора ли обратно?» — «Пора, — согласилась она. — Но мы поплывем дальше». Через четверть часа снова забеспокоился: «Мы можем потерять направление». Еще через минуту: «Вы к-как хотите, а я в-возвращаюсь». Она рассмеялась: «Это я и хотела услышать от вас, трус презренный». Дорога к берегу оказалась труднее. Но когда добрались, отдышались и насмеялись вдоволь, она спросила: «Неужели вы оставили бы меня, Кибальчич?» — «Н-никогда», — сказал он, и она удовлетворенно отозвалась: «Верю».

Возвращались молча. У редких газовых фонарей Кибальчич взглядывал на нее и видел бледное от усталости, иконописное, вдруг посуровевшее лицо.

«Что с квартирой?» — спросила, когда подошли к гостинице. «Не нашел», — виновато ответил он. «Так я и знала». Толика пренебрежения прозвучала в голосе — вполне заслуженного, а потому Кибальчич пилюлю проглотил.

Вообще-то квартиру он присмотрел — почти задаром, в нищенском еврейском квартале. Но тут представил, как она, высокая, белоликая будет выглядеть там, — устыдился признаться. Полиция заинтересуется такой парой тотчас.

На следующий день Вера сняла квартиру на Екатерининской улице, и они поселились вдвоем под фамилией Иваницких — такую фамилию носил дед Кибальчича Маркел.

Очень скоро нагрянули и остальные: Фроленко с Фаней Морейнис, Колодкевич — «Кот», Исаев — «Гришка», Савелий Златопольский — «Савка».

Кибальчич и Вера пришли на вокзал встречать Исаева и были немало удивлены, когда из вагонов начали вываливаться все другие. Сами они тоже удивлялись, уверяли, что не намеренно, дескать, только сейчас друг друга увидели. Вера терпеливо улыбалась. Да, понимаю, — говорила она. — Очень жаль, что не в одном вагоне. Скучно тащиться через всю Россию. Вместе было бы веселей. Динамит, опять же, у каждого в чемодане. Куда приятнее отправляться в тюрьму компанией, чем по одному.

Улыбалась, и красивое ее лицо понемногу становилось еще красивее, как бывало всегда, когда не могла сдержаться. И вот уже «Гришка» не выдержал светской улыбки, потупился, за ним «Савка», а там и «Кот» униженно зашевелил пышным усом. И только Фроленко с Фаней переглядывались весело, как нашкодившие школяры, не разумея вины.

За прошедшие дни Вера сняла еще три квартиры, каждому назвала адрес. «А теперь расходитесь по очереди, — приказала. — Вечером получите все,

что недополучили сейчас». И никому не посмотрела вслед. Первым исчез, смылся «Савка», за ним «Кот» и «Гришка».

«Кибальчич, — вдруг спросила Фаня, — что с вашими серыми глазами?»

Фроленко ничего не понял, забеспокоился: «Что? Что? По-моему, все в порядке?..»

«Откуда эта голубизна?»

«Цвет глаз, Фаня, не имеет для нас значения, — назидательно произнесла Вера. — Внешние приметы — по другому, известному тебе ведомству».

Фаня смутилась. Она вечно ставила себя в положение, когда смутить легко и не смутить невозможно. Кибальчич познакомился с ней накануне отъезда, на квартире Фроленко. Были все те же лица: Колодкевич, Исаев, Златопольский, говорили о деньгах, способах покушения. Когда Фаня поняла, что он — техник, расцвела от счастья и весь обед глядела ему в рот. Но поскольку он не обращал внимания, обиженно спросила при всех: «Кибальчич, почему у вас такие строгие глаза?» Смеялись все, кроме Кибальчича и Фани, а Савка Златопольский сказал: «Фаня, дурочка, дай я тебя расцелую! Что за невинный ты человек?»

Так что тема цвета и выражения глаз была традиционной. Влюбчива Фаня была без меры. Простительная слабость для всех — кроме Веры.

«Уходите же, наконец!» — сказала она.

Фроленко бывал в Одессе, широко пошагал к улице. Фаня вприпрыжку, оглядываясь, за ним.

Она, Фаня, рождением была из Николаева. Тоже когда-то мечтала работать в народе, даже училась сапожному ремеслу. Фаня — сапожница? Ничего смешнее придумать нельзя... Но лишь тогда, когда в Николаеве казнили самых близких друзей — Логовенко и Виттенберга, отложила сапожный молоток. Иные встали проблемы.

Не так уж простодушна была, как казалось в первый момент.

Ну, а самой замечательной за последний год была, конечно, встреча с Фроленко.

Вернувшись из Новгород-Северска, Кибальчич лицом к лицу в Лесном, в столовой, где за четыре копейки можно было получить тарелку супа без мяса, но с хлебом, столкнулся с Львом Дейчем. И пока обнимался с ним, не заметил, что подошел еще один человек, поглядывает с загадочной улыбкой. Наконец, увидел и обмер: то был Тихонов, киевский надзиратель. Храбрый ты человек или робкий — одинаково растеряешься от такого явления. Мало знать, что Дейч, Стефанович и Бохановский бежали с помощью тюремного надзирателя, надо знать, что Тихонов — он самый и есть.

Дейч как обычно шумел, гремел за столом, и Тихонов-Фроленко его успокаивал: «Замолчи, Лейба. Щас запру в камеру». Дейч рассказывал, как бежали из тюрьмы. О том, как Фроленко поил старшего надзирателя водкой с хлоралгидратом — напрасно, выдул штоф и ни в одном глазу. Как выбросили книгу в окно и попросили сходить за ней. К книгам малограмотный надзиратель испытывал уважение, обругал растяпу Дейча, но пошел. В это время Тихонов-Фроленко и открыл камеры, повел из тюрьмы под видом полночной смены надзирателей.

Все было рассчитано по минутам: вот-вот грянет настоящая смена. Мимо часовых надо пройти четко, друг за другом, с шашкой наголо. Тут обнаружилось: переодеваясь, забыли приготовленную шашку... Фроленко метнулся обратно, а тут уж надзиратель с книгой. Заметь он их, сжавшихся в темном углу, пришлось бы душить. Но — пофартило, повезло, пронесло. Вот и часовые, которые не знают надзирателей в лицо. «Смена идет!..» Вот и ворота. Валериан Осинский с лошадью. Понеслись!

Фроленко слушал, посмеивался. Получалось, что главная заслуга — его, Дейча, а он неизвестно зачем болтался в тюрьме.

Между прочим, заметил он, все это — финал симфонии, кода. Куда труднее было устроиться на работу в тюрьму, выбиться из чернорабочих в ключники, попасть к политическим в коридор. Три с половиной месяца готовился побег. «Что ж вы мне ничего не сказали?» — спросил Кибальчич. Дипломатично отвели глаза, дескать, кто знал, что ты за человек. Слишком неопределенными казались твои воззрения. Дейч собирался в эмиграцию и звал с собой. А когда узнал, что подал прошение в академию, поднял на смех. «Что за наивный человек? Кому ты нужен?.. Или придется кланяться до шишек на лбу. Устраивает?.. А в Европе ты, с тремя языками... Ну, решайся! С Лавровым будешь чаи гонять!..»

Может, и поехал бы с ним, если бы...

Поразившую новость узнал от расхвастравшегося Дейча. Живописуя, свое революционное прошлое, он признался, что вместе со Стефановичем и Малинкой был исполнителем того ужасного покушения на Гориновича. Он, Дейч, сокрушил несчастного ударом кистеня в голову, а Стефанович облил кислотой.

Знать такое о Дейче было невыносимо, с отвращением глядел на него. Что это, врожденная, но скрытая жестокость? или все то же сознание: он, без вины виноватый перед русским народом, должен быть самым отчаянным, смелым?.. А сын священника Стефанович?.. Никак не мог вспомнить его лицо — только морщинистый лоб и идеально ровные белые и мелкие зубы. «Нет ни обмана, ни правды, — так, кажется, он говорил, — есть цель». И еще: «Не лучше ли пролить кровь тысяч, чтоб спасти миллионы?» Лучше — хуже. Или так сегодня стоит вопрос?

Дейч уже сожалел, что похвастал. «Не думаешь ли, что ради удовольствия мы хотели убить его?» — кисло спросил он.

«Н-не думаю, — ответил Кибальчич. — С-страшно д-думать».

Больше о совместной поездке Дейч не говорил.

Скоро он в самом деле исчез, потерялся из виду и Тихонов-Фроленко. Много месяцев прошло, пока свиделись опять.

Теперь и прежде всего следовало выбрать участок, где можно подвести мину под полотно железной дороги. Когда обсуждали план покушения в Петербурге, думалось: просто, стоит лишь отойти на три-четыре версты. Однако на месте увидели, что одно село сменяет другое, возня у насыпи тотчас привлечет внимание.

Фроленко напялил свой маскарадный дворницкий наряд, с которым не расставался с семьдесят четвертого, как стал нелегальным, распотрошил бороду и отправился наводить справки. Вечером вернулся сияющий: есть место сторожа на 13-й версте от Одессы, «на камнях», близ села Гниляково.

Как такое лакомое заполучить?

Одесса — не Киев, Харьков или Петербург, здесь под подозрением каждый новый человек. Пять смертных казней за полгода, восемнадцать человек на каторге, сто в ссылке. Император отдыхает в Ливадии — вот причина причин.

Можно привести в действие механизм связей, есть немало знакомых, в том числе влиятельные, но дело грозное. Умолчать о цели? Имеют ли право ставить людей под удар?

«Есть скрытый шанс», — заявила Вера.

Шанс таился в женской красоте и мужской на нее отзывчивости.

Место для Фроленко должен доставить один из сильных мира сего, а именно будущий зять генерал-губернатора графа Тотлебена барон Унгерн-

Штернберг. Примечательная, по слухам, личность. Властолюбив, но бескорыстен, жесток, но и филантропии не чужд. Тестя своего будущего уважает, однако предпочитает с ним лишний раз не встречаться, обожает будущую супругу, но не с порога отвергает и иные варианты личной жизни. Кроме того, либерален в воззрениях и важность общественного мнения признает.

Одно плохо: барон оказался виновен в тилигульской катастрофе на железной дороге — несколько сотен новобранцев погибло в ней. Шло расследование, и барон сидел на гауптвахте на хлебе и воде.

Ждать конца расследования было нельзя, место сторожа могло оказаться занятым в любой момент.

Имелась и выгодная информация: несмотря на гауптвахту, барон просителей принимает, вникает и редко кому отказывает, по-видимому, чувствует перед обществом ответственность и вину.

Вера явилась к нему утром, одевшись просто, как одеваются молодые помещицы, побывавшие и в своей и в чужих столицах, знакомые не только с журналами мод, но и с серьезной книгой, приняв то выражение, что свойственно дамам живущим в свое удовольствие, однако разумеющим трудные заботы иных. Улыбнулась барону коротко, как равная по образованию и рождению, сообщив улыбкой и свое огорчение нынешним его положением и уверенность в невиновности — иначе разве стала бы обращаться к нему?

Барон был грустен в то утро, даже подавлен. Хотелось свободы, деятельности, отчасти и развлечений, а положение арестованного делало его в глазах общества не столько пострадавшим от извечного на Руси разгильдяйства низших служащих, сколько смешным. Кроме того, надоели просители с их никчемными хлопотами, порой казалось, что и они виновны в том, что случилось в Тилигуле, что если б меньше просили, а старательнее трудились, не прозябал бы он на гауптвахте в ожидании судьбы.

Вчера его навестила невеста, однако была рассеяна, даже сурова — хотелось тоже и об этом поразмышлять. Что бы это могло значить, чем угрожать? Уж не собирается ли папаша отказать в руке дочери? Вряд ли кому она еще нужна, перестарка, только и достоинств, что девственница, однако ж...» Себялюбив генерал, самовластен, законченный солдафон и бурбон. По слухам, эти социалисты, или, как модно говорить ныне, радикалы собираются его шлепнуть — жалко невесту, будет старушка плакать, а так — туда и дорога самодуру, ворвался в Одессу, как Сципион младший в Карфаген.

Барон был из обедневших, держался в этом мире своим умом, старательностью, кое-каким, если откровенно, расчетом, и знал, что если проситель держится на равных, значит, либо чрезвычайно богат, либо влиятелен.

Усадил даму, а себе не сразу позволил сесть. Внимательно выслушал ее.

Просьба доставить место сторожа ее дворнику Семену Александрову, поскольку жена дворника страдает туберкулезом и нуждается в обстановке вне города, разочаровала. Модно стало радеть о дворниках, истопниках, сторожах, ссыльных, каторжных, это началось в России с шестьдесят первого, с Освобождения, когда дети крепостников почувствовали вдруг вину перед народом, а не будь того запоздалого манифеста, спокойно продолжали бы ездить на них и пахать, как пахали века. На родине его отца, в Германии, такого не было и не могло быть. Там уже давно каждый стал человеком и каждый воюет сам за себя. Но ведь и он родился в России, эта полудикая страна — его милая родина, и как ему эту привлекательную женщину не понять?

— Так ведь, мадам, места сторожей — забота начальника дистанции господина Щигельского. Опять же, есть ли вакансии?

— Что ж, — сказала она, — нет вакансии, значит, не повезло дворнику. А жаль, старательно служил и он, и его отец, дед. Хочется человеку помочь. Может быть, напишете два слова к этому господину... Щигельскому?

Не хотелось обращаться к подчиненному с такой просьбой, но, опять же, такова родина и ее нравы. Как отказать?

Взял листок, написал требуемое, подвинул на край стола. Однако дама и не подумала подняться, пока он не догадался, встал и поднес бумагу. Только тогда взяла, не взглянув на текст, сунула в ридикюль. Пометила лицо усталой улыбкой, пошла к двери.

Все стало ясно барону. До дворника ей столько же дела, сколько ему. Люди — люди и есть.

Следующим днем Вера отправилась к Щигельскому. Вот когда пригодились наряды, что привезла с собой.

Увидев даму в длинном до пола платье из темного бархата, с кружевными оборками и плиссированными воланами, с брошью, украшенной венецианской мозаикой, со шпилькой в виде стрелы амура в высокой прическе, Щигельский пришел в восторг неописуемый, будто знакомство с этой дамой было тайной мечтой его жизни. А когда услышал низкий — контральто — голос, пришел в отчаяние: понял, что мечта неосуществима. Так что записка от Унгерн-Штернберга была и не нужна, она лишь подчеркнула, что дама, эта — из той, недостижимой жизни, и как бы старательно не исправлял Щигельский свои служебные обязанности, ему ее не достигнуть.

— Немедленно вашего дворника ко мне, — с грустью произнес он.

Вера выписала Фроленко мещанский паспорт на имя Семена Александрова, и уже на другой день он был определен на службу, именно на тот участок, близ Гниляково, на который рассчитывали.

Тут же возникло некое затруднение. Фаня Морейнис, хорошенькая, живая, с румянцем во всю щеку никак не подходила на роль жены дворника, страдающей туберкулезом. Что если барон или начальник дистанции пожелают узреть плоды своей филантропии?

Надо было срочно искать другую женщину.

«Что ты, Верочка, натворила? — печально спрашивала Фаня. — Кто из женщин сейчас свободен?»

Свободна была Лебедева, но тоже не находка: огромные глаза, нежные пальчики. Правда, бледность после трехлетней одиночки подходящая, в самый раз.

Поручили Кибальчичу составить «шифрованную» телеграмму в Питер. Текст получился такой: «Место сторожа получил. Прошу любезную супругу выезжать». И несколько дней спустя Кибальчич встретил Лебедеву на вокзале.

— Кибальчич, вы посылали телеграмму? — спросила она, едва спрыгнув на перрон.

— Я.

— Так мы и решили. Вы не с Луны свалились? Разве так пишут дворники и сторожа?

— Зависит от человека, — ответил Кибальчич. — Н-нежный сторож способен на все.

Так она и называла его впредь: нежный сторож.

Скоро сторож Семен Александров получил отдельную будку. Можно было помаленьку перевозить динамит. Пора было и приготовлять запалы, готовить цилиндры для наполнения динамитом.

Вдруг появился в Одессе незванный и негаданный Степан Ширяев — прямиком на квартиру Кибальчича и Фигнер. Они никого не ждали, их адрес знал только Фроленко да в Петербурге — Михайлов.

— Кто? — спросила Фигнер, замерев у двери.

— Свои, — ответил незнакомый, простуженный голос.

— Подождите, — сказала Вера. — Я еще не поднялась.

Позже, когда отзлились и как следует отчитали Ширяева, посмеялись тоже в охоту. Вера изобразила, как у Кибальчича тряслись руки, когда ссыпал сушившийся на столе пироксилин в банку, а Кибальчич — как таежной рысью кралась она в ночной сорочке к двери.

Степан был изрядно смущен. Оказалось, отвез в Москву элементы Грене, провод, но работа там тяжкая, он со своим хилым телом пришелся не ко двору, Перовская прогнала его. Понятно, лишний человек — лишние подозрения, но не возвращаться же в Петербург? Сюда приехал, и здесь не рады. Как жить, дорогие сограждане?

Простили его окончательно, когда увидели, что не с пустыми руками — привез полторы сотни экземпляров первого номера «Народной Воли». Вера расцеловала Степана в обе щеки: «Что ж ты молчал?»

В тот же день собрались на общей квартире, где хозяином был Исаев: Вера, Кибальчич, Колодкевич, Фроленко, оставив встречать и провожать поезда любезную супругу, Златопольский.

Читать начал Ширяев, но у него тут же отобрали газету, не понравился простуженный голос, отобрали и у Колодкевича — много пафоса, и у Исаева — пономарь. В конце концов передали Вере.

— Братцы, — возопил Златопольский, — а ведь перевернем мир!

Казалось бы, что она, газетка на двадцати страницах? Но именно теперь почувствовали, что — партия, а значит, сила. Две тысячи экземпляров тираж, но каждый экземпляр прочитают сто-двести-триста молодых ладей. И все прочитавшие, хотя бы мысленно будут с ними.

Наступают значительные времена. Не все увидят плоды с дерев, которые высаживают, но — кто же, если не они? Каждое поколение должно найти средь себя смелых и бескорыстных, иначе как жить всем другим? Что ожидает Россию, все человечество без таких людей?

Так славно было чувствовать себя одним из них.

Ночевал Ширяев в комнате Кибальчича, на полу. Долго не мог уснуть и говорил о том, как мрачен стал Петербург, когда все разъехались, и о том, что, когда будет сделано дело, заберет Аню Долгорукову с ребенком, уедет на родину, в Саратовскую деревню.

То был хорошо знакомый Кибальчичу мотив. Едва ли не все и каждый говорили в минуты досуга, как праведно будут жить потом. Как будто дальше оно пойдет само собой. Но не о том ли мечтал и сам? Разве что не собирался возвращаться в Короп, а хотел заняться наконец-таки и настоящим самообразованием и попытаться разрешить ту странную для людей идею, что свалилась на него полгода назад.

— Что Аня? — спросил он.

Ширяев молчал так долго, что Кибальчич подумал: уснул.

— Не знаю, — ответил наконец. — Я теперь не бываю у нее.

Степан так и не смог ничего объяснить ей. Оставил обычную для таких ситуаций записку — «прости» — и исчез. Однажды, желтая от трудно протекавшей беременности, с огромным животом, нечесаная, она встретила их втроем — Степана, Кибальчича, Квятковского. Разрыдалась, била Степана маленьким желтым кулачком, а Кибальчичу плюнула в лицо. Он подумал тогда, как должно быть страшно его друзьям иметь жен, детей, матерей и отцов. И как счастлив он, что — один. У сестер и братьев свои ценности, своя жизнь.

На следующий день показал Степану катушки Румкорфа, что приобрел по дешевке в Одессе. Одну из катушек купил неисправную, отдавал в починку. Предложил Степану определить какую — нет, не определил. Вместе сходили в Дюковский сад испытать на воспламеняемость отсыревший было пироксилин. Запалы Кибальчич еще не делал, поскольку опасно хранить их в собранном виде рядом с пироксилином, он соберет их, когда станет известно, что император покидает Ливадию и направляется в Петербург.

Побывал Ширяев и в Гниляково. Вернулся веселый: «Рай земной. В Москве — ад». Рассказал, как уродуются они там, копая галерею ночами, бурят землю — гаснет свеча от испарений и сырости, складывают землю в сараи. Как едва не попались — пристав пожелал говорить с хозяином дома Сухоруковым, но Соня прикинулась глуховатой дурой — не пустила пристава на порог. Так истинно по-русски выглядела испуганной при виде начальства, что развеяла все сомнения: самый надежный для государства тип.

Пришло время Степану уезжать, и он опять загрустил. Из Одессы он направлялся в Александровск к Желябову, но и здесь его роль чисто курьерская: вез деньги, поскольку Желябов представился богатым ярославским купцом, устроителем кожевенного завода, и расходы были соответствующие замаху и положению. Надежда, что получит настоящее дело, была только на Москву — рассчитывал пригодиться при устройстве мины.

Долго прощался, дважды подавал руку, потерянно оглядывался, даже попросил присесть на дорогу. Провожать друг друга без надобности было запрещено, Степан пошагал один. В окне Кибальчич увидел его еще раз: шел быстро, сутулясь и кособочась под секущим ветром.

Больше увидеться не пришлось.

В начале ноября, когда все уже было готово, динамит перевезен в будку и собраны запалы, пришла весть от Желябова, что срочно требуется Кибальчич.

Выехал он тотчас, прихватив на всякий случай спираль Румкорфа, моток изолированного провода, трубки для запалов. Условился с Верой и Колодкевичем: если возникнет надобность, даст телеграмму, подписавшись Максимовым. И условие это пригодилось. Но если бы знать, к чему приведет оно.

На пересадке в Елисаветграде он встретил знаменитого Гришку Гольденберга, убийцу губернатора Кропоткина, — ждал поезда на Одессу. Они были знакомы с июля, когда Желябов привел Гришку в динамитную мастерскую, и замечательно красногубый, ушастый и глазастый Гришка всех поразил клокотанием жизненной силы, говорливостью, любопытством, а к вечеру — унынием, в какое повергло его кропотливое производство. На другой день Гришка явился в мастерскую только к вечеру, сославшись на некие важные дела и заботы, тигром бросался из угла в угол, но за дело так и не взялся, на третий и вовсе не пришел. Его, разумеется, тут же забыли. Память у Гришки оказалась цепкая, узнал Кибальчича с первого взгляда. Кинулся к нему прямо на вокзале, потащил на улицу под дождь и ветер. А сообщил неприятное. Поедет император через Одессу или не поедет — вилами писано, но через Москву обязательно. Большая часть динамита у них в Одессе и у Желябова, а в Москве не хватает. Надо делиться.

Жарко дышал в лицо, наступал на ноги, махал руками. Адресов в Одессе Гольденберг не имел — вот причина.

Отказать в помощи Кибальчич права не чувствовал и дал адрес — там сообща решат, что делать. Составил телеграмму: «Не посылайте даром вина. Завтра приедет мой поверенный. Максимов».

Как раз в эти дни Фроленко и Исаев должны были заложить мину.

Гришка, как только отправили телеграмму, сразу успокоился, обмяк, словно свалил груз ответственности. Улыбался: «Повезло мне. Где бы я искал их? Как вы там? Ничего? Люблю Одессу. Вот где стану жить, когда... Ну, сам понимаешь. А ты?..» — «Время покажет». — «Ясно. Само собой». Открыл чемодан, достал ветчину, хлеб, располовинил, щедро подвинул Кибальчичу лучший кусок. «С приветом от Сони, — ухмыльнулся, подмигнул. — Работа у них — страх и ужас. На брюхе ползают. А у вас?» — «Увидишь», — неохотно отозвался Кибальчич.

Чем больше мрачнел один, тем беззаботнее становился другой.

«Ты не переживай, — сказал Гришка. — Решение правильное. Как же иначе?.. Зунд вернулся пустой».

Вот, оказывается, в чем дело. Зунд — Зунделевич. Когда стало ясно, что динамита для трех точек мало, его отправили в Швейцарию — по слухам, там динамит можно было купить задешево и без хлопот. Видно, слух оказался ложным.

К тому времени, когда пришел поезд, Гришка был уже влюблен в Кибальчича. Схватил его, шагнувшего в вагон, за плечи, обнял и расцеловал. Со стороны можно было подумать — пьян человек. «Если бы мы... Если бы мы с тобой... Если бы мы...» Чувства душили и разрывали его. До конца перрона скачками несся у вагонного окна.

Смешной и, видимо, славный человек. Интересно, что чувствовал он, направляя револьвер в Кропоткина? И что — позже?..

Спать Кибальчичу не пришлось. Простоял до Александровска в тамбуре, размышляя о происшедшем. Что-то неопределенное томило душу, хотелось поскорее обсудить это с Желябовым.

Они познакомились скоро после того, как была устроена новая мастерская в Басковом переулке. Желябов произвел впечатление человека, который умеет принимать решения и оценивать решения других. Вообще-то Кибальчич опасался таких людей. Но и такие, конечно, нужны.

Встречающих поезд в Александровске было мало, человек десять-двадцать. Но будь на перроне и сотенная толпа, Желябова нельзя не выделить, не заметить. Что-то особенное было в его коренастой фигуре, упрямом наклоне головы. Он тоже сразу выделил Кибальчича, но лишь на мгновение вспыхнул свет — ничего особенного, приехал к купцу поверенный.

Как и положено богатому человеку, Желябов пешком не ходил — у станции ждал извозчик. Поехали к дому александровского мещанина Бовенко, у которого Желябов снимал две комнаты, и по дороге он всерьез говорил о будущем заводе, о ценах на кожу сравнительно с ярославщиной, так что Кибальчич подумал — завод в самом деле был бы неплох. Заводчик из Желябова получился бы отменный, по шестнадцати часов у него работали бы люди, это он умеет — заставить. Есть в его облике то сдержанное неудовольствие, жадность к результатам, что подхлестывает людей.

Когда познакомились, Кибальчич ломал голову, сколько нужно магнезии, чтобы избегнуть кристаллизации нитроглицерина при низкой температуре, — не до разговоров. Однако пришлось объяснять реакции и взаимодействия, и видно было, что Желябов все пропускает мимо ушей, а решает про себя иное: можно ли доверять этому ученому таракану — ни союза не пропустит, не ошибется в окончании? Кибальчич объяснял долго, раздражительно подробно, а когда надоел упорный, вопрошающий взгляд, прервал себя на слове: «У вас нет выхода, кроме как доверять мне». Желябов опешил, а в следующее мгновение рассмеялся. «Виноват, господин техник. Это у меня от деда. Тоже не дове-

рял интеллигентам». Гордился своей крепостной родословной. Требовательно сжал Кибальчичу локоть. С того дня и установились взаимно насмешливые отношения, однако сарказмы Желябова казались учительскими, ответная ирония Кибальчича — обиженного школяра. «Господин директор», — называл он Желябова, а в ответ получал: «господин Цилиндр». Все были недовольны их отношениями, а больше других — Михайлов, который придавал особое значение тому, как ведут себя и что чувствуют члены партии. Впрочем, Михайлов всегда и всем был недоволен: нельзя слишком рано выходить из дома, нельзя приходить поздно, нельзя оставлять на столе любые бумажки, любые письма, нельзя собираться на улицах больше двух, нельзя ходить в одну и ту же кофейню, харчевню, нельзя, нельзя, нельзя. Прозванье «дворник» подошло к нему, как впаялось. Однажды всерьез отругал Кибальчича — по поводу того самого выпадения из времени, что случалось в библиотеках. В тот раз он выпал у окна мастерской. «Я сорок минут стоял на улице! Какой столбняк на тебя нашел? Запрещаю тебе — и всем! — подходить к окну!..» Все посмеивались не без смущения, во-первых, потому, что установилось: он — отец, они — малые дети, во-вторых, был прав.

Любые приметные или отличающие черты: медлительность, торопливость, смешливость, серьезность, высокий или малый рост, громкий или тихий голос — все возмущало Михайлова. Желябову и Колодкевичу мечтал остричь приметные, на его взгляд, бороды, Кибальчичу — запретить носить цилиндр.

Однако в нынешнем положении борода Желябова устроила бы Михайлова, такая и должна быть у богатого, уверенного в своем будущем купца.

Когда вошли в дом Бовенко, Желябов продолжал громогласно рассуждать о выгодах и трудностях кожевенного производства, о том, что зря городские власти не позволили строить завод ближе к городу, не столь уж дурен запах, а санитарные условия он обеспечил бы, о том, чем разнятся французские кожи от итальянских, о том...» Вряд ли была необходимость в такой массированной конспирации, тем более, что в доме оказалась только жена Бовенко Марья, — это уж Андрей кичился своими знаниями и ролью.

Планы его простирались далеко, к тем временам, когда не только выделывать, но и шить станет со своего материала, вся Россия будет щеголять в его сапогах, шапках и полушубках, как начнет торговать с Америкой и Канадой, и имя его, купца Черемисова, станет славным во всех гостиных дворах мира... Сама государыня императрица не побрезгует расшитою серебром шубой, не говоря о королевах иных северных стран.

По-видимому, Желябов осточертел здесь своими речами — хозяйка, Марья, подав самовар, бежала во двор, что и требовалось. Он тотчас подошел к кованному железом сундуку с амбарным замком, извлек со дна спираль Румкорфа. «Плохо работает. Можешь исправить?»

Оказалось, для того и вызывал Кибальчича. Ни Иван Окладский, ни Яков Тихонов, ни сам он ничего не понимали в электричестве, не было в Александровске и нужной мастерской. Немного понимал в спиралях и Кибальчич, но присутствовал при ремонте своей в Одессе, взялся.

Провозился до вечера, проверил тридцать три раза, только тогда возвратил Желябову. Вручил и свою, запасную. «Какая надежнее?» — «Одинаковы».

Вечером Желябов показал место, выбранное для покушения, — на четвертой версте от Александровска, тихое, пустынное, с оврагом в двадцати саженях от дороги. Провод уже провели, надежно скрыли. Оставалось заложить мину, судя по прежним годам, император выедет из Ливадии со дня на день. Батарею подвезут на телеге Тихонов с Окладским, соединит контакты он сам.

К рассказу Кибальчича о встрече с Гольденбергом отнесся равнодушно. «Ничего, — сказал. — Мимо нас не проедет». Уверен был в успехе, хотел жизнь императора взять на себя.

А вот рассказ о том, как Фигнер устраивала Фроленко сторожем, развеселил Андрея. Смех у него был громкий, привольный.

Марья Бовенко стала рваться в дом, поскольку ничто так не привлекает, как хохот, но тут Аня Якимова, что жила с Желябовым, как супруга купца, оказалась на высоте, предложила не менее волнующий разговор: он, Черемисов, несмотря на внешнюю привлекательность, в сущности, неважный мужчина. Слишком поглощен делами, мало понимает в любви.

Ехать из Александровска Кибальчичу пришлось в Харьков, а не в Одессу: там тоже задались целью получать динамит, просили Желябова прислать консультанта. Двое суток ушло на эту поездку.

А на обратном пути, в том же Елисаветграде, по оживлению публики, по скоплению жандармов, почувствовал: что-то случилось.

Прислушался к обрывкам фраз и понял: минувшей ночью здесь арестован Гольденберг.

Подробности были таковы: при пересадке в Елисаветграде Гольденберг сдал чемодан и рогожный куль с динамитом в багажное отделение. Весовщик тотчас сообщил станционному жандарму, что небольшой чемодан поражает тяжестью.

При аресте Гольденберг выхватил револьвер, пугая народ, но стрелять не решился.

— Знал я, чувствовал, что не довезет!

Все собрались на квартире у Колодкевича, сидели, молчали, и только Фроленко метался по комнате.

— Никогда, ни на минуту не верил этому мыльному пузырю!.. Сдал в багажное! Руки ему чемодан оторвал!..

Фроленко, конечно же, был неправ. Тяжелый чемодан и рогожный куль в руках слабосильного Гришки привлекли бы не меньшее внимание. Причина ареста была иная: накануне стало известно, что государь выезжает, и полиция на железных дорогах приглядывалась ко всему и всем. Просто он, Фроленко, не любил Гольденберга. Считал, что его геройство и есть то самое вспышкопускательство, которым грешили многие киевляне, даже Валериан Осинский, но Осинский был благороден и храбр, а Гольденберг — жалкий трус. Слишком любил свою героическую жизнь.

Имелась еще одна причина для уныния. Яхта государя из-за плохой погоды села на мель, государь увидел в том дурной знак, разволновался и решил через Одессу не ехать. Двухмесячные приготовления оказались напрасными.

Теперь все надежды были на Александровск и Москву.

* * *

Жандармский майор Пальшау — первый, кто обследовал багаж Гольденберга, в рапорте III отделению писал о том, что чемодан арестованного Степана Петрова Ефремова — три четверти аршина длины и пол-аршина вышины. Что обнаружено в чемодане и рогожном куле двенадцать металлических коробок, обернутых в вату, газетную бумагу и ветошь. Сверх того, каждая коробка обшита смоляной клеенкой и обтянута бумажным полотном.

Майор писал обстоятельно, привлекая все навыки и весь опыт, поскольку знал, что главным его читателем будет генерал-адъютант Дрентельн. Он сообщал ему, что при чрезвычайно осторожном вскрытии первой коробки

они — майор и понятые — увидели густую сальную массу бело-желтого цвета, залитую стеарином. Что крошечный комочек при поднесении к нему горящей спички мгновенно воспламенился и с треском и шипением горел бело-синеватым пламенем. И что они, майор и понятые, страшно угорели от запаха, издаваемого содержимым коробки.

«...Я отправился с прокурором в реальную гимназию, где в присутствии директора по просьбе моей и прокурора химики подвергли состав подробному и продолжительному анализу. Результатом анализа выяснилось, что состав, находящийся в коробках, оказался нитроглицерином, смешанным для удобства перевозки с магнезией.

...Крошечная капля чистого нитроглицерина была положена на наковальню, по которой был произведен удар. От удара по этой капле задрожало здание и раздался как бы пушечный грохот. После чего я немедленно отправил все двенадцать коробок нитроглицерина, наперед уложив своими руками в прочный ящик, на имя командира 7-го гусарского белорусского полка для хранения в пороховом погребе».

Несколько дней спустя в Екатеринославль для уничтожения отобранного динамита прибыл заведующий подводными минами в портах Черного моря полковник Афанасьев. Он тоже написал примечательный отзыв генерал-губернатору Тотлебену.

«Уничтоженный мной взрывчатый состав принадлежит к разряду сильных динамитов совершенно особого типа.

Все динамиты, сколь мне известно, имеют вид плотной или порошкообразной массы, тогда как означенный по состоянию своему представляет мягкое тело, похожее на свечное сало или сыр.

Все динамиты начинают кристаллизоваться при температуре 6°C и в этом состоянии весьма опасны в обращении. Отсутствие кристаллизации указывает, что в него введены вещества не допускающие кристаллизацию (бензин или нитро-бензин).

...Взрывчатое свойство подтвердилось при помощи гремучего капсюля. При этом произошел моментальный взрыв при сильном ударе, в равной мере оглушительном...»

К этому времени произошло событие, потребовавшее еще одного, уже по-настоящему точного анализа вещества, отобранного в Екатеринославле.

Тридцать золотников — около 150 граммов — вещества полковник Афанасьев привез в Одессу и передал для исследования в Новороссийский университет профессору Вериго. В результате появился последний по этому делу протокол от 5-го декабря 1879 года: «Мы, нижеподписавшиеся...»

Качественный и количественный анализ показал, что в 15,0716 г взрывчатого состава содержится 10,38 г нитроглицерина, 4,435 г углекислой магнезии, 0,2566 г метилового алкоголя и влаги. «Это взрывчатое вещество следует отнести к разряду сильных динамитов, которые не производятся в промышленных размерах по дороговизне углекислой магнезии этого высокого достоинства».

Более имена майора Пальшау, полковника Афанасьева, штабс-капитана Мгеброва, что наблюдал за исследованиями в университете, профессора Вериго в анналах истории не появляются. Динамит был разоблачен, состав исследован с точностью до одной десятитысячной грамма, оставалось узнать где и кем он, столь совершенный и устрашающий, вырабатывается. Или — ждать больших неприятностей.

18 ноября стало известно, что поезд императора благополучно проследовал через станцию Александровская.

Почему? Опять собрались на квартире Колодкевича, глядели друг на друга и на Кибальчича. Но какой он мог дать ответ?

Могли неверно подсоединить мину, могли повредить провод, могла не сработать спираль...

19 ноября государь прибыл в Москву, а взрыв, произведенный под Москвой, опрокинул другой литерный поезд, государь проскочил несколькими минутами раньше. Воистину Бог хранил своего помазанника.

Глава девятая

В декабре пришло письмо об аресте Квятковского и Ширяева и — срочный вызов Кибальчичу в Петербург.

Ехать, откровенно говоря, не хотелось. Причины — личные: Вера и Меркулов.

Меркулов появился среди них, когда понадобилось купить и отвезти в сторожевую будку кое-какую мебель: кровать, шкаф, кухонный стол. Выглядел впечатляюще: рослый, крутоплечий, с выражением независимости и превосходства в лице. Причины для превосходства были. Пока Фроленко с Кибальчичем переносили мелкую житейскую утварь, Меркулов в одиночку взвалил на плечи и шкаф, и двухспальную деревянную кровать.

Привел его Колодкевич, значительно сказал: «О!» Дескать, рекомендую, нужный человек. В хорошем настроении гнет подковы и пятаки, в дурном — рвет на части. Обожает филеров. Одного из них, самого любимого, увлек в подъезд, ни шишки, ни царапины не оставил, а имя свое филер забыл.

Работал Меркулов резчиком по камню, имел знакомых среди жестянщиков, и это особенно обрадовало Кибальчича — пришло время готовить цилиндры для мины. Задачу тот понял сразу и согласился, попросив пять рублей на листовую медь. «Много», — возразил Кибальчич. «Мнохо?» — с презрением удивился Меркулов. «Г» он произносил мягкое, мягче малороссийского. «Л-ладно, — торопливо согласился Кибальчич. — Д-допустим, в самый раз».

Впрочем, цилиндры изготовил качественно и вовремя. Потому и проникся Кибальчич доверием, привел его к себе. И Вера, казалось, прониклась. Поставила самовар, приготовила бутерброды.

«Кто она тебе?» — поинтересовался Меркулов.

«Жена», — ответил Кибальчич.

«Врешь».

«Тогда — т-товарищ».

«Опять врешь».

Но повеселел.

А Вера устроила Кибальчичу разнос. «Вы уверены, что не провокатора привели в дом?»

На провокатора Меркулов не был похож. Провокатор стремится нравиться, быть идеальным. Меркулов, наоборот, всем выказывал недоверие и презрение. И больше других Кибальчичу. «Тилихен» — придумал ему прозвище, то есть, интеллигент. «Храмотеи, — говорил он. — Как только возьмете силу, всем нам крышка. Один у вас настоящий человек — Тарас, да и тот хенерал...»

Тарас — имя, под которым он знал Желябова.

И только к Вере, похоже, испытывал иные чувства...

Скоро Кибальчич почувствовал, что Меркулов ненавидит его.

А накануне отъезда Кибальчича, он назначил Вере свидание.

«Что прикажете делать? — сказала Вера. В самом деле, не столь уж простым было ее положение. — Только бы не объяснился...» — бормотала она.

Впрочем, свидание прошло благополучно. Меркулов угощал мороженым, лимонадом «Газес», заявил, что мечтает жить в Петербурге. Что человек он, конечно, малограмотный, но надежный. Тот, кто ему доверится, не пропадет. В общем, кавалер, как кавалер... Как было догадаться, что придет день, когда предаст бывшую возлюбленную, скажет в лицо: «Не ожидала?»

Вернувшись в Петербург, Кибальчич сразу понял, что затевается новое дело: снова все силы, кроме типографщиков, брошены на динамит. Ему предложили сделать запалы и приобрести пороховой шнур. Кроме того, Желябов интересовался силой магнезиального динамита, к примеру, если — один пуд. Ответил: при идеальных условиях — 240 квадратных саженей разрушения.

И все же взрыв в Зимнем был для него неожиданным: десятки искалеченных и убитых солдат кордегардии и невредимый, даже не испугавшийся император.

Оказалось, мину — три пуда динамита — в подвальное помещение Дворца заложил Степан Халтурин, служивший там столяром под именем Степана Батышкова. Взрыв произошел в тот момент, когда Александр выходил в малый фельдмаршальский зал встречать высокого гостя — Его Высочество принца Гессенского. Но поскольку между залом и подвальным помещением находилась кордегардия — только она и пострадала по-настоящему. Император поначалу решил, что взорвалась отопительная газовая труба.

Тогда и случилась у Кибальчича серьезная размолвка с Желябовым. «Почему ты не объяснил, что собираетесь предпринять?» — «Некогда было объяснять!» — резко ответил он.

До сих пор, когда приходилось оказаться свидетелем обсуждения в народе какого-либо покушения, видел, что мнения разделяются. Теперь — страх и ненависть, проклятия и слезы.

Взрыв в Зимнем был огромной, непоправимой ошибкой. Во-первых, слишком мало в таком покушении надежды на успех, во-вторых, взрыв вывел правительство из оцепенения, в-третьих, именно из-за него русское общество Верховную распорядительную комиссию во главе с Лорис-Меликовым приняло, как желанную. Страх и неуверенность расползлись, их чувствовали теперь все — вплоть до крестьян, приехавших на зиму работать на фабриках, да и в старых рабочих кружках к пропагандистам стали относиться опасливо. Шли слухи о минировании целых улиц, о том, что будут отменены национальные празднества по случаю 25-летия царствования государя и что сам он более не выходит из Дворца. Обывателям казалось, что в Петербурге не осталось безопасных мест.

Когда Лорис-Меликов опубликовал воззвание к жителям столицы, начал возвращать из ссылок студентов, послал с ревизиями сенаторов в провинцию, дал журналистам некоторые свободы, общество вздохнуло: вот человек, который выведет Россию из тупика.

А в «Народной Воле» была растерянность и ощущение, что преследуют неудачи. Отчего? От неумелости, малого опыта или неверно поставленной цели?

Но иной теперь быть не могло.

Подавлен был даже Андрей Желябов. Похоже он выглядел только тогда, после неудавшегося покушения в Александровске. И хотя комиссия — Михайлов, Морозов, Ширяев — пришла к выводу, что причина в проводниках, которые мог повредить путевой обходчик, Желябов чувствовал себя виноватым: нужно было заложить провода в последний момент.

Обыкновенно Желябов ни с кем ни о чем, кроме дела, не говорил, однако после казни Млодецкого, когда собрались на квартире Геси, в молчании просидели вечер и так же в молчании расходились, он вдруг положил руку Кибальчичу на плечо: «Ну, как там твои... фантазии?» — «Какие фантазии?» — «Ну, эти...» — слабо улыбнулся, дернул вверх головой, махнул рукой, как крылом. «Откуда ты знаешь?» — «Кто ж не знает?»

Кому он говорил об этом? Вере? Михайлову?

Давно прошло время, когда он бродил по улицам Петербурга, замирая от предчувствия этого дела, вдохновляясь его необъятностью и неясностью. Теперь уже понимал, что нужно много, очень много времени, нужны единомышленники, которые были бы смелее, образованнее, настойчивее, нежели он сам. Идея так велика, обширна, что справиться одному нельзя.

«Фантазии мои пока на п-песке».

Но Желябов уже забыл о нем. Казалось, его тоже мучат сомнения.

Чувство Кибальчича после взрыва в Зимнем было определенным: поздно сомневаться, руки в крови. Ныне оправданием может стать только победа. Или — собственная жизнь.

Требовалось стряхнуть оцепенение, прогнать усталость. А для того нужно новое дело.

Ему пришла мысль сокрушить императора из-под воды. Заложить мину под Каменный мост, по которому весной он поедет к вокзалу царскосельской дороги, отправляясь в Ливадию. В тридцати саженях от него находился прачечный плотик, к нему можно подсоединить проводники, а динамит опустить под мост в гуттаперчевых подушках. Динамита потребуется много, около семи пудов, сложно и организовать покушение, но иных идей не было ни у кого.

Желябов тотчас уцепился за это предложение. И настроение у людей изменилось, как только заработала динамитная мастерская.

Кислот, что добывал Ферфлюхтер в физико-химическом обществе, не хватало, и Кибальчич отправился на завод Варгунина, приготовлявший их. Тяжелое там было зрелище: рабочие в изъеденных бахилах и валенках, с искрошенными от кислотных испарений зубами, выпавшими ресницами и бровями, облезающей кожей рук. За копейки договорился брать кислоту.

Все было готово к сроку: четыре гуттаперчевые подушки опустились под мост. Тетерка, Пресняков и Михайлов сделали эту работу, проехав на лодках к Каменному мосту со взморья по Фонтанке, Крюкову и Екатерининскому каналам.

План был таков: гальванические батареи Тетерка положит в корзину, засыплет картошкой. Встретится с Желябовым у Чернышева моста и под видом промывки картофеля спустятся к прачечному плоту.

Покушение, однако, не состоялось. Тетерка, не имея часов, опоздал на несколько минут. Император благополучно проследовал на царскосельский вокзал.

Окончание следует.





МИХАСЬ БАШЛАКОВ

Музыка в осенней роще

* * *

Звездопад,
за окном звездопад...
Звезды падают прямо в наш сад,
Где висят золотые наливы,
Августовские светятся сливы...

Листопад,
за окном листопад...
В желтизне и багрянце весь сад.
Ах, какая пора золотая!..
Осень светлая догорает...

Снегопад,
за окном снегопад ...
Белый-белый заснеженный сад.
Но надеждой живительной веет:
Сад весною зазеленеет.

Время свой продолжает рассказ,
И природу меняя, и нас...
Звездопад...
Листопад...
Снегопад...
Как цветет за окном этот сад...

* * *

Не тороплюсь я никуда.
Замру под белой веткою.
Пускай летят мои года,
Пускай уносит ветер их.

Не знаю, где моя любовь,
Какой звездою светится
Зачем, зачем от горьких слов
В душе моей отметина?

И хоть жасмин вокруг цветет,
Но не духовной пищею

Живем — ведем обидам счет
На свежем пепелище мы.

Развеяв нежности тепло
Упреками и ссорами,
Не знаем, легкое крыло
Любви вернется скоро ли?

* * *

И буду вспоминать
Дорогу в житном поле,
И буду тосковать
Я в городской неволе,

Где суета и быт
Моею стали долей...
...А в сумерках бежит
Дорога в житном поле...

И дни мои летят
Так быстро — не заметить.
Догнать бы их, догнать...
Но как догонишь ветер?..

И мне ль тягаться с ним?
Ночь. Месяц — коромыслом.
А вдалеке огни...
И мысли мои, мысли...

* * *

А дожди, дожди —
Слезы серых дней —
За окном идут
Чаще и сильней.

Я ж бреду один
Под дождем, чудак.
Слышу в темноте
Громкий лай собак.

А вокруг меня
Только тьма да тьма.
Точит камни дождь.
За спиной — сума.

И зачем бреду?
Лучше б отдохнуть.
Но ведет вперед
Одинокий путь...

Услышу я музыку

Услышу я музыку в роще осенней.
Жалейка ли? Флейта? Иль шум вековой?
И мысли мои, словно светлые тени,
Мелькнут меж осенней листвы золотой.

Проснется моя задремавшая память,
Откликнется эхом промчавшихся лет.
Листвы опадающей горькая заметь
Подарит осенней мелодии свет.

И музыка вспыхнет во мне озареньем,
И грусти слезинкою душу прожжет.
Услышу я музыку в роще осенней
И в каплях дождя прочитаю без нот.

Там, за Сожем...

Там, за Сожем, там, за плесом,
Босиком гуляет осень.
Туча черная над полем —
Это воля иль неволя?
Дождь всю ночь стучит по тракту.
Это крест? Дорожный знак ли?
Ветры злые стонут хором...
Иль судьбу пророчит ворон?
Иль кричат, прощаясь, гуси
Над печальной Беларусью?
Там, за Сожем, там, за плесом...

* * *

Дождь бессонный стучит,
Дождь осенний.
Зябнут руки твои
На коленях.

Дай согрею я их
Хоть дыханьем,
А в глазах дорогих
Тень прощанья.

Слышишь, гуси кричат
Над простором.
Так и будем молчать,
Словно в горе?..

Ветер грустный притих —
Ночи пленник...
Крик в глазах дорогих...
Дождь осенний...

Прокричала сойка

Прокричала сойка,
Сойка прокричала
На опушке леса,
Сойка надо мной.
Желтый лист опавший
Светится опалом
И блестит на солнце,
Светится росой.

Ночью ли дождинка
На листок упала?
Иль твоя горчинка
Капнула слезой?
На опушке леса,
Сойка прокричала —
А про что, не знаю —
Сойка надо мной...

Помнишь, как блуждали
Мы в осенних далях,
Словно бы на свете
Были мы одни?
И кричала сойка...
Мы тогда не знали,
Что уходят наши
Золотые дни...

Вот и ты, как осень,
Стала вдруг печальной.
Не была давно ты
Грустною такой...
А в лесу осеннем
Сойка прокричала,
На листок опавший
Капнула слезой...

Перевод с белорусского Елизаветы ПОЛЕЕС.





ВАДИМ ЯР

Messa

Рассказ

Нестерович с женой оказались на Сардинии случайно. Собственно, они прилетели в Милан, где Нестерович планировал уладить свои газетные дела за три дня. В принципе это удалось, правда, не за три, а за пять дней. И еще пять оставались свободными, которые он с женой договорился потратить на отдых. В этом был весь фокус: Нестеровичу оплачивалась командировка, а жену приходилось везти за собственный счет. Но она уж очень просила, готовила деньги, доллар к доллару, всю зиму и, наконец, уговорила Нестеровича. Он махнул рукой, вернее пожалел свою Надю; как ни говори, за последние три года он дважды смотался в Германию, дважды побывал в Польше, по разу в Голландии, Чехии и Финляндии. Она же или сидела дома, или трудилась в своем Инязе, жалуясь при этом, что почти не осталось классных преподавателей. Жена преподавала испанский, вторым языком у нее был французский; в последнее время она очень уставала и получала за все про все чуть больше 600 тысяч — просто копейки. «Если доценты у нас за гранью нищенства, то что можно сказать о стране и жизни вообще». На эти стенания и сын и дочь в один голос советовали: «А ты, мать, свали за рубеж. Языки знаешь, не пропадешь. Еще устроишься и нас к себе перетащишь». Надежда Павловна в ответ тяжко вздыхала. В свои сорок, и при долгом общении с людьми из-за рубежа, она твердо усвоила, что нас нигде никто не ждет, что за любой границей мы будем всегда людьми второго сорта. Есть, правда, люди, которые на это изначально согласны — им все равно, работать сторожем или посудомойкой, лишь бы жить чуть получше. Однако Надежда Павловна была убеждена, что таких людей среди ее знакомых немного; да и если ехать надолго — задушит ностальгия. Ну а навсегда — и представить невозможно.

Но разве объяснишь это сыну и дочери; а ведь уже не маленькие — сыну 21 год, дочери 18, оба студенты. А вот поехать куда-нибудь, пообщаться, увидеть как люди живут и еще поддержать язык — даже не лингвистам известно, что язык нуждается в постоянной практике, — вот это было бы славно. Поэтому Надежда Павловна непрерывно приставала к мужу, прослышав, что у него намечается командировка в Италию; ведь все складывалось наилучшим образом: дочь пристроилась с подругой проходить практику в санаторном президентском комплексе близ Туапсе (она училась в мединституте), сын подрядился с дружками идти на шлюпках по Двине (вот выловят вас латышские пограничники, — шутливо угрожал отец, тогда узнаешь кузькину мать); так что ситуация была самая благоприятная. За одним исключением: денег не было. Нестерович пояснил это жене популярно, почти на пальцах. Слетать, к примеру, в Милан туда и обратно, потянет на добрых 700 долларов; да еще питаться как-то надо, если в 300 зелененьких уложимся, будет счастье. У тебя есть тысчонка на минимум?

Надежда Павловна два дня молчала, крепилась. У нее был план: она должна была получить за учеников, вернуть старый долг в полтораста долларов, кроме

того, она решила расстаться со своей, в прошлом году приобретенной шубкой; на нее зарилась подруга. Раньше Надежда Павловна колебалась, а теперь вдруг враз решила; к тому же у нее еще оставалась дубленка, имеющая приличный вид.

У Нестеровича не нашлось слов, когда жена предъявила ему 1000 долларов.

— Ну, если ты решаешься на такое... У нас хоть копеечка на черный день останется?

— Даже если не останется, — отвечала жена, — нужно быть шире, открытее, ведь идем к открытому обществу. Впрочем, тебе, старому партийному функционеру, этого не понять...

Нестерович насупился. Он не любил напоминаний о его прошлом.

Жена отлично знала всю его подноготную. Он окончил факультет журналистики, работал в «молодежке»; потом его забрали в ЦК комсомола. Был он в юности активным, шустрым и быстро продвинулся в карьере; тем более, что ему покровительствовал сам первый секретарь — заприметил его во время одного из многочисленных мероприятий (это были спортсоревнования среди работников комсомольского актива), там Нестерович и хорошо выступил на пресс-конференции, а затем удачно отразил мероприятие в газете, и успешно сыграл в волейбол за сборную своего, столичного Советского района. Словом, был на виду и «первый» его приметил. «Нам такие кадры нужны», — передавали потом Нестеровичу его отзыв. И то сказать: Нестерович был неплохо сложен, выше среднего роста, волосы русые, глаза голубые...

Он поступил в аспирантуру университета, спустя три года защитил кандидатскую диссертацию и получил работу в Совмине. Побыв некоторое время референтом, а потом зав. отделом, был «брошен» на газету — солидную, республиканскую — в качестве первого зама главного редактора; а через некоторое время и сам прочно уселся в редакторском кресле. Перестройка только укрепила его позиции, но в последнее время они начали ощутимо колебаться. Сложность заключалась в том, что подземные толчки сочетались с раскатами грома, иногда накладываясь друг на друга: снизу подпирали «новые» журналисты, борзописцы, коих обнаружилось великое множество. Тем не менее, благодаря нажитому авторитету, солидному внешнему виду и олимпийскому спокойствию, которое Нестерович демонстрировал в решающие моменты, он держался на плаву.

Всех этих деталей Надежда Павловна, разумеется, не знала, но она знала и так слишком много, а об остальном — догадывалась...

...В Милан прилетели в пятом часу. Нестерович отвык летать самолетами иностранных компаний; в Германию и Голландию ездил поездом, в Польшу и Чехию — на машине, в Китай был взят в числе избранных журналистов в президентский самолет; там, разумеется, все было оформлено на высоком уровне, но по-нашему.

Здесь же, в Варшаве, сели на самолет «Alitalia» и сразу ощутили европейский сервис: не успели взлететь, как стюардессы и стюарды наперебой стали разносить издания, напитки.

Нестерович тайком «умыкнул» один журнальчик; в нем красочно показывались рейсы «АлИталии» во все концы света. Затем стали разносить сигареты (здесь Нестерович постеснялся и, как выяснилось, напрасно — две дамочки наискосок вскоре уже дымили). В довершение принесли обед: салаты, ветчину, колбасу, булочки, бутылки вина. И все в целлофане, вместе с приборами. «Вот черт, — чертыхнулся про себя Нестерович, — ведь переняли все у американцев или немцев...» Но в глубине души вынужден был признать — весьма цивилизованно... Надежда Павловна просто радовалась: она пыталась сделать первую пробу языка (итальянского), не получилось, зато по-французски стюард ответил свободно...

Нестерович же с грустью думал о том, что подобный уровень сервиса у нас воцарится, пожалуй, через полвека...

В Миланском аэропорту пришлось испытать еще одно ощущение своей второсортности... Череда пассажиров разделилась на две неравные группы: пассажиры правой очереди быстро и весело ныряли в турникет под шенгенским многозвездным флагом, итальянские пограничники почти не глядели в их паспорта. Очередь же слева, где стояли и Нестеровичи, была огромной, пограничники были внимательны и допытливы, время от времени они уводили некоторых пассажиров в комнату за проходной — ничего хорошего это для подозреваемых, по-видимому, не сулило.

Последней «замели» высокую девушку, похожую на югославку, она стояла прямо перед Нестеровичами. Нестеровича охватила дрожь (знакомое, уже полузабытое состояние прошедших времен, когда одно слово «граница» вводило советского человека в волнительное состояние), но Надежда Павловна не растерялась и толково давала на французском языке пояснения пограничнице. Та, увидев приглашения, просияла и больше не задерживала гостей (много позже Нестерович узнал, что слово «турист» почти святое для итальянцев, и несказанно этому удивился).

Но долго раздумывать ему не пришлось, словно из-под земли возник и налетел как вихрь Луиджи, размахивая руками и громко крича на своем ломанном английском. Он уже два раза был в Минске, общался с Нестеровичем; у Нестеровича английский был точно в таком же состоянии, но они хорошо понимали друг друга; иногда, правда, приходилось довольно долго изъясняться, включая жестикуляцию, на которую Луиджи, как истый итальянец, был горазд, но в конце концов всегда договаривались.

У Луиджи для Нестеровичей уже имелась программа, весьма насыщенная, четыре дня необходимо было оставаться в Милане, и, судя по расписанию, их трудно было бы назвать праздными: встречи, участие в переговорах (выяснилось, что Луиджи подключил к акции и немецкую газету из Франкфурта), посещение двух итальянских фондов по работе с белорусскими детьми. Впрочем, один из них непосредственно располагался в Милане, а другой — в провинции, в сельской местности близ Бергамо. Предстояло съездить и туда — и на эту акцию был положен весь день, по счету — пятый. Шестой день, естественно, отводился на приготовления к отъезду и сам отлет из Милана. А чем заниматься еще четыре дня? Луиджи таинственно прижал указательный палец к губам, а затем выразительно кивнул в сторону Антонеллы: она мол, все замысливает и осуществляет в этом доме. Антонелла, супруга Луиджи, высокая, светловолосая и дебелая матрона, встретила Нестеровичей по приезде на пороге своего дома. Дом был двухэтажный (отдельно стоящий особняк), с небольшим садом. Располагался он в предместье Милана, в получасе езды от центра города. Антонелла пояснила, что последние десятилетия и Италию захватила американская мода: никто из представителей элиты не хочет жить в центре городов, особенно таких индустриальных как Милан, добавила она. Предпочитают предместье; здесь, как правило, можно разместиться без забот, без хлопот. Надежда Павловна согласилась с Антонеллой: при почти полной «машинизации» Северной Италии, как она уже успела заметить, это эффективный выход. При этом она подумала, что «жигуль» Нестеровича постоянно ломается (у него была «шестерка», и он страстно мечтал об иномарке, что в их положении — дети, престарелые родители — было практически неосуществимо), и какое счастье что их дача, находящаяся в Зеленом (тоже ведь может считаться предместьем Минска), расположена всего в полутора километрах от платформы, на которой останавливается электричка. И потом, слава

богу, никаких машин, никаких проблем с бензином, поломкой карданных валов, колес и т. д. Только тропинка, пение птиц и чистый воздух.

Надежда Павловна одобрительно кивала, внимая Антонелле. Как ни странно она хорошо понимала ее. Да и что странного: испанский и итальянский почти также близки как русский и украинский; как лингвист Надежда Павловна любила строить семейственное древо языков; однако одно дело, когда построения носят отвлеченно-языковой характер и совсем другое, когда вовлекаешься в непосредственное общение, тогда при ускорении ритма общения улавливаешь только суть, все нюансы уходят, испаряются.

И теперь она уловила самое главное: Антонелла обещала супругам Нестеровичам сюрприз и просила их согласия не противиться обстоятельствам и сохранять уверенность, что все кончится очень, очень хорошо...

Надежда Павловна перевела суть мужу, тот кивнул. Луиджи, извещенный в свою очередь женой о согласии гостей, радостно всплеснул руками, вскочил, метнулся к бару и вернулся с едва ли не литровой бутылкой красного вина.

— За радость жизни, — провозгласил он, — за то, чтобы мир улыбался нам и мы могли бы с чистой душой ответить на эту улыбку.

Нестерович ничего не понял ни по поводу тоста, ни по поводу неясных задумок хозяев. Но он сдержался — привык сдерживаться. Надежда Павловна, наоборот, почувствовала интуитивно, шестым чувством, что сюрприз, подготовленный хозяевами, ей понравится и когда Антонелла поманила ее пальчиком в другую комнату, радостно вспорхнула следом.

Мужчины остались вдвоем в кабинете. Как обычно не хватало времени на согласование всех деталей уже в целом одобренного проекта сотрудничества; большинство их откладывалось на весну следующего года, когда предполагалось, что Луиджи прилетит в Минск и Нестерович повезет его на юг Беларуси, в Гомельскую область, в Чернобыльскую зону. С Луиджи должны были прилететь еще двое журналистов и один фотокор, и Нестерович с тоской подумал, что одной «Нивой» им, пожалуй, не обойтись. Вообще, перед его мысленным взором вспыхнул такой набор барьеров и препятствий, что он зажмурился и приказал себе просто отключить сознание. Все равно все эти закавыки не решишь ни в одночасье, ни на протяжении даже полугода. Выход, как обычно в надежде: кривая, вывезет... Только он подумал об этом, как появилась Надежда Павловна с блаженной улыбкой на лице и, быстро приблизившись к нему, шепнула на ухо:

— Все решено. Мы завтра летим...

— Как летим? Куда еще летим?

Надежда Павловна легкокрыло махнула рукой:

— Как куда? На Сардинию, естественно. Там у Луиджи вилла....

Назавтра, глядя как самолет отрывается от земли, Нестерович подумал об этой удивительной женской способности приспосабливаться в кратчайший срок к самым немыслимым обстоятельствам. Эта способность, по размышлению Нестеровича, была сродни кошачьей: швырни кошку даже с крыши, и она, как правило, приземлится на все свои четыре лапы, и, через секунду, встряхнувшись-отряхнувшись как ни в чем не бывало, помчит по своим делам. Так и женщина: еще вчера была в доисторическом как бы измерении (Нестерович с тоской вспомнил весь прочно-советский уклад белорусской жизни), а сегодня как должное принимает малосущественный факт поездки из Северной Италии в Южную на самолете.

Да, малосущественный, — усмехнулся про себя Нестерович.

...Маленький спортивный самолетик, на котором они летели в Олбию (Луиджи пояснил, что он принадлежит обувному магнату Франческо

Бертолуччи, приятелю Луиджи; он как раз отправлял в Кальяри кузину и согласился забросить по дороге, на север Сардинии, Итало-Белорусское содружество), легко оторвался от земли. В небольшом салоне находилось семь человек: кроме двух супружеских пар, две женщины и немногословный мужчина средних лет. Одна из женщин, дородная матрона в белом (потом, как выяснил Нестерович, это и была кузина магната), непрерывно разговаривала с Антонеллой, как ни странно, и Надежда Павловна вставляла изредка одно-два слова — в общем, обычные женские посиделки, вздохнул про себя Нестерович и поглядел в окно. Справа и сзади по курсу еще лежала земля — коричневая с зеленоватым, а впереди по курсу замаячило синью море. Оно чем-то неуловимым отличалось от многократно видимой Нестеровичем морской глади. Может быть, особой лазурью, отливающей чем-то серебристым сквозь утреннюю дымку... Южное море с высоты птичьего полета... Нестерович поймал себя на мысли, что южное море с высоты он видит в первый раз. Даже единственное настоящее южное море в Союзе (Союз, Союз!) он и то никогда не видел с высоты. (Хотя раз, поправил себя Нестерович, вроде бы видел). Однажды он летел из Тбилиси в Москву. Их «Тушка» по метеосводке (шел циклон прямо с центра кавказских гор) отклонился в сторону Сочи, и Нестерович увидел неровную извилистую полосу далеко-далеко внизу, под крылом самолета. Вода казалась серо-бурой, контрастировала с белоснежными пиками кавказских гор, видневшимися по курсу самолета справа. Здесь же самолетик снизился до 400—500 метров и, казалось, море просматривалось до самого дна. Мелькали стаи рыбок, от тени самолета ныряющих в глубину, угадывались очертания камней в глубине. Белоснежные чайки с криками, по-пчелиному вьющиеся над водой, лодки, скользящие по синей глади. А если глядеть вдоль — синева до горизонта, за которым угадывается новая синева.

Нестерович окликнул Луиджи:

— Средиземное море?

— Но... Маре Тиррено, — Луиджи шел по маленькому проходику, нес дамам поднос, на нем — бутылка вина и бокалы.

Через некоторое время он продефилировал назад (уже с пустыми бокалами), вгляделся в иллюминатор, к которому прилип Нестерович и, ткнув пальцем в темное пятнышко посреди морской синевы, сказал:

— Изола... Эльба...

Мемория... Наполеон... Нестерович ахнул про себя. Наполеон — это уже была реальность. Сколько раз он ездил в Борисов — сколько раз был на Березине!

А в юности, вспомнилось Нестеровичу, он даже участвовал в двух студенческих экспедициях на Березину в поисках наполеоновского клада. Стремление действовать, — вздохнул Нестерович, — тогда опережало мысль, но, может быть, поэтому то время и кажется нынче прекрасным. Конечно же, они ничего не нашли. Но важно другое: они запросто обращались к наполеоновскому образу, времени, окружению, не думая, что Наполеон и белорусские комсомольцы начала 60-х — это два разнородных, несходящихся явления. И только теперь, непосредственно общаясь с западноевропейцами, повзрослевший и постаревший Нестерович стал осознавать всю глубину различия этих двух феноменов. Но ведь было же это: Наполеон на белорусской земле, и жизнь Наполеона на излете, вот на этой крошечной пяди земли в Тирренском море — острове Эльба. И если все-таки совмещать грани этой практически виртуальной реальности (а совмещение возможно), то они совмещаются через удивительную жизнь необыкновенного человека — Наполеона. Но для этого, как минимум, нужно признавать его уникальность: Нестерович снова вздохнул, вспомнив, что понятие об образе Наполеона его поколение получило из

романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Гениальный писатель по-русски максималистски нарисовал образ императора-захватчика. Образ, конечно, вышел впечатляющим, но, как теперь хорошо понимал Нестерович, очень односторонним. Только теперь, в зрелом возрасте, Нестерович осознал необходимость для любого художника чувства меры. Впрочем, в силу своей белорусскости на обыденном уровне он ощущал это со времен далекой уже юности, а сейчас вещи в своей первоначальной первородности как бы ясные, вкупе с ситуационной новизной, получали новое измерение в сознании и ощущениях...

...Приземлились в Олбии после обеда. Наскоро пообедали в ресторане, недалеко от аэропорта, простились с родственницей магната, которая на прощание снисходительно взметнула вверх ладошку. Ехали на машине, которую вел родственник Луиджи. Нестерович сидел между двумя женщинами на заднем сиденье. Надежда Павловна прижалась к мужу, зажмурив глаза и почти не глядя на дорогу. Она чувствовала себя почти счастливой. Такое многообразие впечатлений свалилось на нее в последнее время, и она не могла припомнить, чтобы хоть одно из них не было многокрасочным. Должно быть оттого, что Италия южная страна. Южная-то южная, но Милан, в сущности, похож на североевропейский город. Как ни странно, напоминает Гамбург или Антверпен. И все-таки ритм несколько другой, убыстренный что ли. Наверное, оттого, что итальянцы — темпераментные люди. Надежда Павловна вспомнила посыльного из ресторана, который приносил еду в дом Луиджи и Антонеллы; он смотрел на Надежду Павловну таким взглядом, каким на нее мужчины давно не смотрели. И пилот, посадив самолет, тоже ожег ее взглядом... Нет, это просто волшебная страна Италия, здесь все дышит живым и все преображается на глазах. Надежда Павловна вспомнила родную Беларусь, серенькое небо, «березы да сосны, партизанские сестры» и что-то сжалось в душе, это родное не шло ни в какое сравнение с итальянским великолепием, казалось, осиротевшим, оттого и трогало сердце... Дорога петляла среди невысоких гор. Машина летела как стрела. Нестеровичи уже по Милану свыклись с тем, что каждый итальянец воображает себя гонщиком «Формулы-1» на «Феррари». Но постепенно сжились с этим и теперь без напряжения следили за тем, как мелькают столбы вдоль выбеленной солнцем дороги. Антонелла и Луиджи затеяли перепалку — стремительно навстречу со свистом летели машины, мелькали столбы... На душе у Надежды Павловны было по девичьи свежо, и Нестеровичу тоже казалось, что он вырастает в новом для себя измерении...

Назавтра Нестеровичи проснулись поздно и, лежа на кровати, долго следили за тем, как солнечные зайчики перекатываются один за другим по потолку их гостевой комнаты. Комната была не очень большая, но выходила на веранду. С веранды и приходили «зайчики», иногда по одному, а иногда целыми группами проскакивая по потолку.

— Знаешь, — сказала Надежда Павловна — я давно так не была счастлива. В этой стране кажется, ни забот, ни хлопот... Только солнце, небо, песни, радость, сюрпризы...

Нестерович долго молчал и, наконец, когда жена повернулась к нему, выдавил из себя:

— Ты не чувствуешь, что мы тут как бы с боку-припеку. В лучшем случае гости, случайно зашедшие на чужой бал. — И, помолчав, добавил: — У них, если присмотреться, свои скелеты в шкафу. Хочешь присмотреться?

— Нет, нет, — шутливо вскинула вверх руки Надежда Павловна...

После завтрака на веранде, где царила и вальяжничала Антонелла и ни на минуту не умолкал Луиджи, был обсужден и принят план дальнейших действий. Нестерович дивился на жену — ведь не прошло и часа, как они

обсуждали положение дел и пришли к выводу, что оба они как бы существуют в ирреальном мире. А теперь у него возникло ощущение, что он бесконечно одинок: Надежда Павловна щебетала с Антонеллой, путая и исправляя испанские слова на итальянские, Луиджи что-то темпераментно кричал в мобильный телефон. Антонелла ставила кофейные чашки на яркий, в кричащих сине-красных пятнах, поднос. Со стороны посмотреть — все вроде реально и все на своих местах. Даже Надя. Все кроме него: Нестерович еще нестерпимей почувствовал свою нестыковку со всем здешним миром: с иссиня-голубым небом, с жалящим уже в июне сардинским солнцем, с этой уютной и одновременно вместительной верандой, с терпким ветром, летящим, видимо, с северо-запада, со стороны Франции... Но женщины, видно, всегда исключение. Надежда Павловна, уловив на себе взгляд мужа, на минуту прервалась и бросила Нестеровичу по-русски:

— Ну вот. Все выяснилось. В полдень пойдем на мессу, а потом купаться и вечером — в ресторан...

Нестерович едва не подскочил на стуле:

— Как на мессу?

Надежда Павловна виновато улыбнулась:

— Ну, как ты не понимаешь — католики... И, упреждая несогласный жест Нестеровича, мягко-просяще произнесла: — Ну, так здесь принято. Нам-то ничего не стоит... — И в качестве последнего аргумента: — Вспомни свою бабушку, главный редактор...

Нестерович в изумлении вскинул брови, со стороны жены это был удар ниже пояса... Его бабушка по матери (бабуля Зофья) жила в Сморгони и была католичкой. Это знали все родственники Нестеровича, а впоследствии и Надежда Павловна. Она была вообще из «атеистической» среды, оба ее родителя были кандидатами философских наук, оба защитили диссертации (сначала отец в 1967 году, а два года спустя и мать; он по диамату, а она по научному атеизму). Надежда Павловна никогда серьезно не задумывалась над этими вопросами, а Нестерович помнил как вся отцовская родня (отец его был родом из Могилевской области, родился недалеко от Мстиславля) сторонилась бабули Зофьи. И в этом имелась своя логика: Нестеровичи были в подавляющем большинстве своем православные, а Бельские (материнская родня) — католики. Хотя дед Габрусь (отец матери Нестеровича) и не слишком придерживался католических обрядов. Он многое пережил, натерпелся, и в детстве (за панской Польшей), и в партизанах, был веселым, «здатным» на руки (мог делать практически любую работу, особенно если это касалось колхозно-совхозной техники) и одинаково любил все праздники. Что советские, что христианские, что народные. За что бабка в гневную минуту называла его «паганцем». Сама же бабушка Зофья «у нядзелю» чистенько прибиралась и шла в костел на утреннюю службу. Если дело было летом и мать Нестеровича привозила его отдыхать в Сморгонь, бабушка Зофья брала в костел и внука. Маленький Нестерович дивился в костеле всему: красоте храма, свечам, незнакомому языку (служба велась на польском) и построжевшему, похорошевшему лицу бабушки Зофьи. И все это было, вспомнил Нестерович, во второй половине 50-х, то есть полвека назад...

«Полвека», — ахнул он про себя. Действительно, полвека, чего только не произошло за это время.

Могучая страна, в которой он родился, рухнула, как и весь социалистический лагерь. И с ними, казалось, весь мир, для которого Нестерович воспитывался, по крупицам накапливал знание и опыт, и в котором предполагалось «жить и творить» (по расхожему журналистскому шаблону) его детям и внукам.

Под обломками рухнувшего здания задохнулись многие друзья и знакомые Нестеровича. Он выплыл, но дал себе зарок: никогда серьезно не думать о прошедшем. Не вспоминать многословие Горбачева, крутые повороты перестройки, взлет и ухабы «незалежности».

Ничего, ничего... Нестерович и с партией расстался тихо и незаметно: просто оставил себе на память партбилет, никуда не ходил, не шумел (некоторые из его знакомцев публично рвали членские билеты и документы), даже сожалел, что у него не осталось ни комсомольского билета, ни какого-нибудь комсомольского удостоверения. Как ни говори — молодость. А молодость у человека одна...

Нестеровичей удивило само место проведения мессы: не в костеле, а на открытом воздухе. Ощущение было такое, что находишься в открытом кинотеатре: впереди небольшая эстрада с полотнищем над ней, где было начертано: «La festa dei Santi Pietro e Paolo»[1], а дальше — ряды, состоящие из длинных, сбитых между собой деревянных скамеек. На них и сидели прихожане и посетители. Луиджи, Антонелла и Нестеровичи устроились в пятом ряду...

— Смотри как красиво, — шепнула Надежда Павловна на ухо мужу, — а ты не хотел идти...

По краям площадки от свежего морского ветра надувались флаги, а над возвышением с кафедрой — полотнище. На кафедру взошел священник в белом, в красной шапочке.

— Наверное, кардинал, — снова шепнула Надежда Павловна.

А Нестеровичу опять представилось, что он попал в мир ирреальности...

Он ли это? Что осталось от него? Где то, что определяется как «ниша жизни».

Раздалось пение... Было оно гармоничным и слаженным... Доносились слова службы с кафедры. Это были итальянские слова и сами по себе они звучали как музыка...

— Signore, Dio nostro, che nella predicazione...[2]

Нестеровичу вдруг представилось, что он поднимается над скамейкой, над открытым залом и уносится куда-то вверх...

...dei santi apostoli Pietro e Paolo hai dato alla Chiesa...[3]

...мелькают лица жены, Луиджи, Антонеллы, проносятся лица родных: отца, матери, детей... лицо бабушки Зофьи, строгое с живыми, одушевленными глазами...

Le primizie della fede Cristiana...[4]

...Как чешуя, слетает все внешнее, обнажается и ширится то, что внутри...

Нестерович одновременно видит внизу себя сидящим рядом с женой, Луиджи и Антонеллой, но и видит рядом с собой череду невесть откуда появившихся облачков, а слева, чуть поодаль, море и еще дальше очертания земной тверди (Корсика, что ли?).

Изнутри, из глубины рвется наружу ощущение новизны и радости, уже позабытые, напоминающие шорохи души в детстве...

...vieni in nostro aiuto e guidaci nel cammino della salvezza eterna...[5]

Здесь, на этой Земле, Господи... Из праха я вышел, но что может статься со мной, с Землей моей, со всеми нами?..

...Per il nostro Signore...[6]

---

[1] «Праздник святого Петра и Павла»

[2] Господь, Бог наш, что в молитве...

[3] ...святых апостолов Петра и Павла дал церкви...

[4] Первые плоды веры христианской...

[5] ...приди нам на помощь и проведи по пути вечного спасения...

[6] ...во имя Господа...



ВИКТОР КУЦ

Взгляд из-под руки

Красная глина

Травой заросший
Глиняный карьер.
Лесной массив
Полукольцом широким:
Земля трагичных
Судеб и потерь,
Забытый Богом
Угол злого рока...
Крутой подъем.
Полянка. И сосна,
Застывшая над
Красной пастью ямы.
Из года в год
Промокшая весна
Багрянцем глины
Красит дол упрямо...
Одно лишь помню я
Со слов отца:
Здесь по ночам
Бесились автоматы...
Молчит сосна,
Немая от свинца.
Молчат и те,
Что на штыках распяты.
Следы от пуль
Шершавы и остры.
Кора в рубцах
Диковинных и длинных.
А лунной ночью
Светятся костры
На красных жилах
Выветренной глины.
Давно уж души
Приютил Господь,
Полегших здесь
За Родину и Веру...

А сколько их
Без имени, чью плоть
Навек укрыли,
И молчат карьеры?..

* * *

Красная смородина,
Домик у реки.
Как распутать
пройденных
мной дорог клубки?
В памяти натруженной
До сих пор мила
Та дорога с лужами,
Змейкой из села.
Милая дороженька,
Взгляд из-под руки...
Что так настороженно
Смотрят старики?
Не могу иначе я:
Радуга в глазах...
Шел я за удачею:
Без нее — назад.
Сто дорог объезжено,
Тысяча — пешком.
Ягода ты нежная,
Только в горле ком.
Дворик неухоженный,
Не туман-дурман...
Красная смородина:
По рублю — стакан.

Катаракта судьбы

Колышет ветер провода,
Обрубка два колышет.
Не потечет уже сюда
Электроток под крышу.
Как две оборванных
струны,
Хрипя последним звуком,
Два проводочка со стены
Стальные тянут руки.
Уже не чувствуя
тепла,
Вдовой полураздетой,

Изба, ослепши средь
села,
У Бога просит света.
Бездушьем скована
судьба,
Нет, не в глуши —
у тракта,
Глаза стеклянные избы
Мутнеют катарактой.
Сжимает душу
глухота
Чужого безразличья.
Лишь прокурлычет
иногда
Над крышей стая
птичья.
Прольется песенка
дождем,
По проводам стекая.
Стоит изба —
наш отчий дом,
О светлых днях мечтая.



ВИКТОР СУПРУНЧУК

Два рассказа

Цвела белая-белая сирень...

Жена с детьми уехала в деревню. Утром Вацлав посадил их на поезд и веселый, радостный прожил весь день в предчувствии свободного вечера, когда наконец-то никто ему не помешает заниматься тем, чем хочется. У него все получалось на работе. Начальник похвалил за хорошо подготовленные документы и пообещал увеличить премию за квартал. И, самое главное, Алина, которую он не видел уже больше месяца, согласилась с ним встретиться. Ее муж, Василий Игнатович, начальник отдела рекламы, толсторожий, с пивным животом, лысый, как колено, уехал два дня назад в командировку в Москву. Это Вацлав знал, потому что их кабинеты были на одном этаже. И подчиненные Игнатовича праздновали отъезд своего начальника, всем рассказывая об этом.

Он вышел из здания компании, где проработал больше двадцати лет, остановился и полной грудью вдохнул запах белой сирени. Высокое, с тонкими, вытянутыми ветками дерево росло у входа, словно огромный букет. Возле него захотелось задержаться, смотреть и смотреть, ощущать, как замирает сердце от этой красоты. Точно такая же сирень росла и около дома Вацлава. И у своей конторы, и у дома он посадил сирень, черенки которой привез из родной деревни. Ему очень нравился ее необыкновенный, тонкий аромат.

Вацлав не спеша шел по улице, рассматривая встречных женщин, которые в роскоши теплой ранней весны были одеты легко, почти по-летнему. У некоторых, совсем молодых, заманчиво белели по последней моде голые животы, которые притягивали взгляд и заставляли быстрее биться сердце. Распустились белые свечи каштанов, а ярко-зеленая молодая листва после дождя сверкала на солнце бриллиантовым блеском миллионов капель.

Вот так бы идти и идти, дышать весенним воздухом, ни о чем не думать и радоваться. Радоваться, что здоровые ноги и руки, что можно разрешить себе маленькие праздники, которые пока что никто у него не может отнять. Он идет, свободный человек, честно отработав день, и счастье в его руках.

«Ах, девочки, ах, красавицы», — Вацлав провел глазами двух стройных, как фотомодели, рыжеволосых девушек, которые знали, что на них смотрят, хохотали, шли, покачивая бедрами, словно демонстрируя всю свою женственность. Не было бы вечером встречи с Алиной, догнал бы красавиц, познакомился. В кармане деньги есть, можно в кафе или в бар зайти... Но не так много у него времени. Будем держаться одного...

Они с Алиной познакомились в автобусе, когда он после дня рождения друга, слегка на подпитии, возвращался домой. Было одно свободное место,

и Вацлав радостно опустился на сидение, давая отдых уставшим за долгий день ногам. Минут через десять он повернул голову и увидел ее, чем-то похожую на российскую актрису Ольгу Остроумову в молодости. Был бы трезвым, не стал бы к ней приставать. У него был принцип: в общественном транспорте ни с кем не знакомиться. Но тогда его словно с тормозов сорвало: он о чем-то говорил, рассказывал. Она сначала не обращала внимания, даже хотела подняться и отойти, но затем стала прислушиваться и посмеиваться. Наверное, Вацлав тогда вспомнил все самое интересное и невероятное в своей жизни и, наконец, неожиданно достиг той цели, которую и не ставил. Они не просто познакомились, у них возникли отношения, возможно, лучше, чем у жены и мужа. Алина даже как-то сказала, что хочет от него ребенка. И обязательно сына. Вацлав посмеялся, перевел разговор в шутку, представив вдруг ее мужа толстяка Игнатовича, с которым почти ежедневно здоровался, пожимая его мокрую от пота, мягкую руку.

У Алины была дочка от первого брака — четырнадцатилетняя Светланка. Тоненькая, светловолосая девочка с большими, на пол-лица, голубыми глазами. Она знала об отношениях матери и Вацлава и была рада этому, потому что не любила отчима.

— Плохо это, плохо, боюсь я. Плохо, что Светка знает о нас... Я думала: все будет только между нами, — иногда шептала Алина, когда они, прижавшись друг к другу, лежали в постели. Чаще в ее квартире. Снять отдельную квартиру не было денег. Жена Вацлава и дети редко куда-то уезжали. И вот уехали, аж на две недели. Они с Алиной получили большой подарок...

Иногда хотелось оставить ее, забыть, будто ничего и не было... Но... Ни с одной женщиной он не встречался так долго. Познакомились, неделя-две — и до свидания. Зачем проблемы, которых может и не быть? Он ей ничего не должен, она ему тоже. Это — словно праздник; а праздник — не каждый день, больше будни. Праздник как солнышко, а потом — тучи, что медленно плывут, застилая небо. А вот с Алиной в их празднике что-то затянулось. Он все думал прекратить эти отношения, разойтись. Но проходило время, и снова он звонил Алине, говорил ей комплименты, дурил голову, и она бежала к нему на свидание, не могла отказать.

Недалеко от дома Вацлав зашел в супермаркет и, подумав, что холодильник пустой, — жена забрала с собой почти все припасы, — загрузил багажник машины, накупил всяких вкусностей: мясо, виноград, шампанское, красное вино, банку икры, копченую скумбрию, маленькие испанские помидоры. Стол получился красивый и богатый. Посредине он поставил букет желтых роз, которые любила Алина. Вацлаву хотелось, чтобы эта встреча была настоящим праздником. Им не нужно торопиться, оглядываться по сторонам, бояться, что кто-то увидит. И, наконец, он Алину почти любит... Ну, не так, как жену, по-другому, но все же... Его душа тянется к ней; его влечет к ней... И тогда он забывает обо всем на свете — впрочем, в такие минуты, кроме Алины, никого и нет. И пусть это длится мгновение, но оно кажется вечностью, чудом, счастьем, которое дает силы жить дальше.

Вацлав вышел на балкон и остановился, словно зачарованный: волшебно пахла белая сирень, этот запах словно провозглашал весну. Во дворе цвели вишня и слива, которые он тоже когда-то привез из деревни и посадил в честь рождения сына и дочери. Воздух был просто насыщен весною, здоровьем и красотой. Были бы крылья — полетел бы, как тот скворец, что смастерил свое гнездо на липе, почти под их балконом. Душа пела и ждала Алину. Он хотел ее видеть, словно в первый раз, когда они договорились встретиться,

и он не знал, придет она или нет. Минуты не мог усидеть спокойно на диване, бегал от окна к двери, слушал тишину, желая услышать мелкий цокот ее каблучков. Ее все не было и не было... И казалось, уже не будет. Но вдруг она возникла на узком тротуаре, который, словно туннель, прорезал поросший низким густым кустарником сумрачный двор. Сразу посветлело в комнате, небо, казалось, было рядом, и он почувствовал себя богатырем, способным на такие поступки, о которых другие мужчины даже и подумать не могут. Он был лучше их, потому что к нему шла, торопилась Алина. Значит, она любит его. Просто так ничего и никогда не бывает...

Где-то высоко-высоко пролетел самолет, оставляя белый след, который понемногу исчезал за серо-синими облаками, что беспрестанно тянулись по небу, плыли куда-то в вечность. Он был для них никто, ничтожество, меньше капли воды, комара, птицы, но сейчас он стоял на балконе и ждал женщину, — для него самую прекрасную в мире. В эту минуту... Не вчера и не завтра, сегодня. В гостиной был накрыт богатый стол. Никого. Только ощущение праздника, витающее вокруг.

Они сядут за стол и будут говорить. Никто не помешает празднику, который он заслужил. Никого. Покой. Только они вдвоем...

Вацлав закурил очередную сигарету и только сейчас увидел, что пачка почти пуста. Что-то сегодня он разволновался. Словно они с Алиной встречаются впервые. Три года прошло со дня их знакомства, волноваться, кажется, причины нет. Но он ждет ее, словно двадцатилетний юноша.

Время шло, Алины не было. Настроение стало портиться, и Вацлав решил: еще полчаса — и он уедет к Марине, с которой познакомился в прошлом году в командировке. Он не потеряет этот вечер зря, свободный вечер, без жены и детей. Марина жила одна, не замужем, и в любое время была ему рада. В ее холодильнике всегда было что поесть и выпить. Еще двадцать минут, больше он не ждет...

Вацлав открыл дверь как раз в тот момент, когда прозвенел звонок. Алина, раскрасневшаяся, в белом платье, едва не упала от неожиданности. Как только щелкнул замок, Вацлав схватил ее своими крепкими руками, сильно прижал к себе, стал целовать. Она была такая вкусная, пахла весной и, наверное, белой сиренью. Ее глаза блестели, как зеленое стекло. Губы горячие, сочные. Не было сил отпустить ее, перестать целовать.

Он просто изнемогал. Он обнюхивал ее, как собака, фыркал, облизывал языком шею. Весь мир, казалось, был в ней.

— Хватит, хватит, — смеялась Алина. — Я хочу есть. Ой, какой стол! Ты меня совсем забыл...

— Я не забыл... Я тебя очень люблю... Я соскучился по тебе...

— Соскучился, когда жена уехала?

— Зачем так говоришь? Я очень скучал по тебе... Я так скучал...

К еде они приступили где-то через полчаса, а пока, смеясь от радости, что видят друг друга, невероятно счастливые, забыли обо всем на свете. Им было хорошо на полу, потом на кровати. Казалось, ничего нет, кроме этой небольшой комнаты со старым линолеумом, вылинявшими обоями и черно-белым телевизором «Неман», который Вацлав не хотел менять на цветной, потому что он напоминал о детстве. В конце концов диван не выдержал их страсти: с ужасным грохотом упала боковина.

— Сейчас прибежит соседка, — испугалась Алина, — и жене все расскажет.

— Соседка в больнице, а сосед, наверное, пьян, — довольный сказал Вацлав и опять стал ее целовать.

— Ты мне столько синяков наставил, — оглядела себя Алина. — Муж убьет...

— Во-первых, он у тебя в командировке, а во-вторых, скажешь, что попала под машину, — он весело смеялся и ощутил себя совсем молодым. Словно все это происходило с ним лет двадцать назад. И ему только двадцать пять. Жизнь впереди. Он всегда будет молодым... Он всегда будет счастлив. Сколько им с Алиной дано быть вместе? Неизвестно. Так зачем отказываться от радости и праздника, которые дают ему свидания с ней? Вроде и Алине хорошо так же, как ему... Что ж, пусть будет она, пока не встретится другая, более интересная женщина... Вечного нет ничего. Именно так вдруг подумал Вацлав, сладко целуя горячую, как огонь, Алину, которая, наверное, забыла в его объятиях обо всем на свете. Он теперь был ее хозяином, властелином, и она была очень счастлива.

Они выпили немного вина и слушали тихую музыку Чайковского, усталые, спокойные. Длинные каштановые волосы, перепутанные и мокрые от пота, словно мех, укутали шею, плечи Алины. Лицо разрумянилось, глаза блестели ярко и весело.

В квартире сверху послышались грохот, шум, а потом — ругань. Сосед был охоч до водки, и жена часто била посуду, кричала на весь подъезд. Значит, теперь был очередной семейный концерт, после которого настанет спокойная тишина до самого утра.

В квартире было душно, с открытого балкона тянуло слабым ветерком, который слегка шевелил гардину на окне. Сильно пахло белой сиренью. Все его существо окутала вялость, тело как-то ослабело, захотелось спать. И не удивительно, потому что утром Вацлав встал в пятом часу, его организм уже требовал отдыха. Однако в гостях Алина, которую он так давно ждал... И спать?.. Для него, как для мужчины, это был бы позор. Позор и только!..

— Пойду в холодный-холодный душ, — сказал Вацлав, поцеловал Алину, взял мохеровый халат жены и только успел сделать шаг, как затрещал звонок. Настойчивый, раз, два... На цыпочках, чуть дыша, не включая свет, Вацлав подошел к двери, посмотрел в глазок. Почувствовал, как озноб от страха побежал по коже, он поблагодарил Бога за то, что догадался вставить ключ в замок.

Перед дверью стояла жена и, обернувшись, кому-то говорила:

— Он у меня такой, как заснет, хоть из пушки стреляй. Еще привычка — ключ в замок вставлять. Ничего, сейчас разбудим... Нет, он у меня почти не пьет...

Снова продолжительный и неприятный, как нож в сердце, длинный звонок. Вацлав не помнил, как вскочил в комнату и, схватив Алину за руку, потянул к балкону.

— Беда!.. Жена!.. Быстрей!..

Он говорил, и ему казалось, что его шепот слышен там, за дверью, где стоит жена и методически нажимает на кнопку звонка.

— Быстрей, быстрей...

— Так тут третий этаж, шею сломаю, — натянув на себя платье, вся дрожа, говорила Алина. Ее лицо стало белым и каким-то более тонким, глаза переполнились страхом.

Вацлав схватил две простыни, разорвал их и связал. Получилась длинная веревка. Один конец ее он закрутил на тонкой талии Алины, второй — привязал к перилам балкона.

— Все, лезь, а то сейчас дверь сломает... Быстрей...

— Я боюсь...

— Не бойся... Ничего страшного. Совсем невысоко, — он подтолкнул ее к балкону, убрал со стола все следы, которые свидетельствовали бы о пребывании в комнате чужой женщины, и, зевая, вроде только что проснулся, пошел открывать дверь.

— Ну, ты и соня, — сказала жена, переступив порог. — Выпил, что ли...

— После работы с друзьями зашли в бар... Немножко... Что случилось? Ты же должна быть у матери?

— Знаешь, какой у нас начальник идиот?! Завтра утром обязательно надо ему сдать отчет за первый квартал. Будто без этого отчета конец света настанет... Нельзя уже неделю подождать!..

Жена еще что-то говорила, но Вацлав ничего не понимал. Он весь был там, на балконе: и мысли, и нервы, и ум. С облегчением вздохнул, когда жена наконец пошла в ванную и там зашумела вода.

Вацлав выскочил на балкон и увидел на перилах обрывки простыни, а внизу, на сломанной ветке, в цветах белой сирени лежала Алина... Холод пронзил все его существо, от страха застучали зубы. Он не отрывал глаз от Алины, которая, сжавшись, в белых лентах простыни лежала на земле под белой сиренью. Но вдруг она пошевелилась, отвела с лица эти ленты и попробовала подняться. Наверное, ей не хватило сил, потому что она снова опустила голову. Ему показалось, что Алина позвала: «Вацлав, Вацлав!..»

— Так ты все вино выпил? — услышал он голос жены.

— Нет, дорогая, нет, — Вацлав захлопнул дверь балкона и разлил по бокалам остаток вина, которое они не допили с Алиной...

— Ты знаешь, как чудесно пахнет у нашего дома сирень! — сказала жена и отпила маленький глоток красного вина. — Молодец, что ее посадил. Я так люблю белую сирень! А ты?..

— Я тоже, дорогая. Очень люблю.

Перевод с белорусского Натальи КАЗАПОЛЯНСКОЙ.

Петух на цепочке

Сегодня не надо идти на занятия. Иван и Антон решили приготовить обед. В шкафчике осталось немного картофеля, лука. Парни подсчитали деньги: хватало на полкилограмма кильки. Можно еще и полбуханки хлеба купить.

— Я буду чистить картошку, а ты пойди купи кильки, — предложил Иван. Он достал из-под своей кровати кастрюлю, электрическую плитку, поставил в уголке за тумбочкой. Случаем зайдет комендант Васьков — беда. Запретил готовить в комнатах. Пугал: выгоню из общежития. Вчера попросил Ивана помочь развесить в туалетах листки с призывом: «Уважаешь друга, спусти воду!», «Унитаз — твой друг!», «Мой руки, не забывай про соседа!» Комендант неплохой человек, хотя раньше и был командиром роты дисбата.

Иван почистил картофель, вымыл и поставил вариться.

Третьего жильца этой комнаты Евгения Подлипского не было в общежитии уже два дня.

Что-то задерживался Антон. От картофеля пошел пар, в желудке засосало. На верхней полке шкафа, где они держали посуду и продукты, — коробка из-под обуви, в которой позавчера Антон из деревни привез яйца. Каждое завернуто в бумажку.

Иван выглянул в коридор: никого. Быстренько схватил яйцо, иголкой пробил скорлупку с двух сторон и высосал его. Может, Антон не заметит.

Запах картофеля разносится уже по всему общежитию. Почувствовал его и Антон, который с кульком кильки подошел к комнате. Иван еле успел положить скорлупку в коробку.

Только Антон захлопнул за собой дверь, как кто-то постучал. Иван спрятал кастрюлю с плиткой под кровать и крикнул:

— Можно!

На пороге — высокий, чернявый парень в модных джинсах, блестящей желтой сорочке. На шее завязан голубой платочек. Лицо красивое, как у девушки.

Парень вежливо здоровается. Минуту молчит, осматривая давно не ремонтированную студенческую комнату, посредине которой — поцарапанный стол, у стен — три кровати, кое-как застланные. На подоконнике — бюст неизвестного героя в солдатской шапке, память Антона о воинской службе.

— Евгения нет? — спрашивает парень и почему-то тяжело вздыхает, словно после долгого бега по пересеченной местности.

— Нет, — отвечает Антон и злится. Этот красавец портит им обед. Кишки уже марш играют.

— Простите, — говорит парень и опять тяжело вздыхает. — Сообщите ему, что заходил Гарик.

— Кто? — переспрашивает Иван.

— Гарик, — почти по буквам повторяет свое имя красавец.

Гарик, Шмарик... Есть хочется. Иван с Антоном проглатывают по картофелине и кильке. Без хлеба. Антон вдруг кладет ладонь на кастрюлю:

— Грех есть картошку с килькой без ничего... Большой грех...

— И что?

— И что, и что — сам знаешь...

Иван долго чешет затылок, кряхтит, грустно смотрит на пахучую картошку и кильку. Чего-то в самом деле не хватает.

— Вкусный обед, а в горло не лезет...

Иван смотрит в потолок, вспоминая маму, которая предупреждала, чтобы голову держал всегда трезвой. В то воскресенье, когда ездил домой, у них был разговор. Очень важный. Мама даже закрыла на замок дверь. Вот что она сказала:

— Дорогой мой сынок... Дядя прислал нам немного денег...

Мамин дядя жил в Америке. Сколько он прислал денег, мама не сказала, но положила Ивану в карман сто рублей. Нет, не советских, а с какими-то полосами. Нет, не на развлечения. Купить пальто, шапку, ботинки, еще что-нибудь. Эти деньги лежали в кармане брюк.

Иван вздохнул, посмотрел на картофель, кильку и махнул рукой. Через минуту они бодро шагали к магазину, который назывался «Березка».

Витрины были шикарные, цены смешные. Бутылка армянского коньяка стоила пятьдесят копеек. Ондатровая шапка — рубль десять копеек.

Однако способность думать они не потеряли.

В комнате был сваренный картофель, килька. Лук. Хлеб. Между рамами в окне лежал кусочек сала Евгения Подлипского. Если и съедят, он простит.

Взяли три бутылки вермута, бутылку джина, виски, водку. За все Иван отдал пять рублей.

Пришли в общежитие, закрылись. Поставили на стол бутылку виски.

— За нас и за твоего дядю! — сказал Антон.

Они выпили виски и растерянно посмотрели друг на друга. Это был такой же самогон, каким их угощал Дима Новиков из соседней комнаты.

Да, интересно. По-видимому, надувательство. Слава богу, что хоть вермут купили за копейки. Выпили понемногу вермута. Хорошо стало на душе... Но зачем взяли джин, виски?

Стук, стук. Кто это опять? Антон с Иваном замерли. Настойчивый стук повторился. Бутылки под кровать. Туда же кастрюлю с картофелем, кильку, сало и хлеб. Еще сами не наелись, чтобы какого-то дармоеда кормить.

Антон открыл дверь и едва не упал от толчка. В комнату стремительно вошли комендант Васьков, капитан милиции и незнакомец в синем костюме при галстуке.

— Где кровать Подлипского? — спросил капитан.

— Вон... — махнул рукой Иван, ногами пытаясь заслонить спрятанное под кроватью.

Вошедшие развернули постель Подлипского, но ничего там не нашли. Затем полезли в его чемодан. Иван, Антон и комендант Васьков молча наблюдали за ними.

— Глянь! Что это!? — выкрикнул капитан.

В чемодане лежали мужские трусы, свитер, несколько пар носков и много листков, словно вырванных из блокнота. Мужчина в синем костюме взял один листок:

— Так, так... Пожалуйста, внимательно все осмотрите...

Иван с Антоном увидели на одном из листков написанный красным карандашом адрес радиостанции «Свобода», на другом — «Голос Америки». Потом — фотокарточки. На одной из них Евгений Подлипский с петухом на цепочке. Смешно. Собака на цепочке, кот... Но петух на цепочке?..

Капитан сложил все в чемодан и застегнул его на замки. Фотокарточки Подлипского отдал штатскому.

— Ваш сосед Подлипский, — сказал мужчина в синем костюме, — преступник.

Преступник?

— Опасный преступник, — добавил капитан. — Он изнасиловал двенадцатилетнего мальчика... Когда появится — сразу звоните... — он записал номер телефона на обоях у шкафа. И Антон понял, что капитан когда-то был студентом юрфака или курсантом милицейской школы.

Наконец, Иван и Антон остались одни. Достали из-под кровати картофель, кильку, сало, хлеб и напитки. Выпили раз, второй. Непонятно: в самом деле Подлипский изнасиловал мальчика?..

Иван чувствовал себя более-менее, Антона совсем развезло. Опять в дверь стук-стук, стук-стук. Кто это теперь? Иван открывает. С радостной улыбкой у двери стоит Евгений Подлипский.

— Привет, парни! Лица у вас какие-то кислые. Что случилось?

— Н-ничего, — еле проговорил Антон. — Будешь?

— Буду, — радостно откликнулся тот. — Наливай, коли есть что!

Обед продолжался. Евгению налили вермута, а себе — виски. Загалдели, зашумели. Уже мало оказалось картошки и кильки. У Антона в глазах два Подлипских, а сзади бегает какой-то маленький мальчик и машет руками. Иван спрятал джин в кровать под матрас.

— Так ты изнасиловал маленького мальчика? — допытывается Антон. — Изнасиловал, сволочь?!

— Никого я не насиловал! — кричит Подлипский, а Иван с размаха бьет его по уху. — Что я, дурак?

— Нет, ты не дурак! — Антон машет кулаками, пытаясь попасть Евгению в лоб. — Ты гомик поганый!

Подлипский, скрипя зубами и матерясь, выскакивает из комнаты. На левом глазу у него уже синяк, будто пролитые чернила.

Иван с Антоном доели картофель с килькой, допили вермут, остатки джина и виски слили в одну бутылку. Через минуту в комнате был слышен храп.

Скоро галдел весь факультет: Подлипский сидит в тюрьме. Он — гомосексуалист. Вот кто вместе с нами учился! Все посматривали на Ивана и Антона. Он жил с ними в одной комнате. Интересно, не повлиял ли на них?

— Скверно, — говорит Иван. — Скверно.

— Что скверно? — и у Антона плохое настроение. Оба еле тянут ноги из института в общежитие.

— Зачем я бил его? Он мне ничего плохого не сделал, а я его в ухо... Ты точно знаешь, что он изнасиловал мальчика?

— Не...

— И я не знаю. Зачем мы его били?

— Милиционер сказал...

— Милиционер...

Идут молчком, угрюмо. На улице уже весна. Уехать бы куда-нибудь, скрыться... Куда? Пустые карманы.

Словно читая мысли Антона, Иван грустно говорит:

— Меня мама убьет. Было сто рублей, осталось пятьдесят.

— Где остальные? — удивляется Антон.

— Где, где! — злится Иван. — В «Березке» и в наших с тобой желудках.

— Я же не виноват, что у меня нет денег, — пожимает плечами Антон. О чем-то он думает и говорит, наверно, то, что давно сидит на языке.

— Ты знаешь, что такое презумпция невиновности?

— Ну?

— Вот тебе и ну!.. Какое право мы имели бить Подлипского? Никакого!

— Никакого... — вздыхает Иван.

— Нам надо проведать его, — у Антона решительный, почти начальственный голос. Но на душе у него, будто продал мать или отца поганым цыганам. Почему цыганам? Потому что так говорили в деревне Антона.

У Ивана был земляк, который служил в милиции. Он добыл разрешение на встречу с Подлипским.

Купили сока, консерву «кильки в томате» и батон. Отрезали немного сала от куска, что привез Антон из деревни.

Пришли в тюрьму. Подлипский сидит и улыбается.

— Парни, я так рад вас видеть.

Они не знают, о чем говорить. Иван спрашивает:

— Так ты в самом деле изнасиловал мальца?

Подлипский хохочет, аж слезы на глазах. Машет на них руками и опять смеется.

— Мне уже присудили полтора года. Никого я не насиловал. Да, я — гомосексуалист. Но у меня есть друг. Вы же видели Гарика?

Антон с Иваном дружно кивают головами. Смотрят на Подлипского и словно видят впервые. И все-таки гомик, гомик... Вот, собака... И надо же было им попасть в одну комнату...

— Видели, — произносит Антон и уже не рад, что пришел сюда. Не дай бог, кто-то подумает: он такой же, как этот...

— Почему ты с петухом на цепочке? — спрашивает Иван.

— Я был хиппи. Нам было весело, делали, что хотели. Однажды решили устроить демонстрацию протеста. Я придумал отличный вариант. Я шел с петухом на цепочке. Кричал: долой, долой власть, которая против петухов! Меня схватили милиционеры.

— Так ты не насиловал мальца? — спросил Антон. — Тогда почему ты тут?

— Вы спросите у судьи. Но вряд ли он вам ответит. Я думаю, что мне это наказание за петуха с цепочкой. Потому что тогда я убежал. По-видимому, меня кто-то сдал... Как у нас говорят, наказание не минует.

Иван с Антоном вышли на улицу. Был солнечный день. Кругом спешили куда-то красивые девчата. А небо было высокое-высокое. Первым рассмеялся Иван, а потом и Антон. Они долго смеялись, пока Иван не сказал грустно:

— Мама меня убьет...

Перевод с белорусского Олега АЛЕКСЕЕВА.





ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

Может быть, эта песня о счастье?..

* * *

Запылали поленья в печи,
Темноту по углам разгоняя...
Посидим у огня, помолчим...
Тонко ветер в трубе завывает.

А поленья стрекочут-трещат —
Это звон, очищающий душу...
Посидим — может, миг, может, час —
И ночной тишины не нарушим.

Тени прячутся в мраке густом
И уносятся в звездное небо.
А в душе, до сих пор молодой,
Детства сны — то ли быль, то ли небыль.

Вечера я такие люблю —
Теплоту сквозь метель и ненастье.
Тихо песню поленья поют...
Может быть, эта песня о счастье?..

Туманок

Там, за деревьями, — избы родные.
Машут ветвями деревья живые.
Вьется над крышею сизый дымок...
Где же ты, детство?
Туман-туманок...

Полнятся счастьем милые очи.
Голос ребенка, бессонные ночи...
Вот подрастает и младший сынок.
Где же ты, юность?
Туман-туманок...

Вязынка

В детстве я раннем услышал — поля,
Нивы, леса на заре прошептали:
Вязынка — наша святая земля,
Родина славного Янки Купалы.

Слушал я чистую песню ручья
И наполняли меня, наполняли
Мысли о том, что криница моя —
Там, где когда-то родился Купала.

Вязынка, милая, помнишь, когда
Песню жалейка свою заиграла
И про свободу сказала — тогда
Все мы услышали голос Купалы.

Вот и опять приходил я сюда.
Долго кукушка мне вслед куковала —
Верно, считала-листала года...
Мне же все слышалось: Янка Купала...

Перевод с белорусского
Полины ЕЛИСАВЕТИНСКОЙ.

Мой край

Что нужно для счастья? А нужно немного:
Зеленый дубок у родного порога,
Посаженный дедом (когда — неизвестно),
Колодец за домом да мамина песня.
Да в зрелость из детства бегущая тропка,
Родник-ручеек, очень тихий и робкий,
Криничка с прозрачной студеной водою,
И самая первая встреча с тобою,
Да в небе луна, что вот-вот перельется...
Мой край. Он любимой Отчизной зовется.

Перевод с белорусского Аллы ЛЕВИНОЙ.





ЛЮДМИЛА МИХЕЙКИНА

Реанимация

Рассказ

— Эта история невыдуманная, — говорила Наташа подруге, сидя на скамейке в парке. — Случайна ли? Не знаю, но может лучше этого и не знать.

В тот вечер Наташа, как обычно, набрала номер телефона матери. Не дождавшись ответа, она подумала: «Наверное, вышла на улицу». Погода за окном была чудесная, над оранжево-желтой листвой разливался мягкий солнечный свет. Она знала, что мама любит прогуливаться неподалеку от своего дома у берега реки: ее больше привлекали места, оживленные природой, чем шумные городские улицы.

В свои 79 лет Татьяна Павловна была достаточно энергичной женщиной, чтобы позаботиться о себе, но с тех пор, как умер ее муж, отец Наташи, жила одна, и дочь каждый день звонила ей по телефону. Ей, конечно, хотелось бы, чтобы Наташа чаще приезжала, но повседневная суета оставляет мало времени для встреч.

В начале сентября они вместе съездили в «Парк победы». Поездка была своеобразной экскурсией, организованной Наташей.

Татьяна Павловна удивленно рассматривала аккуратную, выложенную широкими плитами набережную, и вспоминала, как это место выглядело в ее молодые годы. Ее восторженный взгляд схватывал картины ярких осенних цветов на широких клумбах, нежные оттенки голубых елей и серебристые, взмывающие многоярусными струями фонтаны воды, искрящейся в последних лучах сентябрьского солнца.

Она шла и радовалась не меньше, чем пробегающие мимо дети, с гордостью повторяя:

— Какая красота! Все сделано для людей! Как же здесь хорошо!

Старые люди умеют быть благодарными за заботу, которая касается не только их лично.

Не дозвонившись до мамы днем, вечером Наташа снова набрала номер ее телефона и долго держала трубку. Может быть, Татьяна Павловна на кухне, услышит звонок и, наконец, подойдет. Через несколько минут в телефонной трубке раздался щелчок, ее как будто сняли, послышался легкий шорох, невнятный звук, похожий на шепот, после чего шумы прекратились. Наташа обеспокоенно спросила:

— Мама, ты меня слышишь? Что с тобой? — не дождавшись ответа, повторила она. — Я сейчас приеду.

Быстро положив трубку, Наташа снова сняла ее, набрала тот же номер, но в ответ раздались лишь короткие гудки.

— Что-то случилось, надо срочно ехать, — взволнованно сказала она мужу, взяв ключи от маминой квартиры. Стоянка такси была напротив их дома, и через пятнадцать минут они были уже на месте.

Татьяна Павловна лежала на полу в старенькой застиранной сорочке у расстеленной кровати. Наклонившись, Наташа осторожно тронула ее за плечо.

— Мамочка, что с тобой? — испуганно спросила она.

В ответ раздался отрывистый стон. Наташа подняла с ковра упавшую с аппарата трубку и дрожащими пальцами набрала номер телефона скорой помощи. Отвечая на бесчисленные вопросы врача, ей казалось, что они теряют слишком много времени.

— Чтобы понять, какую бригаду направить, нужна самая полная информация, — пояснили ей на другом конце провода.

Скорая помощь прибыла быстро, но десять минут ожидания Наташе казались вечностью. Положив трубку на рычаги, она снова сняла ее, набрала «103» и спросила можно ли поднять женщину с пола и что можно сделать до приезда врачей. Получив рекомендации, они с мужем положили Татьяну Павловну в постель, что оказалось совсем непросто. Женщина невысокого роста и среднего телосложения в бессознательном состоянии была неестественно тяжелой. Наташа слегка увлажнила ей лицо водой.

Раздался звонок, и в комнату вошли три молодых врача в бордовых халатах: две женщины и мужчина. Наташа торопливо рассказала им, что произошло за последние минуты. Обратившись к неподвижно лежавшей женщине с вопросом и не получив ответа, врачи, коротко переговариваясь, засуетились возле нее, доставая из саквояжа иглы и приборы.

В этой так хорошо знакомой комнате Наташа чувствовала себя бесполезной. Родной человек, который еще вчера ходил и говорил, сегодня лежал неподвижно, и она ничем не могла помочь. Только быстрые движения врачей говорили о том, что мать жива и продолжается схватка жизни со смертью.

— Она в коме, нужно везти в реанимацию, — коротко сказала женщина-врач, записав паспортные данные больной. — Найдите мужчин, чтобы снести ее на носилках вниз.

Наташа вышла в общий коридор. На ее просьбу сразу откликнулись соседи.

В чистой, но старенькой сорочке, хранившей привычную мягкость и тепло, с которой Татьяна Павловна еще не готова была расстаться, хотя в шкафу лежали другие, новые, ее завернули в шерстяное одеяло без пододеяльника, которое Наташа вытащила из шкафа. Она взяла на полке одну из аккуратно сложенных стопкой рубашек и хотела переодеть мать, но врач сказала:

— Не надо, в реанимации все равно снимут.

— Сорочка, которая на ней, совсем ветхая, — смутилась Наташа.

— Это неважно. Видно же, что женщина чистая, никаких запахов нет, не будем задерживаться, — поторопила врач.

Наташа с мужем сидели в машине рядом с носилками, и она поддерживала беспомощно свисавшую мамину руку с зафиксированной в вене иглой.

— Надо же, видят, что едем с мигалкой, и никто не уступает дорогу, — возмущалась врач скорой помощи. — Вот, наконец-то пропустили, но это, оказывается тоже свои.

Машина подъехала к приемному отделению больницы вплотную, носилки быстро переместили на каталку и завезли в помещение. Женщина в белом халате настоятельно говорила неподвижной Татьяне Павловне, чтобы она сжала пальцы рук и пошевелила ногами. Наташа напряженно смотрела, как ее мама слабо шевельнула ногой и медленно, не открывая глаз, слегка свела пальцы одной руки.

Между прибывшими и принявшими больную врачами состоялся непродолжительный разговор, из которого до Наташи донеслись слова:

— Она не разговаривала, спросите у родственников.

— Да, она не разговаривала, — подтвердила Наташа.

— Если еще кого-нибудь привезете, — услышала она, — класть будет некуда.

Красивая девушка в белоснежном халате, сидевшая за компьютером, спросила у Наташи номер ее телефона. Наташа быстро назвала домашний, но засомневалась в точности цифр сотового. Когда она посмотрела на маленький светящийся экран, чтобы уточнить его, девушка, недовольно повысив тон, задавала ей уже следующий вопрос. Наташа была намного старше ее, но возраст, как она заметила, все чаще переставал быть показателем в отношениях поколений. Одни не хотели стареть, а другие охотно соглашались с иллюзией их молодости. Она понимала, что в своей растерянности выглядит глупо, ощущая на себе пренебрежительный и уверенный молодой взгляд, но происходящее вокруг казалось мелким и незначительным по сравнению с переполнявшей ее тревогой. Для девушки в белоснежном халате это была обычная рутинная работа. Возможно, она привыкла к чужому горю или по своей душевной организации не способна понять состояние человека, столкнувшегося с ним, которому в этот момент тоже требуется поддержка, любая, пусть даже самая слабая. Когда-то таких девушек называли сестрами милосердия, но второе слово, по-видимому, не зря отбросили или просто забыли, «сестра» осталась, милосердия нет.

В кабинете, расположенном рядом, за стеной приемного отделения, Татьяне Павловне сделали рентгеновские снимки. Для этого потребовалось снять сорочку. Наташа помогла врачу разорвать ее тонкую и слабую ткань. Так было легче. Каталка была узкой. Татьяна Павловна зашевелилась, и женщина в белом халате стала придерживать ее, чтобы не упала. Не приходя в сознание, Татьяна Павловна застонала и заметалась. Наташа погладила ее по обнаженному плечу и взяла за руку:

— Мамочка, потерпи, не двигайся, прошу тебя, — и мать неожиданно успокоилась. Затем ее завернули в одеяло, в котором привезли, и подняли на лифте в реанимацию.

— Заходить в реанимацию нельзя, — сказали Наташе, и они с мужем остались на первом этаже. Через несколько минут им вернули одеяло и мягкий тряпичный комок, который недавно был сорочкой.

— Распишитесь, что ценных вещей при ней не было, и можете идти, — услышала она, отправляясь вслед за женщиной в белом халате.

— А у кого и когда можно узнать о ее состоянии?

— У лечащего врача с восьми до половины девятого или после двенадцати, — ответила женщина, усаживаясь за стол.

Записав информацию и расписавшись в журнале, Наташа с мужем вышли на улицу. По пути к дому она позвонила по сотовому телефону младшей сестре и сыну и в смягченных тонах, чтобы не напугать их, сообщила о случившемся.

Ночью Наташа уснуть не смогла. В восемь часов утра, отсчитывая минуты до этой ровной цифры, она набрала записанный на клочке бумаги номер телефона реанимации. Женский голос в трубке ответил, что ее мама пришла в сознание, начала двигаться и говорить и проходит дальнейшее обследование. Причина произошедшего не выяснена. Последовавший за этим вопрос показался Наташе странным.

— Скажите, что она за человек?

После непродолжительной паузы Наташа ответила:

— Прожила нелегкую жизнь, много работала, без вредных привычек, строгая, волевая, с сильным характером, но отзывчивая и всегда готова прийти на помощь.

Наташа пыталась дать максимально объективную характеристику и одновременно понять суть вопроса. Может быть, мама категорически отказалась принимать какие-то лекарства? Она ими почти не пользовалась в повседневной жизни, не любила ходить в поликлиники и выстаивать в их многочисленных очередях. В молодые годы времени на себя не хватало, а теперь его было достаточно, но старые привычки сохранились. Если что-то болело, она ждала, пока пройдет, простуду лечила своими испытанными средствами: малиновым вареньем, молоком с медом, горчичниками и травами, которыми когда-то лечила своих детей ее мать. К счастью, болезни беспокоили ее не слишком часто, словно чувствуя пренебрежительное отношение. А может быть, свежий воздух деревни, где прошло ее детство, и физический труд на земле создали свой естественный запас прочности. Правда, в детстве в бедной многодетной семье она недоедала, но голоданием теперь даже лечатся современные люди, которые не знают, что такое настоящий голод.

После двенадцати часов можно было встретиться с лечащим врачом, и Наташа поехала в больницу.

— Попасть сразу в реанимацию — удел людей, которые не следят за своим здоровьем, — сказала ей молодая женщина в белом халате. — Ночью ваша мама вела себя неадекватно. Чтобы она не навредила себе, мы вынуждены были зафиксировать ее на кровати и сделать успокоительный укол.

Наташа взволновалась:

— Может быть, она испугалась, очнувшись ночью в незнакомом месте?

— Может быть. Медсестра сказала, что она обругала ее матом.

Увидев на Наташином лице изумление, она добавила:

— Верить или нет, это ваше дело.

Наташа не знала, как выходят люди из комы, но хорошо знала нетерпимое отношение Татьяны Павловны к нецензурным словам. Ей показалось, что врач что-то путает и речь идет о ком-то другом.

— Я хочу, чтобы вы поговорили с ней, — продолжила молодая женщина. — Вы лучше можете понять, не произошло ли с ней каких-либо психических отклонений. Мы недавно сделали ей УЗИ, до этого нельзя было есть, а она постоянно требовала, чтобы ее покормили, и удивлялась, почему в больнице не кормят.

Наташа подумала, что УЗИ можно было сделать и пораньше, проснувшийся к жизни организм диктует свои естественные права, и в этом нет ничего необычного. Она вспомнила, мама однажды рассказывала ей, как в детстве после уроков шла в поле, чтобы отыскать остатки гнилой картошки и испечь из них блин, это было сразу после войны. Тогда она могла переносить голод, а сейчас, когда продуктов стало много, ее натерпевшийся организм отказывался с ним мириться. Еще одно воспоминание из рассказанного всплыло в памяти. Когда выходила из бессознательного состояния мамина свояченица, первое, что она попросила, — поесть. В сельской больнице на столе рядом с нею сразу же появились продукты, которые собрали сельчане. По совету местного врача ей дали выбрать то, что потребовал организм в тот момент. Это было одной из составляющих ее излечения.

Молча набросив на плечи голубой синтетический халат, который ей дала врач, Наташа прошла в палату.

Мама лежала под простыней, у нее были скомканные волосы и отекшее лицо. Татьяна Павловна смотрела на дочь открытыми живыми глазами, но выглядела такой жалкой, что у Наташи сжалось сердце. Наклонившись, она поцеловала ее в щеку, а женщина заплакала в ответ. Наташа испугалась: она не помнила, чтобы видела ее когда-нибудь плачущей. Наверное, это было давно, когда кто-то умер. Собственные проблемы мама никогда не оплакивала, а всегда искала и находила способ, как их решить.

На тумбочке стояли две тарелки, одна с супом, другая с остывшей кашей и котлетой. Девушка-медсестра при помощи специального механизма приподняла спинку кровати и первое, что Наташе захотелось — накормить мать. Если она просила есть, значит, ее мучило чувство голода, кроме всего прочего, что может мучить человека, очнувшегося ночью голым и связанным под одной простыней в незнакомом месте. Чуть поодаль, стояла кровать, на которой с закрытыми глазами и массой присоединенных к нему проводков стонал старик. За тонкой перегородкой, доходившей до середины палаты, стояли еще две такие же кровати, на которых, не подавая признаков жизни, неподвижно лежали другие люди. Напротив перегородки был стол медсестры.

Наташа кормила маму супом, как изголодавшегося ребенка, и рассказывала, как она попала сюда. Татьяна Павловна остановила ее:

— Посмотри, нет ли у меня пятен на щеках.

— Нет, — удивилась Наташа, — а почему ты это спрашиваешь?

— Ночью, когда я проснулась, — сказала Татьяна Павловна, — за столом никого не было. Ремни, которыми я была связана, давили, мне было трудно дышать. Я хотела позвать кого-нибудь на помощь, но могла только стонать и испугалась, что у меня отнялась речь. Потом в палату вошла молодая девушка-медсестра. Она приблизилась ко мне и сказала: «Чего ты орешь, старая падла? Может, стакан водки выпила?» Я застонала сильнее. Выругавшись матом, она ударила меня ладонью по лицу. У меня разболелась голова, и «загорелись» щеки. Я промучилась до утра, пока не закончилось ее дежурство.

В палату заглянула врач и, прервав Татьяну Павловну, позвала Наташу к выходу. Сменная девушка-медсестра подошла к ее кровати.

— Я помогу вашей маме доесть. Не волнуйтесь, эту медсестру накажут, — сказала она Татьяне Павловне.

Наташа еще не успела осознать информацию, кажущуюся ей невероятной. В этот момент главным для нее было то, что ее мама вернулась к жизни и возвращалась в состояние нормально говорящего и двигающегося человека, и это вызывало в ней доверие к молодой женщине-врачу, которая к тому же позволила ей войти и поговорить с ней. У входа в реанимацию висело объявление «сотовые телефоны не приносить», с больными не было никакой связи, кроме как через лечащего врача. Уходя, Наташа сказала:

— Извините, если она вас чем-то обидела, но она в адекватном состоянии, и никаких психических отклонений у нее нет. Мы с сестрой никогда не слышали от нее ни одного нецензурного слова.

По пути домой Наташа приводила в порядок свои мысли. Она уже не сомневалась, что даже в бессознательном состоянии Татьяна Павловна не могла произнести чуждые ей слова. Кто-то и для чего-то пытался перенести их на нее. Она вспомнила, как недавно они ехали вместе в троллейбусе. В заднюю дверь вошла группа молодых парней и девушек, шумно расположившихся в конце салона. До Наташи доносились обрывки грязных фраз, сопровождавшихся громким смехом. Обернувшись, Наташа выразительно

посмотрела в их сторону, но увидев бессмысленные раскрасневшиеся лица, сделать замечание не решилась и продолжала терпеливо молчать так же, как и все другие пассажиры троллейбуса. Вдруг Татьяна Павловна повернулась к бушующей толпе и возмущенно сказала:

— Что же вы свою красоту и молодость так уродуете? Перестаньте выражаться или выйдите из троллейбуса.

— Имеем право, мы талоны пробили, — ответил кто-то из продолжавшей веселиться компании, но голоса стали тише.

— Зачем ты так рискуешь? — взволнованно сказала Наташа, когда они доехали до своей остановки и вышли. — Неизвестно, чего можно ожидать от них.

— Они нормальные, просто разболтанные, поняли, что все боятся, и это их еще больше раззадоривает. Возмутительно, что и девушки среди них есть.

Наташа, едва не потеряв мать, сейчас особенно остро поняла, как она ей нужна. Нет человека, к которому так тянулась бы душа, и нет человека, который легко простил бы ей любое необдуманное слово. Нет любви бескорыстней, чем любовь матери, и нет ничего глупее обиды на свою мать.

На следующее утро Наташе позвонила молодая женщина, врач реанимации.

— Ваша мама прошла полное обследование, ей было предложено продолжить лечение в кардиологии, но она отказалась.

— Я приеду и заберу ее. Если ее жизни ничто не угрожает, она может продолжить лечение и в домашней обстановке, там ей будет лучше, — не задумываясь, ответила Наташа.

— Я не могу простить ее, — сказала дома Татьяна Павловна. — Она же будет издеваться над беспомощными людьми дальше. Нужно куда-то написать об этом. Я сейчас поняла, почему она так со мной поступила. Она должна была всю ночь сидеть на посту, а, когда привязала меня, то смогла уйти. Может быть, ей поспать хотелось или поговорить с кем-то. Она, наверное, не думала, что я заговорю. Когда утром она снова зашла в палату, и я сказала ей: «Я узнала вас. Это вы издевались надо мной ночью», она ответила: «Не докажешь, я тебя вижу в первый раз». Она говорила мне «ты». Это их сейчас так учат?

Наташа разделяла возмущение Татьяны Павловны, и ей точно также хотелось предать огласке случай, который не выходил у нее из головы, но она сдержала свой порыв. А что, если мама опять попадет в реанимацию в эти же руки? Заговорит ли она потом, выйдя из стен, скрытых от постороннего взгляда? Она решила, что разумнее будет промолчать и попыталась убедить в этом Татьяну Павловну.

На следующий день она поехала в больницу, чтобы забрать эпикриз. Чем ближе Наташа подъезжала к медицинскому учреждению, тем сильнее у нее портилось настроение. Она вспоминала наполненные болью глаза своей матери, и это была не физическая боль. Она все сильнее ощущала себя предателем, и не только по отношению к ней.

Забрав документы в кардиологии, Наташа направилась к выходу, но, не доходя до двери, свернула в сторону с табличкой «администрация». Время совпадало с приемом главврача по личным вопросам, однако секретарь направила ее к заместителю. У кабинета никого не было. Наташа вошла, поздоровалась. Из-за стола на нее внимательно смотрела женщина средних лет. С первых слов Наташа ощутила холодную напряженность ее взгляда. Между ними как будто возникла невидимая стена, с одной стороны которой сидел готовый к защите своего учреждения руководитель, с другой — обыкновенная жалобщица, то есть человек со скверным характером.

Наташа начала говорить, но сидевшая напротив женщина остановила ее:

— Так. И, что вы хотите?

— Чтобы вы меня поняли. Но я рассказываю, наверное, слишком подробно.

— Я знаю об этом, слышала. Во время обхода мне говорила то же самое ваша мама. Я предлагала ей продолжить лечение в кардиологии, но она отказалась, сказала, что чувствует себя хорошо и здорова.

Женщина явно не была настроена признать факт, который пыталась донести до нее посетительница. Частично эту информацию она уже получила от своих работников, которым принято больше доверять, чем другим, случайным, людям. К тому же, признать подобное не позволяла «честь мундира» и беспокойство за статус руководителя, который несет ответственность не только за собственные действия, и Наташа могла это понять.

Женщина-руководитель долго и вежливо объясняла ей, какие галлюцинации бывают у больных, выходящих из комы, и как трудно доказать, что человека ударили, если нет видимых следов.

— Один старик, когда очнулся, даже сказал, что его здесь пытали, как в гестапо, маску на лицо надевали...

Она говорила осторожно, в общих чертах, словно речь шла об абстрактных ситуациях, а не о конкретных людях.

— Но в коме моя мама была совсем недолго, — прервала ее Наташа. — Мы приехали к ней на такси сразу же, как только она смогла снять трубку, и скорая помощь быстро доставила ее в больницу.

— А у вас были ключи от ее квартиры?

— Да, у меня есть ключи. А следы от пощечин могут и не остаться, это же зависит от силы удара и физических особенностей.

Наташа понимала, что происходит естественная реакция самозащиты, и суть сказанного ею не доходит до сознания этой женщины, изначально настроенной все опровергнуть.

— У вас родители есть? — спросила Наташа после непродолжительной паузы.

— Нет, к сожалению. Мои родители умерли.

— Извините, — произнесла она. — Но у других они есть. Прошу понять, для чего я к вам пришла. Не для того, чтобы кому-то отомстить. Мне проще было бы направить письменную жалобу и дождаться официального ответа. Но я не хочу, чтобы кто-то еще оказался на месте моей мамы. На это место можем попасть и мы с вами, любой из нас.

Женщина задумалась, и Наташе показалось, что в ее глазах промелькнуло что-то похожее на понимание, а жесткая стена отчужденности стала отодвигаться в сторону.

— Беда в том, — вздохнула она, — что выбирать не приходится. Очереди из медсестер к нам не стоят, и конкурса нет. Сегодня я ее уволю, а завтра в другую больницу примут. Специалистов не хватает. Работа не из приятных, но, конечно же, раз уж она пришла сюда, это не дает ей право бить людей. Это тоже, если бы она в ЖЭС пришла, а ее там — по лицу. Я, конечно, разберусь, и мы накажем ее и врача.

— А врача зачем? Наоборот, я должна быть благодарна ей за то, что в короткое время поставили мою маму на ноги.

— Она дежурила в ту смену.

— И из этого следует, чтобы не пострадал невиновный, я должна простить виновного?

— Знаете, молодых нужно учить. Из них со временем получаются неплохие специалисты. Тем более, где взять других? Я вам обещаю, что этот случай

не останется без внимания. С врачом я поговорю, а медсестра будет наказана, и в дальнейшем мы за ней понаблюдаем.

— Спасибо, что вы меня правильно поняли, — ответила Наташа, направляясь к выходу.

— Спасибо, что зашли.

Как только Наташа закрыла за собой дверь, в кабинете раздался телефонный звонок, голос зам. главврача заставил ее остановиться.

— Больные поступали?

— Двое тяжелых. Заступила другая смена. Нам передали, что вы вызывали нас. Можно зайти?

— Нет. Уже не нужно. Вопрос закрыт.

Сомнение холодной змейкой вползало в душу. Это был возможный финал их разговора, о котором Наташа уже никогда не узнает. Ее визит оказался бессмысленным, она никого не защитила. «Люди больше нуждаются в реанимации душевных недугов, чем физических, — подумала она, отходя от кабинета, — и еще неизвестно, какой из них страшнее».

— Галина Сергеевна, вызывали?

— Заходите.

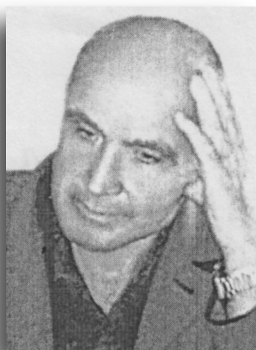
Дежурный врач и четыре медсестры вошли в кабинет заместителя главврача. Окинув их строгим взглядом, женщина сказала:

— У вас родители, бабушки, дедушки есть?..

Это был второй, возможный финал их разговора, о котором Наташа тоже никогда не узнает, но в который хотелось верить, как в то, что важнейшие проблемы решает не столько жесткость законов, сколько понимание, — человеческое.



Ловит душу магический стих...



ВАДИМ БОРИСОВ

Деревянная Русь

Дух сенной по лугам!
Босиком побегу.
Встретят гуси: га-га, —
Все бело, как в снегу.

Хата-нянька — в Брилях,
Повалившийся тын...
Не пеняй. Это я —
Непутевый твой сын.
Все ходил за моря,
В небоскребную высь.

Корни — что якоря,
Вот за них и держись.
Хватит дела для рук,
А в стогах — молока.

Деревянная Русь,
А стоять ей века!

* * *

Девок на солнышке маком насеяно
В платьицах, юбочках: Любок, Ален...

Налюбоваться — хватит на всех нас,
В сенях гулен.
Каждой — желанным будет колечко,
Что нагадала, сняв башмачок.
А попадешь под ее каблучок —
Делать нечего,
Знал, что почем.

ОКСАНА ГОРОВЕНКО



* * *

Мы насыщаем жизнь свою
Толпою, шумом, городами,
Мы проживаем жизнь свою,
Едва поняв, живем ли сами.

Едва ли нас пронзает свет,
Что сквозь глаза стремится в душу,
Мы не стремимся в ряд планет, —
Мы мнем и мнем ногами сушу.

Преодолеть и превозмочь
Мы все стремимся расстоянья,
Но могут ли всерьез помочь
Чужие лица, звуки, зданья?

Мы страстно рвемся где-то зрить
Уже восьмое чудо света!
Мы сами чудом можем быть,
Но мысль нам не приходит эта...

* * *

Каких тебе еще наград?
Ты жив сегодня — будь же рад!
Ликуй в душе, и создавай
Свой мир — в себе! Твори свой рай!



БЁРДИ

Любовь

Меня застигла страсть внезапно,
Как путника гроза средь поля...
Но заблистали краски ярче,
Стал воздух чище, и горит
Восторга взгляд,
И дух не ропщет —
А благодарственно молчит...

Вечер

К закату близок день,
Таинственна округа,
И ласковая тень
Обнимет, как подруга.

Все реже звуки птиц,
Луны видна предтеча:
Улыбки наших лиц
В покойный летний вечер.

* * *

И снег и лед с теплом растают,
Но воду чистую оставят.
Не в этом ли бессмертье, друг,
Одно родивши — умерщвить другое?..
Загадочен вселенский круг:
В нем нет для нас покоя...



СВЕТА АЛАНОВА

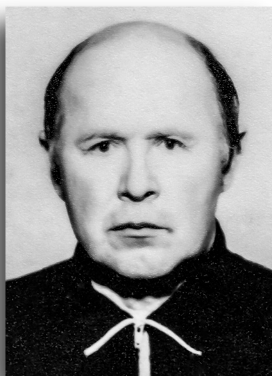
* * *

Я не нашла любовь,
мама,
Я не нашла покой,
отче.
Верила, значит,
мало.
Ищешь не там,
дочерь.

Просто сердце от боли
замерло.
Всё пройдет. Я прошу
о малости:
быть, как птица, что падая
замертво,
не испытывает к себе
жалости.

* * *

Ах, будь я панна,
поступью пава,
тонка и стройна,
я город твой многопрестольный
огнем бы очей подожгла.
Черным крылом брови
вершила б законы крови
и маленькой ручки властью
всласть упилась бы.
Пальцев звонким щелчком
играла бы палачом,
и его мечом,
и твоей головою,
глупой и молодою.



ЕВСЕЙ ЛОПУХИН

* * *

Как измучили душу стихи!
А ей грезилась резвая воля!
За какие такие грехи
Выпадает подобная доля?
Чем душа моя хуже других?
Что стихам от бедняжечки надо?
...Ловит душу магический стих
Наподобие женского взгляда.

В городе

Мне на улицах города душно,
Задыхаюсь, как будто в дыму.
Нет в аптеках лекарств от удушья,
Ведь причина не астма ему.
Жарко дышат кирпичные стены,
Пыль ершиста для горла и глаз.
Как глюкоза вливается в вену,
Так бы, свежесть, ты в душу влилась!
Что мне, сельскому жителю, надо?
В густотравье томящийся луг,
Да идущая с речки прохлада,
Да привычное дело для рук.





ДЖО АЛЕКС

*Тихая, как последний вздох**

Роман

XIV

**«...Ибо сквозь стены и решетки проникая,
Она следов своих не оставляет...»**

Цепь с громким лязгом разматывалась с лебедок, вращаемых Фрэнком Тайлером и доктором Харкрофтом. Огромная, стальная решетка медленно опускалась из-под свода прихожей и, наконец, с глухим стуком осела в глубокой выемке неровного каменного пола.

Фрэнк выпустил из рук рукоятку лебедки и повернулся к группе наблюдавших за ним людей.

— Прекрасный механизм! — с тайным восхищением сказал он.

— Казалось бы, нужно сто человек, чтобы это поднять или опустить, а между тем машина действует так уже несколько веков.

Он наклонился и поднял лежавший у стены тяжелый фотоаппарат.

— Первый групповой снимок для мемориального альбома КВАРЕНДОН ПРЕСС! — триумфально объявил он. — Прошу вас, пройдите к решетке и соберитесь в прекраснейшую группу знатоков самых мрачных и ужасных тайн, какие только знала наша страна!

Он отступил к стене коридора и ждал, наблюдая, как они медленно, как бы несмело, начали становиться рядом друг с другом.

— ...восемь... девять... десять... одиннадцать... не считая моей скромной особы... Сегодня ночью в этом замке будут находиться двенадцать человек, полностью отрезанных от мира!

— Тринадцать, — произнес чей-то спокойный деловитый голос.

— Что? — Фрэнк поднял руку и снова пересчитал их, ритмично поднимая и опуская указательный палец. — Одиннадцать, а вместе со мной круглая дюжина. Неужели я о ком-то забыл?

— О Еве де Вер, которая все еще находится здесь, хотя пока не выражает желания участвовать в групповом снимке, быть может потому, что в ее времена не было фотоаппаратов. Но я не советовал бы легкомысленно забывать о ней, — Джордан Кедж повернулся к стоящей рядом с ним Александре Уорделл. — Не правда ли, мадам? — на его лице не было и тени улыбки.

— Вы совершенно правы, — сказала миссис Уорделл. — В ваших словах гораздо больше правды, чем вы подозреваете, — и повернулась в сторону Фрэнка Тайлера, который быстро поднял фотоаппарат.

---

* Окончание. Начало в № 6 2014 г.

— Кто может, пусть улыбнется! — воскликнул он. Сверкнула яркая вспышка и Тайлер опустил аппарат. — Спасибо! Аманда, в эту ночь ты хозяйка этого замка. Начинай!

Аманда отделилась от группы.

— Прошу всех собравшихся пожаловать в столовую, хотя это не я буду иметь честь принимать гостей, а мистер Мелвин Кварендон, которому я сейчас передам слово.

Они направились по коридору в сторону столовой, и по пути их опередил Фрэнк Тайлер.

— Ты знаешь, что сейчас будет? — тихо спросил Паркер, когда они переступили порог столовой, где большой стол был передвинут под стену, освободив место в центре зала.

— Более-менее.

Джо слегка пожал плечами и покачал головой, словно пытаясь прогнать назойливую мысль. Перед его глазами все еще стояли покрытые ровным загаром плечи и стройная шея Грейс Мэплтон. «Найдете ли вы меня когда-нибудь?» Теплый, низкий, грудной голос. Он невольно поискал ее глазами. Склонившись, она раскладывала на маленьком боковом столике длинные белые конверты. Аманда в темно-красном платье с рукавами, отороченными белыми кружевами, стояла рядом, скрестив руки на груди.

— Дамы и господа! — громко начал Фрэнк Тайлер, выступая вперед. — Я хотел бы...

Он не закончил предложение, ибо в этот момент глубокий, отдаленный раскат грома потряс замок. Шторы на окнах озарились блеском молнии, свет в зале мигнул и на мгновение померк, но тотчас вспыхнул снова.

— Такого оформления не мог бы придумать никто из живущих! — воскликнул Фрэнк. — Стихия на стороне нашего скромного состязания! Но прежде, чем передать слово нашему дорогому издателю, человеку, который, словно волшебник, создал для нас этот вечер, я хотел бы заверить присутствующих, что замок обладает собственным источником питания, и темнота нам не угрожает, даже если стихия прервет подачу энергии из деревни. А сейчас слово имеет мистер Мелвин Кварендон!

Он сделал широкий жест рукой и отступил к стене. Наступила полная тишина, и тогда все услышали нарастающий шум за окнами. Стекла тихо задребезжали. Первый мощный порыв ветра нанес удар по замку и притих. Но шум по-прежнему нарастал. Море, подгоняемое ветром, ринулось на извечный штурм скалы, из которой торчал Волчий Зуб.

Мистер Мелвин Кварендон вышел на середину зала, держа в руках небольшую золотистую шкатулку, на которой мерцали вкрапленные в крышку драгоценные камни.

— Милые мои: вы, писатели, дарящие свою дружбу КВАРЕНДОН ПРЕСС, и вы, дорогие гости, любезно согласившиеся прибыть сюда на наше маленькое торжество, я желаю вам всем сказать, что это вовсе не я подарил вам этот вечер, а обязаны мы им нашей дорогой, молодой, чуть было не сказал «восходящей», но она уже высоко взошла, — необыкновенно талантливой писательнице Аманде Джадд. Аманда, будьте любезны, подойдите и примите этот скромный сувенир по случаю выхода в свет пятимиллионного экземпляра ваших книг, который несколько дней назад сошел с нашего печатного станка. — Он умолк. Джо взглянул на Аманду Джадд. Она опустила голову, затем с усилием подняла ее, вышла на середину зала и остановилась напротив мистера Кварендона, а он открыл шкатулку и вынул из нее книгу, переплетенную в темно-пурпурную кожу, на которой было вытеснено золотыми цифрами: 5 000 000.

Мистер Кварендон поднял книгу и показал присутствующим, а затем положил обратно в шкатулку и на раскрытых ладонях, как на подносе, протянул ее молодой писательнице.

— Большое спасибо, — тихо сказала Аманда, принимая шкатулку и сделав движение, словно хотела отступить и поскорее смешаться с остальными гостями. Но она не сделала этого. Она открыла шкатулку и посмотрела на книгу. — Какая красивая! — писательница взглянула на мистера Кварендона и робко улыбнулась: — Это действительно мило с вашей стороны. Вы доставили мне большое удовольствие!

— Надеюсь, что пройдет совсем немного времени, и мы будем отмечать выход десятимиллионного экземпляра! — мистер Кварендон взял ее под руку. — Думаю, что наступил самый подходящий момент, чтобы мы все вместе выпили бокал шампанского за ваш успех!

Где-то вдали сверкнула молния, и первые капли ливня резко застучали по окнам. В тот же момент в комнате раздался хлопок. Стоявшая рядом с Фрэнком Тайлером Дороти Ормсби инстинктивно отшатнулась, но тут же прыснула со смеху. Пробка от шампанского взметнулась в воздух и покатилась по полу. За ней вторая и третья. Фрэнк быстро наполнил бокалы, приготовленные на двух серебряных подносах, и взял один из этих подносов, а Грейс Мэплтон — второй. Она подошла к Алексу, который стоял вместе с Паркером с краю у окна.

— Спасибо.

На долю секунды их взгляды встретились над подносом. Грейс отвернулась и направилась к другим гостям.

— Если кто-нибудь пожелает слегка перекусить, прошу помнить, что закуска ждет проголодавшихся в противоположном конце зала. Не будем забывать, что нам предстоит провести здесь несколько часов!

— Подойдем к ней, — тихо сказал Джо, указывая глазами на Аманду, к которой как раз приблизился лорд Фредерик Редленд, высокий, слегка сутулый, и, держа перед собой полный бокал, легко прикоснулся к ее бокалу. Джо и Паркер подошли.

— Аманда, — сказал Джо, — я должен умирать от зависти, отмечая праздник, героем которого является другой автор детективных романов, но ты такая милая и такая способная, что я радуюсь вопреки моим самым низменным инстинктам. Желаю тебе дождаться стомиллионного экземпляра и переводов в ста странах, где живут люди, которые любят хорошо описанные, морозящие кровь в жилах, загадки!

Он наклонился и легонько поцеловал ее в щеку.

— Спасибо! — шепнула Аманда. — Это доставило мне настоящее удовольствие. Не знаю почему, но я верю, что ты искренен.

Паркер произнес несколько слов, поклонился, и они оба отошли к окну, за которым уже слышался непрерывный грохот волн, бьющихся о скалы.

— Как вы думаете, что все это значит? — Дороти Ормсби прильнула к Алексу. Она говорила почти шепотом.

Джо, проводив взглядом Грейс Мэплтон, которая обменялась парой слов с Фрэнком Тайлером и незаметно покинула зал, перевел взгляд на Дороти:

— Даже не знаю, что и ответить. Этот праздник не только хорошо организован, но и совершенно однозначен.

— Я думаю не о том, что Кварендон сделал, а о том, чего он не сделал, — Дороти не повышала голоса. — Почему он не пригласил телевидение, радио, критиков, рецензентов, а лишь меня одну из всей этой банды? Никто другой так бы не поступил. Ведь они все — рабы рекламы. В чем тут фокус?

— Понятия не имею, — Джо положил руку на сердце в знак того, что ничего от нее не скрывает. — Но я знаком с Кварендоном много лет и знаю: все, что он делает, всегда тщательно продумано. Вы правы, это несколько необычно и...

Он не закончил.

— Дамы и господа! — Фрэнк Тайлер снова появился перед гостями. — Прошу минуту внимания! Мы начинаем соревнование на титул победителя — того, кто в кратчайшее время обнаружит место, где находится Белая Дама, обитающая в этом замке...

Он на минуту умолк, и все снова услышали глубокий, приглушенный рокот волн. Дождь, барабанивший в окно, на минуту притих, но ветер усилился и со свистом носился вдоль стен.

— Сам поиск этого места не будет представлять больших трудностей, — продолжал Фрэнк, — однако потребует некоторой наблюдательности и сопоставления вещей, на первый взгляд, друг с другом не связанных. Возможно, не все из вас найдут Белую Даму, тем более, что это нужно сделать всего за четверть часа. Кто в течение пятнадцати минут с момента выхода из зала, не отыщет ее, должен немедленно вернуться сюда, чтобы на поиск мог отправиться следующий. Ибо, разумеется, мы все остаемся здесь вместе, до самого конца, и будем посылать очередных участников нашего состязания по одному. В полном одиночестве они будут вести поиск среди ночи... а благодаря велению судьбы, еще и под свист ветра, грохот волн и блеск молний. Каждый, выходя отсюда, получит конверт, куда вложено первое указание. Оно приведет вас к следующему указанию, а то — к другим, и все они направят вас туда, где ожидает Белая Дама. Она с точностью до секунды отметит время, когда вы появитесь перед ней. А поскольку мы здесь засечем время вашего выхода, то, потом, отнимая время старта от времени финиша, мы легко установим, кто преодолел путь быстрее всех, стал победителем и обладателем ожидающей его великолепной награды. Вот она!

Он подошел к столику у стены, на котором стоял высокий ларец из темного дуба, украшенный красивой серебряной оковкой. Тайлер взял ларец ладонями с двух сторон, и поднял его. Передняя стенка и крышка отделились от основания, и все увидели большие часы в стиле барокко с фигуркой, стоящей рядом. Смерть-скелет указывала косой в костлявых руках время на шаре, охваченном кольцом с часами и минутами.

Лорд Редленд подошел и склонился над часами.

— Изумительно, — сказал он и одобрительно кивнул. — Париж. Людовик XIV, если не ошибаюсь?

— Вы не ошибаетесь, милорд, — ответил мистер Кварендон, покрасневший и счастливый.

— Итак, можем начинать! — Фрэнк Тайлер взял со своего столика чистый лист бумаги, ручку и секундомер. — Здесь мы будем по очереди записывать всех, кто покидает эту комнату. А сейчас проведем жеребьевку, чтобы соблюсти справедливость!

Он поднял вверх небольшую черную вазу и потряс ею. Затем запустил в нее руку, вытащил свернутую бумажку, развернул и прочел:

— Мистер Мелвин Кварендон!

— Я? Как я?

— Мы ведь не посвящали вас в наши тайны и у вас такие же шансы, как у других. Но если вы считаете неудобным для себя бороться за награду, которую сами учредили, то, в случае вашей победы, вы можете передать ее тому, кто займет второе место, и удовлетвориться моральным триумфом.

— Но я...

— Полагаю, что мистер Тайлер прав, — сказал Алекс. — В конце концов, человек, чьи типографии подарили миру столько поразительных загадок, должен сам попытаться разгадать одну из них.

Кварендон глянул на него глазами загнанного оленя, но вдруг его круглое лицо прояснилось, и он широко улыбнулся.

— Это верно! — храбро сказал он. — Но если я себя полностью скомпрометирую, прошу надо мной не смеяться. В конце концов, я всего лишь скромный издатель, а не автор... — он поколебался и взглянул на доктора Харкрофта, который в одиночестве стоял у стены: — А как насчет моего сердца? — с внезапной надеждой спросил он. — Не считаете ли вы, что это слишком тяжелое испытание для него?

— Нет, не считаю, — Харкрофт отрицательно покачал головой. — Думаю, я не нарушу врачебную тайну, если скажу, что оно может вынести и гораздо большие нагрузки. Кроме того, я же здесь, с вами.

Кварендон развел руками.

— Сдаюсь. Кажется, у вас есть для меня какой-то конверт?

— Да, — Тайлер отступил назад и взял со стола первый из одинаковых продолговатых конвертов. Он поднял его и замер. Далеко за плотно запертыми дверями зала раздался жуткий, леденящий кровь крик, вопль убиваемого существа, разрывающий уши, проникающий в мозг, и внезапно резко оборванный. В наступившей затем тишине, послышался глухой стук упавшего тела, и тяжелые шаги, которые, удаляясь, растворились в тиши.

— Что... что это было? — сэр Гарольд Эддингтон шагнул к двери, но тут же остановился, как вкопанный.

Тихий, выразительный, низкий женский голос, звучащий, как будто со всех сторон, мелодично произнес:

— Кто среди нас, живущих, сказать посмеет:
«Я видел смерть, когда она входила.
И знаю, куда ушла она,
Оставив позади молчанье»?
Известны смерти тысячи ходов разнообразных,
Которыми в наш дом она проникнет без препятствий,
Не станут ей преградами замок замысловатый,
Засовы крепкие и верная охрана.
Ибо сквозь стены и решетки проникая,
Она следов своих не оставляет,
Холодная, таинственная, неизбежная,
Мрачная и тихая, как последний вздох.

Голос утих, а где-то далеко, в глубине замка, зазвенели тяжелые цепи, раздался звук удара железом о железо, глухой вопль и, наконец, наступила тишина.

— Господи! — сказал Кварендон, глядя на дверь. — Я уже могу идти?

— Еще минутку. Прошу вас открыть конверт и прочесть указание. Оно очень краткое.

Мистер Кварендон сделал то, о чем его просили. Он взломал восковую печать, вынул из конверта сложенный листок бумаги, прочел про себя текст, шевеля губами, и сунул конверт в карман на груди, оставив лист бумаги в руке.

— Еще пять секунд! — Тайлер смотрел на секундомер. Три... две... можно!

Толстяк-издатель двинулся к двери, на какую-то долю секунды заколебался и открыл ее.

Где-то вверху прозвучало отчаянное рыдание женщины, перешедшее в тихий стон. Мелвин Кварендон вышел, закрыв за собой дверь. Фрэнк Тайлер склонился над листом и записал время.

— Это было очень красиво, — прозвучал тихий женский голос.

— Что? — спросил Кедж.

— Эти стихи о смерти, — сказала миссис Александра Уорделл и с улыбкой посмотрела вверх, словно в поисках места, откуда доносился голос. — Очень красиво.

XV

«Ты сам теперь пересекаешь запятнанный убийством дом...»

Джо посмотрел на часы. Прошло четырнадцать минут с тех пор как Мелвин Кварендон закрыл за собой дверь зала. Далеко, в темных глубинах замка, где он исчез, временами раздавался протяжный человеческий вопль, звон цепей и внезапный грохот, а когда эти звуки стихали, реальная гроза, бушующая за окнами, доносила непрерывный шум волн, яростно бьющихся о скалу. Один раз где-то поблизости даже ударила молния, но гроза и ливень, казалось, стали удаляться.

— Интересно, удастся ли ему? — громко сказал Фрэнк Тайлер, поглядывая на дверь.

Словно в ответ на его слова она медленно открылась. Толстощекий владелец КВАРЕНДОН ПРЕСС вошел и закрыл дверь за собой. Он молча подошел к часам и улыбнулся.

— Тот, кто найдет Белую Даму, не будет испытывать сомнений, гадая, не нашел ли я ее раньше!

Он развел руками.

— Значит, вы не нашли ее? — с невинным девичьим интересом спросила Дороти Ормсби. Она сидела в одиночестве у одного из маленьких столиков, держа перед собой открытый блокнот.

— «Не нашел», — рассмеялся мистер Кварендон, — означало бы, что я шел в каком-то направлении, но мне не удалось дойти до цели. Нет, я просто прогуливался по коридору с этим листком и раз за разом перечитывал его. За дело, Фрэнк! Мне интересно, выйдет ли еще кто-нибудь из игры с таким же позором, как я? Так или иначе, но что я точно знаю, так это то, что мне положен двойной виски без содовой. Этот замок действительно жутковат, а уж голоса...

Аманда, стоявшая рядом со столом, где находились напитки, подошла к нему, держа стакан в руке.

— Безо льда?

— Спасибо, детка! — Мистер Кварендон взял из ее руки стакан и поднес к губам.

Джо заметил, что рука издателя не дрожит. Доктор Харкрофт, несомненно, хорошо знал своего пациента.

Дороти перевернула страницу блокнота и что-то быстро записала.

Фрэнк Тайлер поднял черную вазу и запустил в нее руку. Затем грациозно поставил вазу на столик и развернул вынутую оттуда бумажку.

— Мистер Джо Алекс! — объявил он. — Трепещите, дорогие гости! Ваша репутация брошена на весы! Чья перевесит?

Он подал Алексу конверт.

— Прошу вас открыть и прочесть, а когда я подам команду «старт», начнется отсчет вашего времени, поэтому советую встать рядом с дверью.

Джо взял конверт, сломал черную восковую печать и вынул серый листок бумаги, толстый, как пергамент. Вверху листок был украшен объемно напечатанным черепом. Ниже вилась черная лента, которую держали две костлявые руки, как бы высунувшиеся из-за краев листа. На ленте белыми, стилизованными буквами было начертано двустишие:

Ты сам теперь пересекаешь запятнанный убийством дом!
Ах, где бы ты хотел уснуть, если бы вдруг лордом стал?

— Старт! — воскликнул Тайлер, положил часы на столик и записал время.

Джо распахнул дверь, закрыл ее за собой и очутился в коридоре. Он сделал несколько шагов и остановился у ступеней лестницы, ведущей на верхний этаж, где находились комнаты для гостей.

В первую минуту он пережил то же ощущение, которое, вероятно, испытал до него мистер Кварендон. В голове царила абсолютная пустота. Он еще раз медленно прочел листок. Первая часть двустишия не содержала вопроса и, казалось, нужна была лишь для создания атмосферы. Ну и размера, конечно.

«Но где бы ты хотел уснуть, если бы вдруг лордом стал?»

Лордом? Что бы это могло значить? Лорды спят там, где спят. Иногда дремлют в Палате лордов. Но это бессмыслица...

Он посмотрел на часы. Прошла минута. Но ведь это должно что-то означать? И это не могло быть чем-то необычайно сложным. Фрэнк сказал, что загадка не трудна, однако надо сопоставить вещи, на первый взгляд друг с другом не связанные. «...Уснуть, если бы...»

Внезапно Джо улыбнулся и двинулся вверх по лестнице. Мысль была почти абсурдной, но ее следовало проверить. Он оказался в коридоре и быстро свернул налево.

— Ты умрешь! — шепот, казалось, доносился со всех сторон одновременно. — О, несчастный!

И горестный вздох.

«Где они упрятали эти колонки?» — подумал Алекс и тут же отбросил эту мысль. Сейчас ничто не должно его отвлекать. Ведь как раз для того и звучат эти голоса.

Он миновал первую дверь «Александра Уорделл», вторую «Джордан Кедж», подошел к третьей, взглянул на карточку с фамилией и с облегчением вздохнул. «Лорд Фредерик Редленд». А с обеих сторон, чуть пониже букв на этой карточке виднелись два маленьких, как бы детских рисунка: лошадка и корона.

Ну разумеется, если бы я стал лордом, то уснул бы там, где спит лорд, то есть в спальне Фредерика Редленда! Господи, как это просто!

Конь и корона? Он прищурился. С первой же секунды какой-то подсознательный голос шептал, что это тоже просто, очень просто... и знакомо! Что он уже встречался с чем-то таким сегодня... Но где же, где?

Он вздохнул и медленно двинулся по коридору. Потом вдруг остановился и вернулся обратно. Он миновал дверь Редленда и застыл. Гравюра. На поле битвы, среди сплетенных тел людей и коней, воин с поднятым вверх мечом. Король Ричард III:

— Коня! Коня! Корону за коня!

Он приподнял нижнюю часть рамы и легонько встряхнул картину, словно ожидая, что сзади что-нибудь выпадет. Затем заглянул под картину. Нет, на стене не оказалось ничего... кроме паутины.

Может, не тот конь и не тот король? На гравюре нет короны, а лишь развеваются длинные слипшиеся в бою волосы.

А это что?

На стекле, прикрывающем гравюру, тут же у соединения с нижней планкой рамы узкая, длинная полоска бумаги:

Король отдал приказ, чтоб поняли и вы:
«Взгляните в рот ему, хоть он без головы!»

Взгляд на часы. Три с половиной минуты. Прошло всего три с половиной минуты, а казалось, больше. Несколько секунд на размышление. Джо покивал головой. Да, это несложно, во всяком случае, не должно быть сложным, если он прав.

Алекс двинулся по коридору, снова миновал дверь лорда Редленда и свернул налево. Четыре с половиной минуты.

Он открыл дверь большой комнаты и вошел, не закрывая ее за собой. Снова жуткий крик где-то высоко, затем хруст и оглушительный треск.

А потом тихий шепот:

— Хоть здесь нашел ты наслаждение и радость,
В итоге встретишь смерть!

И дикий хохот, внезапно прерванный воем. Снова тишина.

Джо содрогнулся. Он покачал головой, подошел к готическому сундуку и, остановившись перед ним, взглянул на доспехи, стоящие слева, потом на те, что стояли справа. Затем внимательно присмотрелся к ним еще раз. У одной фигуры забрало было опущено, у другой — поднято. В глубине зиял темный провал.

Алекс подошел и сунул руку в пустое отверстие. Ничего. Он отступил и посмотрел на другую фигуру. Потом осторожно приподнял забрало, придерживая нижнюю часть. Темное отверстие, а в нем...

Карточка на короткой тесемочке вытянулась из глубины, прикрепленная к верхней части забрала:

Когда трое смотрят вместе,
То, что ищешь, ждет на месте!

(Если ты нашел эти слова, опусти забрало и спрячь меня).

Джо еще раз быстро пробежал глазами карточку, вернул ее в отверстие доспехов и медленно опустил забрало. Карточка исчезла.

Время? Шесть минут. Осталось еще девять. Он огляделся. «Когда трое смотрят вместе...» Трое? Фигур было только две... Они смотрели в одном направлении, на противоположную стену. А где третья?

Джо огляделся. Вой ветра за окнами комнаты усилился, а грохот волн казался громче. Трое?

Он вполголоса рассмеялся, но тут же нахмурил брови.

— Я — третий! — громко сказал он.

Джо стоял перед готическим сундуком, повернувшись в ту же сторону, что и фигуры в доспехах. Перед ним находилась противоположная стена комнаты. Справа на стене — старинный парчовый ковер до самого пола, дальше, в центре, — полки с книгами, слева — большой камин.

Нет, чем бы ни было то, что «ждет на месте», оно не может быть спрятано в одной из книг. Их больше ста. Тогда все решалось бы только случайностью, удачей.

Джо подошел к камину и обернулся. Доспехи, казалось, смотрели в его сторону. Он наклонился и заглянул — свет ламп падал внутрь камина. Он склонился еще ниже и внимательно присмотрелся к мастерски уложенным поленьям, а затем перенес взгляд на подвешенный над ними черный чугунный котел.

Джо осторожно протянул руку и сунул ее в котел. Он не доставал до дна, и потому придвинулся ближе. Вот тогда его пальцы и прикоснулись к чему-то. Кусок железа. Ключ. Ключ и плотная карточка. Связаны проволокой.

Он вынул руку, ухватив карточку двумя пальцами за уголок.

Снова глянут трое разом —
Тут и выиграл ты сразу!

(Возвращаясь, вложи меня вместе с ключом туда, откуда взял).

Держа в руках ключ и карточку, Джо вернулся и опять остановился перед сундуком, повернувшись к противоположной стене. Портрет? Полки с книгами? Тайный проход? Но книги не достигали пола...

Джо направился к парчовому ковру и, внимательно оглядев его, обнаружил, что к верхней кромке пришиты на равных расстояниях маленькие деревянные колечки, висящие на гвоздиках, вбитых в стену.

Держа в правой руке ключ с прикрепленной к нему карточкой, Джо левой рукой прикоснулся к поверхности ткани.

Она легко подалась назад. За ней оказалась пустота. Ковер не был прибит, а лишь отягощен внизу чем-то тяжелым, вшитым в ткань — свинцовыми или железными шариками. Поэтому он был натянут и мог скрыть то, что за ним пряталось.

Джо глянул на часы. Восемь минут.

Он осторожно оттянул ковер. За ним находилась узкая дверь из почерневшего от времени дуба.

Алекс вложил в замок ключ, который неожиданно легко и почти бесшумно повернулся. Он нажал ручку и вошел.

XVI

«Я буду ждать...»

Хоть он и не закрыл дверь, тяжелый ковер за его спиной опустился, и он оказался в полумраке. Узкая полоска света впереди пересекала темноту, падая с высоты невидимого потолка. Он прищурил глаза и вошел. Свет падал из-за штор огромного ложа, увенчанного сверху балдахином. Изпод него опускались складки тяжелой материи, цвет которой нельзя было определить, потому что источник света находился внутри.

Джо подошел ближе. В том месте, где ложе почти соприкасалось со стеной, боковая штора была раздвинута. Там стоял маленький столик, а на нем — свеча, слабый и зыбкий свет которой освещал поверхность ложа, пурпурное покрывало с вышитыми золотыми цветами и...

Джо сделал глубокий вдох и одним движением раздвинул шторы. Теперь он стоял в ногах ложа, а перед ним, с закрытыми глазами, молитвенно сложив на груди руки, лежала Грейс Мэплтон. Алекс застыл без движения. Он смотрел не на лицо лежащей девушки, а на белое платье и алое, кровавое пятно прямо под сложенными на груди руками.

На коленях девушки лежал огромный обоюдоострый меч. Блеск свечи мягко сбегал по его сверкающему лезвию и тускнел на острие; потемневший кончик лезвия был покрыт чем-то липким и красным. Джо пришел в себя. Он протянул руку к лицу девушки.

— Я испугала вас? — Грейс Мэплтон открыла глаза, улыбнулась и села. Она шевельнула ногой, и меч тяжело сдвинулся на покрывало. Затем она повернулась к столику, где стояла свеча, взяла лист бумаги и часы.

— Вы здесь уже сорок секунд... с момента, как повернули ключ в замке.

Грейс достала маленький, укрытый за подсвечником карандаш, затем записала на листке фамилию и время. Потом отложила листок вместе с карандашом на столик и опустилась на ложе. Она смотрела на Алекса широко открытыми глазами, и улыбка медленно сошла с ее лица.

— Так все-таки вы испугались? — переспросила Грейс тихим, низким голосом. Она лежала навзничь, повернув к нему голову, а кровавое пятно на ее платье слегка подымалось и опускалось. Джо с трудом оторвал от него взгляд.

— В первую секунду мне показалось, что... — он умолк и кивнул головой. — Это было очень реалистично и мастерски сыграно. Я внимательно смотрел на вас. Вы не дышали, и даже ресницы у вас не дрогнули, а меч выглядел так, словно убийца после удара бросил его на тело жертвы, прежде чем выбежать отсюда. Это кровавое пятно на платье... Вы сами его изготовили?

— Это не то платье, в котором вы меня видели раньше. Фрэнк спроектировал для меня два одинаковых. Перед тем как войти сюда я быстро переоделась. Краска совершенно сухая и не пачкается... Дотроньтесь.

Она слегка приподнялась на локте и взяла его руку, а потом легонько притянула ее и положила между своими наполовину обнаженными грудями. Джо хотел осторожно высвободить руку, но она удержала ее.

— Присядьте на минутку. У вас еще есть немного времени. Она мягко потянула его к себе, и он сел на краешке ложа.

Он смотрел на свою ладонь и ее загорелую, изящную шею. Без всякого удивления он увидел свои собственные пальцы, легко поглаживающие ее открытые плечи, так, словно они делали это уже тысячу раз, уверенно, не колебаясь...

— Я знала, что вы меня найдете... — тихо сказала она. — Как это странно... Сегодня утром, когда вы приехали, все будто вернулось, и будто я снова нахожусь там, в КВАРЕНДОН ПРЕСС, сижу за столом и боюсь даже обратиться к вам, когда вы входите к моему шефу... А теперь я уже не боюсь.

Она подняла обнаженные руки, и он почувствовал на затылке ее сплетенные пальцы. Она медленно притянула его к себе. Глаза у нее были сомкнуты, а губы приоткрыты. Поцелуй был таким, словно он давно знал эти губы, но все казалось нереальным и далеким, как пение сирен, перед которым не может устоять ни один моряк. Она мягко отстранила его.

— Ты должен идти...

Она лежала навзничь с закрытыми глазами. Грудь ее поднималась и опускалась, а вместе с ней и это страшное, кровавое пятно.

— Господи, как мне хорошо...

Глаза ее были по-прежнему сомкнуты.

— Это ведь не будет продолжаться вечно, и все лягут спать... Замок уснет, а я буду ждать, и не усну, пока ты снова меня не найдешь... А потом мы забудем об этом... И если когда-нибудь я встречу тебя в Лондоне, ты снова скажешь: «Давно мы с вами не виделись, Грейс. Что у вас нового?» А я отвечу, что ничего особенного, и что у меня все в порядке... Но это будет когда-нибудь потом, в Лондоне...

Стоя в ногах ложа, Джо еще какое-то время смотрел на нее. Она приоткрыла веки, глянула на него широко раскрытыми глазами, но уже не произнесла ни слова. Не улыбнулась и не шелохнулась.

Джо молча повернулся, медленно пошел к двери, открыл ее и вышел.

Яркий свет в большой комнате на мгновенье ослепил его, но наваждение не проходило. Он вынул ключ из замка, отнес его к камину и опустил в черный котел, из которого вынул. Джо посмотрел на часы. Четырнадцать минут. Возможно ли это?

Некоторое время он стоял посередине комнаты совершенно неподвижно. С мучительным усилием он старался подумать о чем-то разумном. Откуда берутся эти поразительные создания, против которых никто не может устоять? А ведь он ни на секунду не забывал о Каролине. Лицо ее промелькнуло в его мыслях, когда он целовал эти мягкие, холодные губы, к которым так тянуло... «Я буду ждать и не усну...»

— А я? — спросил Джо вполголоса.

Он медленно спускался по каменным ступеням, а когда оказался перед дверью столовой, остановился. Где-то высоко раздался отчаянный женский

вопль, снова зазвенели цепи, тихо и долго угасал плач заблудшей души. А за стенами замка по-прежнему грохотало бушующее море, и легкая дрожь пробегала по полу. Но хоть он и слышал все это, до него, казалось, не долетал ни единый звук. Наконец он усмехнулся, тряхнул головой и нажал на ручку.

Его встретил смешанный хор любопытных голосов.

— Мне повезло... — сказал Алекс, подходя к столу с напитками, — но удастся ли победить, не знаю.

Он налил себе полстаканчика и достал щипцами из ведерка два кубика льда. Опустив их в стакан, он молча ждал, пока виски охладится.

Тем временем Фрэнк Тайлер вытащил из вазы следующую бумажку.

— Сэр Гарольд Эддингтон! — триумфально объявил он. — Не кажется ли вам, что эти эсхатологические[1] часы могли бы стать достойным украшением вашего кабинета?

— Боюсь, — невозмутимо сказал сэр Гарольд, — что в моем министерстве не следует напоминать входящим о бренности дел этого мира. Мы стараемся, чтобы у них создалось диаметрально противоположное впечатление. Но поскольку я принял вызов на бой, то приложу все усилия, чтобы погибнуть с честью. Он взял запечатанный конверт и по знаку Фрэнка Тайлера направился к двери.

XVII

«Господь сжалился над тобой, Ева!»

Когда дверь за сэром Гарольдом Эддингтоном закрылась, Фрэнк Тайлер подошел к Алексу.

— Умоляю об одном, — сказал он, молитвенно сложив руки, — если вы нашли Белую Даму, не сообщайте никому из присутствующих ни одной, даже незначительной детали ваших поисков. Мы должны соблюсти правила до самого конца. Никакой помощи. Все рассчитывают сами на себя и свою наблюдательность.

Он обратился к присутствующим.

— Мы очень просим, чтобы никто из вас, вернувшись, не промолвил даже в шутку ничего, что могло бы послужить подсказкой.

— Это не в наших интересах, — Дороти Ормсби указала на часы своей маленькой ладошкой. — Любой из нас, кто хочет получить Смерть в свою собственность и быть уверенным, что она собственноручно отмерит ему последний час, не должен сочувствовать соперникам, не говоря уже об оказании им помощи!

Она придвинула свой блокнот и что-то записала. Фрэнк Тайлер взял Алекса под руку и отвел в сторону.

— Было нетрудно, правда? — тихо спросил он.

— Нет, — Джо покачал головой, — но сама постановка великолепна, у меня иногда даже мурашки по коже пробегали.

— Как вы считаете, еще кто-нибудь ее найдет? Будет ужасно, если окажется, что мы переоценили наших гостей, и вы — единственный, кто разгадал нашу загадку.

— Это польстило бы моему тщеславию, — Алекс улыбнулся и дружески похлопал его по плечу. Потом направился к Паркеру, которого увидел в углу зала. Паркер склонился к сидящей в кресле миссис Уорделл и вполголоса беседовал с ней. Пожилая леди подняла голову, явно заинтересованная его словами.

[1] Эсхатология — свод взглядов на тему конечных (посмертных) судеб человеческой личности, души и мира.

Лорд Редленд, Мелвин Кварендон и Аманда Джадд, которая опиралась на руку Фрэнка Тайлера, только что подошедшего к ним, беседовали, должно быть, о чем-то забавном, потому что Кварендон громко рассмеялся, а Редленд развел руками.

— Если найдется хоть какой-то фрагмент бижутерии, — говорил Кварендон, — или скажем, пряжка пояса от ее платья, заколка для волос, не говоря уже о такой удаче, как находка орудия убийства, я буду счастлив поместить их в своей скромной коллекции, разумеется, с подобающей надписью, описывающей действующих лиц этой драмы, место и час происшествия, а также причину, потому что уж она-то нам хорошо известна. Но есть ли у нас хоть малейшие шансы на это спустя три столетия? Ведь столько людей вели здесь поиски, с первого дня по сегодняшний. Предыдущий владелец этого замка, который купил его и переделал в нечто наподобие отеля, не раз пробивал эти стены. Он установил современную кухню, проложил трубы центрального отопления, провел электричество и оборудовал ванные комнаты. Но он не обнаружил даже следа скрытого помещения, в котором Эдвард де Вер мог бы спрятать свою жену. Граф не мог также выбросить тело через окно на скалы или в море, потому что уже тогда все окна и бойницы замка были забраны крепкими решетками, как и сейчас. Во время переделки в отель, решетки на окнах оставили, чтобы сохранить жутковатую атмосферу средневековья. Я, кстати, и сейчас не вижу причин, что-либо менять. Но она... Ведь какой-то след ее наверняка должен где-то остаться. Если бы вы завтра нашли хотя бы то место, где он ее спрятал — это уже было бы победой, поскольку это не удалось никому в течение трех веков.

— А что вы собираетесь делать с этим замком после окончания праздника по случаю издания пятимиллионного экземпляра книги нашей молодой симпатичной коллеги?

Джордан Кедж, которого Джо перед тем заметил еще издалека, сидящего под окном с доктором Харкрофтом, подошел теперь к ним и, задав вопрос, остановился за могучей спиной пухлого издателя.

Мистер Кварендон повернулся к нему в пол-оборота.

— Вот-вот! — добродушно ответил он. — То есть, вы хотите сказать, что легче купить замок с привидениями, нежели избавиться от него. К счастью, я вовсе не хочу от него избавляться!

Он слегка приподнялся на носочки и обвел собравшихся радостным взглядом, словно мальчуган, который не может дождаться случая открыть свою тайну.

— Наверняка это непосредственно касается некоторых лиц из числа собравшихся здесь... — Кварендон секунду помолчал, подыскивая нужные слова. — Наша фирма хочет создать на всех континентах клубы любителей КВАРЕНДОН ПРЕСС, а этот замок станет главным штабом и местом съездов их руководителей и членов, которых мы пожелаем особо отметить... Есть еще несколько других вопросов, связанных с этим, но я не хочу о них говорить, пока они не облекутся в плоть. Во всяком случае, это будут читатели ваших книг, и, я надеюсь, вы тоже время от времени захотите появляться среди нас.

Дороти Ормсби поднялась со стула с записной книжкой в одной руке, карандашом в другой, и медленно подошла, остановившись за их спинами.

— А знамя КВАРЕНДОН ПРЕСС будет развеваться на башне? — серьезно спросила она с выражением лица взволнованного подростка. Джо, который был знаком с ней много лет, усмехнулся про себя.

— Вы ведь понимаете, Дороти: я мечтаю о том, чтобы штандарты КВАРЕНДОН ПРЕСС развевались на многих башнях! Но я был бы безмерно счастлив, если б завтра кто-нибудь из вас разгадал загадку подлинной

Евы де Вер. Это облагородило бы нашу резиденцию и доказало бы, что ни одна тайна не устоит перед таким великолепным букетом умов, как тот, который сегодня здесь собран.

— В таком случае было бы поистине чудесно, если бы кто-нибудь из нас вздумал совершить здесь настоящее преступление. Вы думали об этом, мистер Кварендон? — личико Дороти выражало восторг.

— О, это было бы слишком красиво, чтобы произойти в действительности... — ответил Кварендон и сморщил лоб, пытаясь вспомнить, где и кто недавно задал ему этот же вопрос.

В ту же минуту дверь отворилась. Сэр Гарольд Эддингтон вошел и спокойно приблизился к стоявшим.

— Прошло ровно пятнадцать минут после вашего ухода, — сэр Гарольд, — объявил Фрэнк Тайлер, глянув на часы. — У меня есть лишь один, разрешенный регламентом вопрос: вы нашли ее?

Сэр Гарольд молча отрицательно покачал головой, развел руками и содрогнулся:

— Эти все голоса и звуки отвратительны...

«Он не нашел ее»... — подумал Джо и закрыл на мгновение глаза. Тусклый свет свечи, великолепное стройное тело на золотисто-пурпурном покрывале... обнаженные плечи... «Я не усну»...

— Мистер Джордан Кедж! — возвестил Фрэнк Тайлер. Он уже стоял возле столика, на котором покоилась черная ваза:

— Прошу, вот ваш конверт!

Кедж взял конверт, сломал печать, вынул листок и быстро пробежал взглядом.

— Еще пять секунд, — сказал Тайлер, — еще две, одна, старт!

И Джордан Кедж тихо прикрыл за собой дверь. За окном прокатился далекий гром.

— Буря возвращается, — сказал Паркер. Он расстался с миссис Уорделл, и подошел к Алексу.

— О чем ты с ней так долго беседовал? — тихо спросил его Джо и покосился в сторону неподвижно сидевшей пожилой дамы. К ней подошла Аманда Джадд, и спросила о чем-то, чего Джо не расслышал.

Миссис Уорделл подняла голову и улыбнулась с тем очарованием, которое иногда присуще лишь старым женщинам и так сильно отличается от очарования юных девушек.

— Это очень интересная личность, — Паркер покивал головой, словно желая подтвердить, что его слова — не просто дань вежливости. — Говорили мы, разумеется, о призраках. Все ее близкие уже умерли, даже дочь и взрослый внук. Какие-то трагические несчастные случаи. Она не распространялась об этом, и не производила впечатления человека, который пережил трагедию. О каждом из покойных она говорила так, будто он жив. Если бы я не слушал ее внимательно, то мог бы подумать, что все трое остались дома и она уже начинает скучать по ним. Она также говорила о привидениях в общем. Она знала, кто я такой, и стала говорить о призраках людей, которые стали жертвами преступлений... а потом перешла на несчастную хозяйку этого замка, убитую триста лет назад. И о ней она тоже говорила как о живом человеке, оказавшемся в исключительно трудном положении. Она ей сочувствовала и выражала надежду, что, в конце концов, все завершится счастливо, в том смысле, что какая-то другая низкая женщина погибнет в этом замке и освободит Еву. Я спросил, а надо ли будет этой, следующей, тоже ждать сотни лет, пока найдется третья, и должно ли так продолжаться бесконечно. Она ответила, что нет. Круг замкнется и наступит тишина.

— Ты говоришь до того проникновенно, будто сам абсолютно уверен, что именно так и выглядит извечная справедливость, — Алекс улыбнулся. —

Это комплимент для старой дамы. Совершенно очевидно, что она умеет убедительно рассказывать об этих делах.

— Я всего лишь простой офицер полиции, Джо. Я видел сотни умерших, в основном убитых, но ни единого призрака. Было также пару убийц, которых в мои молодые годы, когда еще не отменили смертную казнь, я довел до виселицы. И я никогда не задумывался над тем, что с ними может происходить потом, после всего. И о жертвах их преступлений я тоже не думал подобным образом. Когда смотришь на убитого человека, знаешь — случилось нечто необратимое, окончательное. Но миссис Уорделл иного мнения... То есть, она глубоко верит, что все обстоит иначе. И верит, что существуют тысячи доказательств тому. Она обещала, что когда все закончится, даст мне свою книгу, которую привезла сюда.

— А не помнишь названия?

— Кажется, что-то вроде «Появляются ли призраки и почему?» Она говорит, что эту книгу любит больше всех, написанных ею до сих пор, ибо она содержит как бы всю теорию и очень много примеров, подтвержденных многочисленными, серьезными и заслуживающими доверия свидетельствами.

— Дашь мне почитать, когда вернемся в Лондон, — Джо взял его под руку, и они направились в другой конец зала, где находились накрытые столы. — Я вдруг жутко проголодался, — он глянул на часы. — Если не ошибаюсь, уже прошло пятнадцать минут с тех пор, как Кедж покинул нас.

— Господи! — тихо охнул Паркер, когда они остановились перед подносом, заполненным бутербродами с икрой, и Джо взял ближайший из них. — Через минуту мистер Тайлер может меня вызвать. Если мне не удастся найти ее, а Дороти Ормсби где-нибудь это опишет, я стану посмешищем всего Скотланд-Ярда!

— Выше голову! — Джо взял второй бутерброд. — Мы уже сейчас знаем, что ты будешь не одинок. Кварендон и Эддингтон тоже ее не нашли.

— Да, но я — сыщик! То есть был им, — Паркер вздохнул, — пока не поднялся по служебной лестнице слишком высоко, и теперь мозг мой начинает ржаветь. Но несмотря на это... — он не закончил, потому что дверь открылась, и вошел Джордан Кедж.

— Вы отсутствовали восемнадцать минут! — воскликнул Тайлер. — Значит ли это, что вы ее нашли?

— Нашел!

Кедж покраснел. Глаза его блестели, и Джо внезапно понял, насколько важным было для этого стареющего писателя найти Белую Даму. Они с Паркером подошли к нему.

— Старый конь борозды не портит! — сказал Кедж. — Пока нас только двое! Это не было так уж трудно, за исключением одного вопроса.

Алекс приложил палец к губам.

— Нам нельзя ничего комментировать. Поговорим обо всем, когда последний участник отправится в путь, и мы будем знать, что уже никто не извлечет из нашего разговора никакой пользы.

— Да, конечно! Я и забыл, что...

Он не закончил, потому что Фрэнк Тайлер опустил руку в вазу и объявил:

— Лорд Фредерик Редленд!

Редленд взял конверт, сломал печать и, вынув листок, медленно стал читать его.

— Три секунды, две... старт!

Редленд оставался на месте, поэтому Фрэнк Тайлер легко взял его под руку и провел к двери.

— Милорд, вы теряете драгоценные секунды.

Редленд медленно вышел, по-прежнему вглядываясь в карточку. Фрэнк закрыл за ним дверь.

— Пока что мы разделились поровну, — заявил он. — Двое достигли цели, а двое — нет.

Фрэнк огляделся и увидел Аманду, беседующую с миссис Уорделл, которая, к его удивлению, как раз подносила к губам широкий бокал, до половины наполненный золотистым коньяком. Он подошел к ним.

Тем временем Алекс раскурил трубку и опустился в кресло рядом со столиком Дороти Ормсби, которая быстрыми, мелкими движениями карандаша заполняла очередную страницу своей записной книжки. Наконец она закончила писать, отложила карандаш и подняла голову.

— Я как раз думал о том, — сказал Алекс, — что вы записываете, Дороти. Относятся ли ваши заметки к тому, что здесь происходит?

— Разумеется. Я полагаю, вы не думаете, что я начала писать детективный роман? — Дороти улыбнулась. — Я предпочитаю оценивать других. Кроме того, я совершенно лишена воображения. Я могу лишь описывать то, что вижу, и, разумеется, то, что прочла. Но чужие книги — это тоже определенная действительность.

— А здесь, в этот вечер, вы нашли что-нибудь достойное внимания?

— О, много всего! — тонким указательным пальцем Дороти постучала по корешку записной книжки.

— У вас гораздо больше воображения, чем у меня. Я ничего особенного не заметил. Конечно, мы по очереди выходим и возвращаемся, но вы, разумеется, не это имели в виду?

Она отрицательно покачала головой.

— Я, конечно, записываю и очередность выходящих, но лишь для того, чтобы позже, дома, восстановить для себя все это забавное событие и его маленькие, побочные линии, — она понизила голос. — Возьмите, например, доктора Харкрофта. Он тут не ощущает себя уверенно, потому что не принадлежит к этому кругу, а приехал лишь как врач мистера Кварендона. Минуту назад я подошла к нему и спросила о чем-то, — просто так, чтобы обменяться с ним парой слов. Мне показалось, что он чувствует себя как-то одиноко. Он тут же разговорился, но при этом явно нервничал. Оказалось, что Джордан Кедж подсел к нему и долго выпытывал о действии ядов, причем особо интересовался смертельными и действующими мгновенно. Кедж хотел знать, как их можно приобрести или изготовить в домашних условиях. Харкрофт вначале давал уклончивые ответы, но когда Кедж объяснил, что сведения о ядах необходимы ему для новой повести, отослал его к учебнику токсикологии. Он сказал мне, что Кедж тут же записал название и фамилию автора, словно ему никогда раньше не приходило в голову, что сведения о ядах можно получить, не приставая с этим вопросом к врачам...

— Да, — произнес Алекс не совсем уверенно, — я понимаю, но...

— Не уверена, понимаете ли вы, что я имею в виду. Но совершенно уверена, что вы не догадаетесь, что я по этому поводу записала.

Алекс молча поднял брови.

— Вот-вот! — Дороти взяла записную книжку, будто хотела прочесть соответствующий фрагмент, но тут же положила ее обратно на столик. — Думаю, что Кедж вообще не собирался использовать знания доктора Харкрофта. Просто он хотел показать себя перед доктором известной личностью, автором детективных романов, который очень серьезно относится к своей творческой миссии и ищет совета специалиста, чтобы не допустить даже малейшей неточности. А учебник токсикологии, о котором упомянул Харкрофт, наверняка давно лежит у него дома, ну, если не этот, то пять

других. Но ему, стареющему, теряющему популярность писателю, такая беседа вероятно доставила огромное удовольствие... И, кстати говоря, после его возвращения, когда оказалось, что он, как и вы, все же отыскал эту Белую Даму, разве не подошел он к вам и не сказал чего-то, вроде: «Вот, дескать, мы с вами — подлинные профессионалы, а не то, что эти бедняги-любители, которым сперва кажется, что любую подобную загадку они в состоянии без труда разгадать, а потом оказывается, что на деле они беспомощны, как дети?»

— Дороти, — Алекс, улыбаясь, положил руку на ее маленькую ладошку, придерживающую записную книжку, — вы исключительно жестокий и, наверно, очень умный человечек. Но, думаю, вы будете удивлены, когда услышите, что сегодня, глядя на вас...

Он умолк, потому что дверь открылась, и вошел лорд Фредерик Редленд.

Прежде, чем Фрэнк Тайлер успел задать ему вопрос, он остановился в центре зала и объявил:

— Могу вас заверить, мистер Кварендон, что ваши прелестные часы не станут моей собственностью... о чем я весьма сожалею.

Дождь ударил по стеклам окон, и одновременно с ним нарастающий вой вихря налетел со стороны моря, а затем утих, умчавшись к невидимому берегу.

— Дамы и господа! — воскликнул Фрэнк Тайлер. — Жребий решил, что теперь свое многократно проверенное умение связывать воедино разрозненные факты проявит мистер Бенджамин Паркер, ас Скотланд-Ярда!

— О, Господи! — вздохнул Паркер и поднялся со стула, на котором сидел последние несколько минут, разглядывая собравшихся. — Умоляю, не издевайтесь надо мной! Через четверть часа я вернусь, и все присутствующие сразу найдут причину усомниться в качестве заботы, которой британская полиция должна окружать граждан.

Он протянул руку, взял конверт, сломал печать и, вынув листок, начал его читать.

— Пять секунд... две... старт! — прокричал Тайлер.

Паркер двинулся к двери, в последний момент отыскал взглядом Джо Алекса и слегка развел руками. Затем исчез за дверью.

— Вы снова скажете, что у меня гнусный характер, — Дороти Ормсби взглянула на Алекса своими невинными глазами. — Но разве вы не заметили, что бедный комиссар Паркер боится? Это, несомненно, очень смелый и закаленный человек, который не раз сталкивался лицом к лицу со множеством опасностей... А знаете, кого он боится?

— Знаю, — ответил Джо.

Они оба рассмеялись, но Дороти внезапно стала серьезной.

— Я бы никогда этого не сделала.

— Правда? — Алекс посмотрел на нее. — А почему? Ведь в репортаже о событиях сегодняшней ночи в замке «Волчий Клык» это был бы очень эффектный фрагмент.

— Потому, что если даже Бенджамин Паркер не отыщет Белую Даму и вернется побежденным, он не заслуживает осмеяния. Напротив. Мне кажется, что это прекрасный человек.

— Я в этом глубоко убежден, — Алекс серьезно кивнул головой.

— А я не такой уж жестокий человечек, — тихо сказала Дороти. — Просто я не выношу бесталанных людей, которые хотят добиться славы и денег, занимаясь профессией, для которой непригодны.

— Это не совсем справедливо. Ведь бесталанный человек не знает об этом. Он убежден в своем таланте, и его трудно переубедить.

— Именно в этом и заключается моя профессия. Если моя критика не может повлиять на него, она наверняка влияет на издателей и читателей.

Когда я была моложе, я очень страдала, написав о ком-то плохо в своей рецензии, но сейчас я точно знаю, что...

Она не договорила. Фрэнк Тайлер подошел и склонился над ней.

— Через минуту вернется мистер Паркер и вас останется только трое: вы, миссис Уорделл и доктор Харкрофт. Как вы себя чувствуете перед большим испытанием? Никакого волнения?

— Театральный критик не обязан писать пьесы, — Дороти лучезарно улыбнулась ему. — Критик детективной литературы не обязан быть сыщиком, — она повернулась к Алексу. — Но мне очень хотелось бы ее отыскать. Кажется, я все же несколько тщеславна.

— Сейчас вернется мистер Паркер, — Фрэнк потер руки. Глаза его блестели, и он был явно возбужден.

Джо подумал, что забота о столиках с алкогольными напитками, стоящими у стены, наверняка тоже оказала на это влияние. Тайлер улыбнулся, подошел к миссис Уорделл, взял со столика пустой бокал и, по-видимому, задал какой-то вопрос — старая леди отрицательно покачала головой и что-то ответила. Тайлер с пустым бокалом направился к столу с напитками, возле которого Кедж, лорд Редленд, Эддингтон и мистер Кварендон обступили Аманду Джадд. Неподалеку от них доктор Харкрофт серьезно и сосредоточенно наливал из бутылки темный ирландский виски в бокал, на дне которого лежали кусочки льда.

— Вот он! — воскликнул Тайлер.

Все повернулись в его сторону, а затем перенесли взгляды на стоявшего в дверях человека, который направился в сторону Дороти и Алекса, но остановился и взметнул вверх сжатый кулак с победно выставленным большим пальцем.

— Разумеется! — сказал мистер Кварендон. — Вам это не могло составить ни малейшего труда!

Паркер, как бы извиняясь, развел руками, словно желая сказать, что это не его вина. Затем подошел к Алексу и Дороти.

— Позвольте присесть возле вас?

— Меня с самого утра восхищает ваше присутствие, — шепнула Бену Дороти. — Вы в тысячу раз интересней, чем вся эта армия бумажных сыщиков, с которыми я обычно имею дело и...

Она не закончила, потому что Фрэнк Тайлер в очередной раз выполнил свою обязанность и, вынув из вазы бумажку, развернул ее.

— Мисс Дороти Ормсби, которая умеет обнаружить малейшую ошибку в работе других, имеет сейчас возможность продемонстрировать нам собственную безошибочность!

— Я знала, что он скажет нечто подобное, — пробормотала Дороти, поднимаясь с места.

Затем она подошла к Тайлеру, взяла конверт, сломала печать и пробежала взглядом по листку.

— Старт! — воскликнул Фрэнк, повернулся и записал время на своем листке.

Миниатюрная, стройная и прямая Дороти Ормсби скрылась за дверью.

— Господи, — сказал Паркер, — я успел в последний момент! — он понизил голос. — Какое это счастье, когда у полицейского есть жена, которая любит ходить в театр. Я видел, что там висят гравюры с героями Шекспира, поэтому лошадка и корона напомнили мне о Ричарде III. Если бы не это, Джо, я стоял бы там до сих пор! Все остальное было уже просто, но у меня волосы поднялись дыбом, когда я туда вошел. В первую секунду я подумал, что с ней действительно что-то случилось. И этот огромный, окровавленный меч...

— А как тебе понравилась сама мисс Мэплтон? — безучастно спросил Джо.

— Очень странная девушка. Она красива, но мне все время было как-то не по себе. Она сказала, что время для нее стало тянуться медленно и спросила, сколько еще человек будут ее искать. Я ответил, что всего лишь три и вышел, потому что уже истекала пятнадцатая минута. Но у этой девушки какой-то необычный голос. Рядом с ней чувствуешь себя как-то странно... я не могу этого точно выразить.

— Думаю, ты прав, — Алекс встал. — Надо чего-нибудь выпить и перекусить. Для нас конкурс уже закончился.

Они направились в сторону беседующих мужчин, от которых отделилась Аманда с чашечкой кофе для миссис Уорделл, сидящей в своем кресле с неизменной, безмятежной улыбкой.

— Пока у нас есть три возможных победителя: два писателя и вы, комиссар! — мистер Кварендон был явно доволен, что не оказался единственным, кому не повезло.

Где-то вверху раздался приглушенный грохот выстрела, душераздирающий вопль и глухая, жалобная барабанная дробь, которая постепенно стихла.

— Налить вам что-нибудь? — спросил Фрэнк, обращаясь к Алексу и Паркеру.

— Я буду пить то же, что пьет восхитительная миссис Уорделл, — тихо сказал Алекс, — разве только чуть побольше. Кажется, это был арманьяк?

— Вы угадали! Она сказала, что каждый вечер выпивает одну рюмку коньяка и затем великолепно спит без всяких снов. Сны, утверждает она, это психический мусор этого мира, а вовсе не образы иного.

Тайлер глянул в сторону сидящей у противоположной стены старушки, которая в этот момент слегка наклонилась к Аманде, объясняя ей что-то. На лице у нее по-прежнему оставалась безмятежная, почти ангельская улыбка.

— А вы? — обратился Тайлер к Паркеру.

— Пожалуй, виски... но не беспокойтесь...

Паркер подошел к столу, взял стакан, открыл крышку емкости со льдом и положил четыре кусочка. Затем налил себе тот же ирландский виски, который пил Харкрофт. Потом покинул мужской круг и направился в сторону стола с едой. Джо поднес к губам свой коньяк и отпил маленький глоток. Он хотел было двинуться вслед за приятелем, но его остановили слова лорда Редленда, произнесенные спокойным деловым тоном.

— Следует признать, что дух леди Евы де Вер весьма толерантно относится к нам сегодня вечером. Ведь ее трагическая смерть послужила нам поводом для игры. А она, как бы ничего против этого и не имеет. Не реагирует, не мстит нам... что, к сожалению, служит убедительным доказательством того, что духов не существует, а рационалисты правы. Должно быть, так оно и есть, но мне чуточку жаль сверхъестественного мира, в котором могло бы происходить столько чудесных вещей.

Мистер Кварендон быстро обернулся, но миссис Уорделл была полностью поглощена разговором с Амандой Джадд. Толстяк-издатель приложил палец к губам, указывая взглядом на старушку.

— Давайте сменим тему, — шепнул он. — Если б она услышала, ваши слова очень огорчили бы ее, милорд.

— Тысяча извинений, — Редленд покраснел. — Я совершенно забыл, кто она.

— А, собственно, кто она? — спросил Кедж вполголоса.

— Она — один из крупнейших знатоков того, что происходит по ту сторону... — не повышая голоса, сказал Кварендон и вдруг выпрямился. — Я должен издать ее следующую книгу! — неожиданно воскликнул он. — Говорят, она очень популярна. Люди ее читают.

Доктор Харкрофт прислушивался к разговору, потягивая свой виски. Мистер Гарольд Эддингтон оторвался от группы мужчин, подошел к окну, отодвинул штору и выглянул во тьму. Затем вернулся.

— Дождь прекратился, — сказал он, обращаясь к мистеру Кварендону, который промолчал в ответ.

Алекс с бокалом в руке подошел к Паркеру, который уселся за одним из маленьких столиков, держа перед собой тарелку с холодным мясом, нарезанным ломтиками и украшенным кровавыми каплями густого соуса.

— Превосходная мысль! — одобрил Джо и осмотрелся, разглядывая блюда с закусками.

— А вот и я!

Он обернулся.

Дороти Ормсби стояла посреди зала, грациозная и юная, а вся ее стройная фигурка излучала гордость. Она высоко подняла голову и подошла к Фрэнку Тайлеру.

— Вы — гений режиссуры! — сказала она. — Жаль, что не могу сейчас ничего больше добавить. Я думаю, мне полагается бокал очень хорошего, ароматного коньяка!

Возникло небольшое замешательство. Алексу, стоявшему поодаль, показалось, что все одновременно бросились исполнять ее желание. Лишь лорд Фредерик Редленд отступил на шаг, а затем направился к Аманде и миссис Уорделл, но остановился, ибо Фрэнк еще раз вынул из вазы свернутую бумажку и прочел:

— Миссис Александра Уорделл, единственная, кто действительно знает, что происходит в этом замке!

Старая леди встала. Аманда взяла ее под руку, а Фрэнк подбежал с конвертом.

— Вы хотите идти одна? — спросила молодая женщина. — Я не принимаю участия в этом конкурсе и охотно пойду с вами.

Миссис Уорделл с улыбкой взглянула на нее.

— Я не боюсь ни призраков, ни живых людей, дитя мое. Я знаю, вы беспокоитесь, смогу ли я там передвигаться одна. Я очень вам благодарна, но, к счастью, мои ноги еще кое-как меня носят и, думаю, они справятся с лестницами этого замка. Раз уж мне надо принять участие в этой игре, то я сделаю это на тех же условиях, что и остальные, — она погладила Аманду по щеке. — Еще раз спасибо, милая, но, пожалуй, пора открыть этот конверт...

Ее маленькие ручки с трудом сломали печать. Она с минуту читала, а затем кивнула головой, словно соглашаясь с невысказанными мыслями.

— Старт! — подал команду Фрэнк Тайлер значительно тише, чем тогда, когда выпускал ее предшественников.

Аманда подошла к двери, отворила ее и закрыла, когда старая дама вышла.

— Интересно... — сказал мистер Кварендон. — У меня промелькнуло ощущение, что она все разгадает без малейших усилий... Словно и в самом деле она не от мира сего, и у нее постоянный контакт с тем миром. Почти невозможно где-нибудь увидеть такое невероятно спокойное и безмятежное лицо.

— Кто еще остался? — спросил Кедж и окинул взглядом присутствующих.

— Действительно! Всего один человек! Вы, господин доктор!

Харкрофт кивнул головой.

— Да, я знаю. Может, надо немного сосредоточиться? — он попытался, улыбнуться, но тотчас стал серьезным.

Дороти Ормсби подмигнула Алексу. Он ответил ей, чуть приподняв руку над тарелкой. Дороти без сомнения умела вылавливать маленькие,

незаметные внутренние конфликты, вроде этого: врач, как бы затерявшийся среди людей, по-разному связанных с преступлением, который, быть может, в глубине души мечтает оказаться не хуже этих людей и стремится достичь того, чего достигли лишь некоторые из них.

Проходили минуты. Джо быстро перекусил и вместе с Паркером направился к кофейному автомату. Он немного устал. Сегодня пришлось встать гораздо раньше обычного.

Он сел с чашкой кофе под окном, стараясь избавиться от образа, который настойчиво возникал в его мыслях: пурпурно-золотое покрывало, а на нем...

Время шло.

Дверь отворилась как бы нерешительно, поскольку миссис Уорделл попрежнему держала ручку. Она сделала шаг вперед, огляделась невидящим взглядом, а затем произнесла тихо и отчетливо:

— Господь сжалился над тобой, Ева.

И опустилась на ковер, покрывающий каменный пол.

XVIII

Глаза ее были широко открыты...

К ней бросились все, но доктор Харкрофт успел первым и опустился на колено подле миссис Уорделл, сделав знак рукой, чтобы остальные не приближались. Он приподнял безжизненную руку старой дамы и попытался нащупать пульс, а затем приложил ухо на уровне сердца к ее серому платью. Все затаили дыхание.

— Господи, — шепнула Аманда, — лишь бы с ней ничего не случилось!

— Обморок, — Харкрофт быстро осмотрелся. — Я прошу вас перенести ее на диван, там, в углу, и положить что-нибудь под голову и плечи, чтобы она полусидела. К счастью, мой саквояж здесь. Сделаем ей укол эфедрина и, думаю, все будет в порядке.

Несмотря на спокойный тон, которым он произнес эти слова, Джо отметил в его голосе какую-то нерешительность. Харкрофт быстро направился к двери и закрыл ее за собой. Неподвижно стоявшие люди ожили. Алекс и Паркер подняли легкое, бесчувственное тело и осторожно уложили на диван. Паркер огляделся, потом снял вечерний сюртук, свернул и подложил под плечи и голову миссис Уорделл. Веки ее были опущены, а рот слегка приоткрыт. Джо отметил, что серое, украшенное тонким белым кружевом платье, легко вздымается и опадает. Старая дама дышала ровно.

— Я похвалила вашу великолепную постановку, — тихо сказала Дороти Ормсби, обращаясь к стоявшему рядом Тайлеру, — но, кажется, она оказалась слишком реалистичной! Бедняжка, должно быть перепугалась и...

Она не закончила, потому что вошел Харкрофт, на ходу открыл свой черный саквояж и присел возле миссис Уорделл. Он вынул разовый шприц, наполнил его прозрачной жидкостью и обратился к стоявшей ближе всех Аманде Джадд.

— Будьте любезны, приподнимите, пожалуйста, повыше левый рукав ее платья.

Аманда послушно выполнила поручение. Остальные слегка отступили, словно не желая проявлять излишнего любопытства. Харкрофт легким движением вонзил иглу. Миссис Уорделл даже не дрогнула. Он медленно ввел лекарство, а затем резким движением вынул иглу.

— Не опускайте рукав, пожалуйста, — сказал он Аманде, потянулся к саквояжу, вынул из небольшой никелированной коробочки кусочек ваты,

открыл маленькую бутылочку, поднес к ней вату, а затем приложил к месту, где виднелся точечный след от укола.

— Опустите, пожалуйста, рукав, — доктор закрыл саквояж и выпрямился. — Надеюсь, через минуту она придет в себя, — он снова наклонился, поднял с ковра оставленный там шприц и осмотрелся. — Если можно, заверните это, пожалуйста, во что-нибудь и выбросьте в корзину для мусора.

Он подал шприц Аманде, которая кивнула головой и быстро покинула круг стоявших, как бы обрадовавшись, что может сделать что-нибудь полезное. Взгляд доктора вернулся к миссис Уорделл.

— Боже мой, — дрогнувшим голосом сказал мистер Кварендон, — это наша общая вина. Не надо было отпускать ее одну. Этот замок и эти жуткие голоса всем действуют на нервы.

— Но вы сами настаивали на этом, когда мы планировали вечер, — тихо возразил Фрэнк Тайлер. — Вы сказали, что немного ужасов не помешало бы.

— Немного! — проворчал Кварендон и умолк, потому что доктор поднял руку, будто призывая к тишине.

Миссис Уорделл шевельнулась и открыла глаза. Несколько секунд она неподвижно смотрела в потолок, потом медленно опустила взгляд и увидела окружавших ее людей.

— Она мертва, — прошептала старая дама. — Время описало круг и остановилось...

Она снова закрыла глаза, и доктор Харкрофт шагнул было к ней, но она тут же открыла их. И, словно вторя собственным мыслям, кивнула головой, слегка приподняв ее.

— Миссис Уорделл, это была всего лишь игра! — сказала Дороти с напускной веселостью. — Я тоже перепугалась, когда ее нашла. Если хотите, кто-нибудь может пойти и привести ее сюда.

— Нет, дитя мое... — шепнула миссис Уорделл. — Поздно.

— Я сейчас приведу ее, и тогда вы сможете спокойно отдыхать в своей комнате, не так ли, доктор? — Джо сам не знал, почему так легко вырвалось у него это предложение. Не оглядываясь, он направился к двери и вышел.

Лестница.

Где-то высоко над ним начал звучать «Траурный марш» Шопена и внезапно оборвался. Пауза и взрыв демонического хохота. Снова несколько проникновенных тактов Шопена.

Тишина.

Он был уже наверху, быстро прошел по коридору и толкнул дверь библиотеки. Все лампы горели. Рыцарские доспехи стояли по обе стороны сундука, книги дремали на полках, а черный котелок матово поблескивал в глубине камина. Джо подошел к парчовому ковру в углу комнаты и отодвинул его.

Внезапное беспокойство охватило его, и сердце стало биться чаще. Он глубоко вздохнул. Дверь была приоткрыта, и в ней торчал ключ с привязанной к нему карточкой.

Джо потянулся было к дверной ручке, но опустил руку и легонько толкнул дверь носком туфли.

Полоса слабого света. За сдвинутыми занавесками ложа горела свеча. Он сказал:

— Грейс, я пришел за вами. Игра окончена. Вас ждут в столовой.

Тишина.

Джо медленно подошел. Спазм внезапно сжал его горло. Он раздвинул занавески и поднял взгляд.

На пурпурно-золотистом покрывале лежала Грейс Мэплтон. В ее широко открытых глазах не было ужаса. Они смотрели спокойно, даже без удивления. А из белого платья, точно под левой грудью, торчало широкое

лезвие огромного обоюдоострого рыцарского меча, вонзенного так глубоко и с такой ужасающей силой, что оно, должно быть, прочно застряло в досках ложа и потому казалось, что это прекрасное тело покоилось, как огромная белая бабочка, пробитая гигантской шпилькой. Платье и ложе пропитались кровью.

Джо отвел взгляд от мертвой девушки и провел рукой по лицу.

— Спокойно, — прошептал он, — ради бога, только спокойно! Он тряхнул головой и осмотрелся. «Я не усну... Я буду ждать...»

Джо сделал глубокий вдох. Потом осторожно отступил и обошел ложе. Свеча была почти новая.

Потушенный огарок лежал на столике рядом с листком и карандашом. Джо склонился и прочел последнюю запись:

«Мисс Ормсби — 10.59».

А перед этим:

«Мистер Алекс — 9.05.»

«Мистер Кедж — 9.51...»

«Мистер Паркер — 10.35...»

Он взглянул на часы: 11.50. Через десять минут наступит полночь. Джо осторожно отступил, еще раз посмотрел на ложе и заглянул в неподвижные открытые глаза. Это было невероятно — этот страшный огромный меч, словно крест с короткой поперечной перекладиной, стоящий на могиле... Он закрыл глаза. Мысли неслись, как бешеные. Нет, это просто невозможно... Невозможно? Но ведь случилось. Конечно, оставалось одно очень простое объяснение. Если...

Джо отступил и шагнул к выходу. Он приподнял занавес, стараясь не прикасаться к двери и вышел в ярко освещенную библиотеку. Но тут же остановился и быстро вернулся.

Джо снова обошел ложе, наклонился и задул свечу. Затем осторожно, ощупью вернулся к двери.

Когда он появился на пороге столовой, все сразу повернулись к нему. Миссис Уорделл сидела на диване. Укол явно вернул ей силы.

Не переступая порога, Джо отыскал глазами Паркера.

— Дамы и господа... произошел несчастный случай, — сказал он, стараясь говорить как можно спокойнее. — Можно тебя на секунду, Бен?

Паркер вскочил с кресла.

— Мы через пару минут вернемся, а до этого времени я очень прошу всех оставаться здесь. Пусть никто не покидает эту комнату ни под каким предлогом, — Алекс жестом извинения развел руками.

Паркер вышел первым, миновав его на пороге, а Джо тихо прикрыл за собой дверь и направился к лестнице, ведущей на второй этаж.

— Что случилось?

— Грейс Мэплтон мертва.

— Как это произошло?

Сейчас они находились на лестничной площадке. Не отвечая, Джо спросил:

— Ты взял с собой оружие?

— Да, — Паркер кивнул головой, — сам не знаю зачем бросил пистолет в чемодан. Скажи, бога ради, что случилось?

— Она убита, и при этом таким способом, что никто из людей, которые находятся сейчас внизу, не мог ее убить. Убийца должен находиться в замке, но это не один из них. Поэтому я велел им оставаться в столовой. Вместе они в большей безопасности.

Паркер открыл дверь своей комнаты, приподнял крышку стоявшего у стены чемодана и пошарил ладонью под ровно уложенными сорочками. Он отыскал пистолет, проверил обойму и они вышли.

«Буду ждать...» Да, в этом одном можно не сомневаться. Она будет ждать, пока ее не вынесут, для того, чтобы доставить это прекрасное, холодное тело на вскрытие. Таковы правила, которых следует придерживаться, когда один человек гибнет от руки другого человека.

XIX

И все же ее кто-то убил...

Они остановились перед опущенным ковром, и Джо осторожно отодвинул его. Дверь по-прежнему была приоткрытой, а за ней простирался густой полумрак. Оставив Паркера за спиной, Алекс остановился на пороге и провел рукой по стене.

— Здесь должно быть электричество, — сказал он вполголоса, — раньше горела свеча, но я погасил ее. Потом скажу тебе, почему.

Он нащупал пальцами выключатель, и под потолком зажглась лампа молочного цвета, свисающая на трех позолоченных цепочках с крючка, ввинченного в стропило.

Комната была почти пустой. Перед ложем на толстых дубовых досках лежал слегка потертый старый персидский ковер. И это было все.

— Она там, — сказал Алекс, не повышая голоса.

Они подошли. Джо поднял руку и раздвинул тяжелую ткань занавески.

Паркер не шелохнулся. Джо поднял вторую руку и раздвинул занавеску настолько, насколько это было возможно. Взгляд Паркера скользнул по неподвижному, лежавшему навзничь телу, а затем поднялся вверх, вдоль лезвия меча и остановился на длинной рукояти, плотно оплетенной почерневшей серебряной проволокой.

— Даже во времена рыцаря де Вер им уже не пользовались, — сказал Алекс. — Его применяли только в пешем бою... Он требовал очень большой физической силы.

— Я знаю, — Паркер посмотрел на девушку. Затем взгляд его снова обратился к мечу. — Я думаю об этом...

— И я, — Алекс обошел ложе, приподнял покрывало и заглянул под него. Потом взял со столика спички и зажег свечу.

— Таким было здесь освещение, когда я сюда вошел. Меч лежал поперек в ногах, а она притворялась мертвой и лежала с закрытыми глазами... Бен, она точно так же лежала, когда ты ее увидел, войдя сюда?

— Да. Любой, кто бы ни вошел в комнату, мог без помех подойти к ложу, взять этот гигантский меч в обе руки, занести его над головой и ударить. Даже если бы Грейс открыла глаза и увидела его, то не успела бы шевельнуться. Так это должно было произойти...

— Вот именно, — сказал Джо. — Это должно было так произойти, но не могло... если только в замке не прячется человек, который убил ее. Потому что это не может быть никто из тех людей, которые находятся сейчас в столовой, и кто был с нами с того момента, когда из замка отправили прислугу и заперли ворота.

— И тем не менее, — Паркер покачал головой, — она мертва, не так ли?

— Да, — Джо протянул руку и коснулся пятна крови, которое широко расползлось по платью в том месте, где торчал меч. — Кровь еще не свернулась.

Он глубоко вздохнул, секунду поколебавшись, взял мертвую руку, медленно согнул ее в локте и осторожно выпрямил, аккуратно возвращая в прежнее положение.

— Смерть еще не поселилась в этом теле. Впрочем, мы и так знаем, что еще час назад она была жива, — он повернулся и задул свечу. — Эту свечу тоже недавно зажгли. Он взял со столика листок с записями. — Сейчас пять минут по полуночи. Может, вернемся немного назад: в восемь вечера Фрэнк Тайлер сделал снимки у ворот, и все перешли в столовую. С этого момента, Бен, возникла удивительнейшая ситуация, а именно: каждый по очереди, но всегда только один и в полном одиночестве блуждал по замку, а все остальные находились в столовой и, насколько мне известно, никто оттуда не выходил. Впрочем, это и предполагал написанный заранее регламент конкурса. Аманда Джадд, Фрэнк Тайлер и доктор Харкрофт вообще не покидали столовую: первые двое не могли этого сделать, поскольку были устроителями и не принимали участия в конкурсе, а Харкрофт не успел, потому что с момента возвращения миссис Уорделл конкурс был прерван.

— Да, знаю, — Паркер кивнул головой. — Я размышляю об этом уже несколько минут.

— На этом листке отмечены четыре человека, которые сюда вошли: первым был я в 9.05, вторым — Кедж в 9.51, третьим был ты в 10.35, а четвертой — Дороти Ормсби в 10.59, остальные сюда не добрались. Я имею в виду Эддингтона, Кварендона и Редленда. Но их нельзя принимать в расчет как возможных убийц, поскольку другие участники конкурса, отправившиеся в путь после них, обнаружили девушку здесь еще живой, и сами после возвращения не покидали столовой ни на минуту. К счастью ты был в общей очередности шестым, Дороти — седьмой, а миссис Уорделл — восьмой. Харкрофт, как мы знаем, не успел отправиться на поиски, потому что был последним: как я уже упоминал, конкурс прервался, потому что миссис Уорделл обнаружила здесь убитую Грейс. Стало быть...

— Стало быть, — подхватил Паркер, глядя на меч, — поскольку я, будучи шестым, видел Грейс Мэплтон еще живой, а после меня в живых ее застала только Дороти Ормсби, остается лишь две возможности: либо ее убила Ормсби, а миссис Уорделл обнаружила ее мертвой, либо... ее убила миссис Уорделл!

— Но и то и другое невозможно, поскольку Дороти Ормсби наверняка просто не подняла бы этот чудовищный меч, но даже если бы это удалось, ей ни за что не нанести такой удар, ибо меч, пожалуй, длиннее ее роста, и она никаким образом не смогла бы ударить точно сверху вниз, учитывая к тому же, что Грейс лежала на ложе, а она стояла на полу. Кроме того, физически совершенно невозможно, чтобы такая маленькая женщина могла нанести такой сокрушительный удар. Ведь этот меч... — Джо снова глубоко вздохнул, — он воткнут в ложе прямо перпендикулярно, а учитывая его вес, можно с уверенностью утверждать, что его острие — и мы в этом убедимся, когда унесут тело — глубоко вонзилось в доски ложа. Иначе он бы наклонился. Ни человеческое тело, ни постель не могут создать такое сопротивление, которое удержало бы его в том положении, в каком он сейчас находится.

— А поскольку все, кроме Дороти Ормсби, имеют совершенное и несомненное алиби, выходит, что Грейс Мэплтон...

— Должен был убить некто, кого не было с нами в столовой! — закончил Алекс. — Мы сейчас знаем только, что Грейс Мэплтон была еще жива в 10.59, потому что имеем тому свидетельство, запечатленное ее собственной рукой. Мы знаем также, что она была уже мертва в 11.20—11.25, потому что примерно в это время миссис Уорделл вернулась в столовую. При этом, путь вниз по лестнице и переход через библиотеку должен был тоже отнять некоторое время, а она вряд ли шла быстро, поскольку едва держалась на ногах. Стало быть, надо отнять еще несколько минут. Это

означает, что Грейс была убита между 11.05 и 11.20, потому что Дороти тоже потребовалось некоторое время на возвращение и, возможно, она еще обменялась с Грейс несколькими словами после того, как та зафиксировала ее время...

— Псы! — воскликнул Паркер.

— Что?

— Псы Кварендона! Они ведь в будке во внутреннем дворике. Могут пригодиться. Надо обыскать весь замок. Ведь этот человек где-то здесь, если не сбежал. Потому что здесь уже все кажется возможным, даже во время такой грозы и прилива.

Как будто в ответ на эти слова, послышался далекий гром за узкой оконной щелью.

— Буря то возвращается, то уходит. — Джо подошел к окну и попытался выглянуть. Свет лампы падал на мощную черную решетку и отражался в стекле, о которое разбивались капли дождя. — Этим путем он точно не сбежал.

— Я должен вернуться сюда вместе с доктором, — Паркер нахмурил брови, — потому что не имею права признать ее мертвой в том случае, если на месте находится врач. И позвоню в полицию графства Девон, а потом в Скотланд-Ярд. Это недолго. Но сначала обыщем замок. Этот убийца может оказаться безумцем. Так или иначе, нас ждет тяжелая ночь, Джо. Превосходный уикенд! А ведь я был уверен, что отдохну здесь, как никогда! Ну разве это не поразительная ночь для проведения расследования, в ходе которого я буду благодарить Бога за то, что мисс Дороти Ормсби, желая того или нет, вынуждена будет подтвердить мое алиби, а кроме того, я лично должен буду подтвердить алиби как ее, так и всех остальных, не оставляя себе ни одного из присутствующих, на кого могла бы упасть хоть слабая тень подозрения.

— Будь оптимистом, — сказал Алекс, пытаясь улыбнуться, что, однако, не получилось, потому что спазм в горле не проходил. — Там, где есть убитый, должен быть и убийца. Только призраки расплываются и исчезают — люди остаются.

— Вот именно! Мы совсем забыли о ней.

— О ком?

— О леди Еве де Вер. Кто-то сегодня сказал, что она вполне может отомстить за то, что ее трагическая смерть послужила нам поводом для глупой забавы. — Паркер тоже попытался улыбнуться, но и у него не вышло.

Внезапно из-за двери, выходящей в коридор, донесся отчаянный женский крик и печальное тихое рыдание.

— Надо сказать ему, чтобы выключил это идиотское устройство, — проворчал Алекс. Они вышли.

XX

«Это великолепно!»

Когда они вошли в столовую, все взгляды обратились к ним, и только миссис Уорделл, лежащая на диване с вечерним сюртуком Бенджамина Паркера под головой, не шелохнулась. Она лежала неподвижно, вглядываясь в какую-то неуловимую точку на стене, а на устах ее застыла кроткая улыбка.

Паркер покашлял.

— Прошу извинить наше долгое отсутствие, но дело в том, что произошел ужасный несчастный случай. Мисс Мэплтон... к сожалению, скончалась.

Сидящий за столиком у стены мистер Кварендон вскочил на ноги и схватился рукой за сердце. Гарольд Эддингтон, который делил с ним столик, тоже поднялся и положил руку на плечо издателя.

— Спокойно, Мелвин, — сказал он вполголоса.

Аманда Джадд вскинула руки и резко их опустила, а Фрэнк Тейлор обнял ее. Она спрятала лицо на его груди.

Дороти Ормсби замерла с карандашом над открытой записной книжкой.

Джордан Кедж сморщил брови. Джо, стоящий на пороге, почти за спиной Паркера, заметил, что лицо его побелело, как у покойника. Кедж шагнул вперед и остановился.

Доктор Харкрофт отодвинул недопитый бокал виски и подошел к Паркеру.

— Вы в этом уверены? — спросил он — Потому что, если...

— Разумеется, — Паркер кивнул головой. — Я как раз хотел попросить вас, чтобы... — Он повернул голову и указал глазами на дверь.

Харкрофт кивнул и взял свой черный саквояж, стоящий рядом с диваном, на котором лежала миссис Уорделл. Он склонился над старой дамой.

— С вами все в порядке? — мягко спросил он.

Она взглянула на него. Улыбка по-прежнему блуждала на ее устах.

— Я устала, — сказала она тихо. — Могу ли я прилечь в своей комнате?

Харкрофт выпрямился и вопросительно посмотрел на Паркера, который снова покашлял. Бен смутился:

— К сожалению... Есть определенные обстоятельства... Если это возможно, я предпочел бы, чтобы вы остались здесь еще некоторое время. А позже, разумеется, не вижу никаких препятствий...

Лорд Фредерик Редленд, который до сих пор неподвижно стоял у окна, подошел к стоящим в дверях мужчинам и остановился напротив комиссара.

— Она убита? — спросил он спокойно, но в его глазах вспыхнул странный, горячий блеск. Джо Алекс, сам не понимая отчего это пришло ему в голову, подумал, что именно так мог бы смотреть маленький мальчик на давно желанную игрушку, лежащую за толстым стеклом магазинной витрины.

Паркер кашлянул в третий раз:

— Вскоре все прояснится. Если позволите я на минутку отлучусь с доктором.

Аманда Джадд отпрянула от своего мужа и спросила:

— Если можно, я хотела бы пойти за подушкой и одеялом для миссис Уорделл. Не может же она так здесь лежать.

— Конечно! — Паркер движением руки указал на дверь. — Я пойду с вами.

Они вышли. Мистер Кварендон подошел к Алексу.

— Это правда? — спросил он дрожащим от волнения голосом. — Правда ли, что она?..

Джо едва заметно кивнул. Кварендон открыл рот, но не произнес больше ни слова.

— Господи, — вполголоса сказал Фрэнк Тайлер. — Кто?..

— Она. Ева, — голос миссис Уорделл был тихим, но четким. — Иначе и быть не могло.

В этих словах было столько спокойной, исключающей любое возражение уверенности, что у Алекса по спине пробежали мурашки. Он тряхнул головой, словно пытаясь пробудиться ото сна.

Кедж медленно сел, потом снова встал и сунул дрожащие руки в карманы.

Дверь отворилась, вошла Аманда, а за ней Паркер, несущий подушку и одеяло. Они подошли к дивану. Фрэнк Тайлер приподнял голову старушки и вынул из-под нее черный сюртук Паркера, а Паркер положил на это место подушку. Аманда укрыла миссис Уорделл одеялом.

— Спасибо, дитя мое. Теперь мне действительно очень удобно. Благодарю вас, господин комиссар, — старая дама повернула голову к Паркеру, который быстро надел сюртук и разгладил помятые места несколькими движениями ладоней. Отходя, он поклонился ей. Алекс посмотрел на нее и снова ощутил легкую дрожь. Эта постоянная улыбка, кроткая спокойная улыбка. А ведь именно она обнаружила тело Грейс Мэплтон. Она стояла там, у изголовья ложа, при слабом мерцании огонька свечи смотрела на этот меч и...

— Пойдемте, доктор, — сказал Паркер вполголоса и направился к двери, а Харкрофт двинулся за ним. Они вышли.

Джо медленно подошел к столику, за которым сидела Дороти.

— Позволите?

— О, разумеется. — Она закрыла записную книжку и повернула ее корешком обложки вверх. — Бедняга, — тихонько сказала она, вы выглядите так, словно увидели привидение. Принести вам немного виски?

— Ну что вы! — сказал Джо и хотел было встать, однако, Дороти уже была на середине зала и тут же вернулась.

Все молчали.

— Может... Может кто-нибудь желает кофе? — спросила Аманда, стараясь говорить спокойно. Час уже поздний, и он был бы кстати.

Несколько человек приняли предложение Аманды.

Дороти наклонилась и прошептала:

— Ее действительно убили?

Алекс секунду поколебался, потом едва заметно кивнул.

— Невероятно! — она схватила свою записную книжку, но тут же положила ее обратно. — Невозможно поверить.

— Вот именно, — Джо заговорил еще тише. — И кстати говоря, вы последняя, кто видел ее живой.

— Это великолепно! — Дороти приглушила свой возглас, прикрыв рот маленькой ладошкой. — Я столько раз читала это предложение в ваших книгах, а теперь услышала его, и вдобавок оно относится ко мне!

Ее глаза заблестели.

— К сожалению, — Джо развел руками, — вы вне подозрений. — Он наклонился к ней. — Могу сообщить лишь одно: если бы вас можно было заподозрить, мой друг комиссар Паркер провел бы сегодня ночь значительно спокойнее.

Дороти приблизила губы к его уху, почти ложась на столик:

— А кто подозреваемый?

— Вот то, что надо! — Джо встал навстречу Аманде, подошедшей с подносом, на котором дымились чашки с кофе. — Спасибо, Аманда. Рад, что ты держишься мужественно.

Аманда улыбнулась бледной, почти плаксивой улыбкой. Смерть помощницы, вероятно, потрясла ее больше, чем она хотела это показать.

Джо вернулся к столику.

— Вы спрашивали, кто подозреваемый, Дороти. Честно говоря, — никто. И все было бы «великолепно», употребляя ваше определение, если бы не тот факт, что менее часа назад кто-то отправил ее в вечное странствие одним ударом меча.

XXI

«Никто в одиночку не сможет опустить эту решетку...»

Паркер задержался на пороге, а доктор Харкрофт медленно двинулся к столу с напитками, не глядя ни на кого из присутствующих.

Джо поднялся и подошел к комиссару, который стоял, машинально потирая руки и, по-видимому, искал подходящие слова, чтобы обратиться к собравшимся.

— Дамы и господа, поверьте, мне крайне неприятно, но я должен попросить всех вас еще некоторое время оставаться здесь... Мы постараемся как можно скорее завершить все... необходимые действия, а потом я даже буду настаивать, чтобы все отправились в свои комнаты... Однако, сейчас... — Паркер секунду колебался и продолжил: — Я хочу чтобы дверь этого зала была заперта на ключ изнутри, и чтоб вы открыли ее лишь на наш стук после возвращения... Я также хотел бы попросить, чтобы мистер Тайлер и мистер Кварендон отправились с нами... Речь идет о ваших собаках, — быстро добавил он, увидев, что Мелвин Кварендон побледнел. — Чем скорее мы уладим все необходимые дела, тем быстрее вернемся. Прошу вас, не забудьте о ключе — я вижу, он торчит в замке.

Он вышел в коридор вместе с Алексом. Несколько секунд они ждали, пока к ним присоединятся Кварендон и Тайлер. Послышался щелчок повернутого в замке ключа.

Паркер молча кивнул и начал удаляться от двери столового зала. Когда они находились у лестницы, он негромко сказал:

— Я буду краток. Грейс Мэплтон убита и это произошло при таких обстоятельствах, которые исключают участие в этом преступлении кого-либо из присутствующих здесь. Это, разумеется, наводит на мысль о преступнике извне. Уверены ли вы, мистер Тайлер, что все окна замка забраны решетками?

— Абсолютно! Но...

Паркер остановил его, подняв руку.

— Сейчас, вероятно, никто не ответит ни на один ваш вопрос, касающийся этого преступления. Мы лишь знаем, что если убийца скрывается где-то в замке, что является единственным логичным объяснением, мы должны его найти. Нам неизвестно кто это и почему он убил. Быть может, это просто безумец. Поэтому я распорядился запереть столовый зал на ключ изнутри, — он глянул на Кварендона. — Мы вспомнили о ваших собаках. Как вы думаете — они могут помочь в наших поисках? Дрессированы ли они соответствующим образом?

— Если где-нибудь в этом замке скрывается какой-то человек, — сказал Кварендон голосом, который, по его мнению, должен был звучать уверенно и решительно, но на деле слегка дрожал, — мои псы непременно отыщут его, и он от них не уйдет!

— Превосходно! Можете ли вы их привести, а вы, мистер Тайлер, обеспечьте нас, пожалуйста, фонариками? Наверняка они у вас тут есть.

— Да, и даже много. Почти все пользуются ими, возвращаясь по дамбе в замок, когда темно.

— А есть ли запасной комплект ключей ко всем комнатам замка? — спросил Алекс. — Мы должны осмотреть все помещения, и я не думаю, что имеет смысл стучать в столовую и выводить по очереди всех, кто, уходя запер дверь своей комнаты на ключ.

— Да, — кивнул Тайлер. — Они должны быть на кухне или в одном из помещений прислуги. Замки во всех дверях вполне современные, как вы, вероятно, заметили. Их установили, когда здесь планировался отель. — Он

тоже старался говорить спокойно, но время от времени его взгляд обращался вверх, на лестницу.

— Возьмем собак прямо сейчас? — спросил Кварендон.

Паркер кивнул.

Тайлер повернул в сторону столовой и открыл небольшую дверь в стене. Вглубь тянулся узкий, неосвещенный коридорчик. Фрэнк нащупал выключатель и зажегся свет. Впереди виднелся пол большой кухни, мощеный красной плиткой. Они двинулись дальше. Тайлер указал Кварендону на следующую, остекленную дверь, покрытую с той стороны густо стекающими струями дождя.

— Это выход во внутренний двор... Впрочем, вы сами знаете, — ведь этим путем вы и провели их туда.

Издатель приоткрыл дверь и тихонько свистнул. Внутренний двор освещался светом, падающим из окон, вода струилась по мощным серым плитам и шумела в узком, выдолбленном в камне желобе. Две тени пересекли двор и остановились у дверей.

— Хорошие собачки... — мистер Кварендон отодвинулся и погладил мокрые головы собак, втиснувшихся в коридор. Псы подняли головы, настороженно разглядывая незнакомых мужчин. — Умные собачки! — добавил чуть жестче мистер Кварендон. — Псы тут же присели. — Пошли! — толстый издатель склонился к собакам, — Ищи, Тристан! Ищи, Изольда!

Собаки проскользнули мимо Паркера на кухню. Помещение было большое, похожее на все гостиничные кухни мира. Псы обошли его, принюхиваясь. Потом присели у двери, не сводя глаз с мистера Кварендона.

Тайлер выдвинул один из ящиков белого шкафа, стоящего в углу. Он вынул фонарик, проверил, работает ли он, положил его на стол, затем отыскал еще три.

— Вы, кажется, просили запасные ключи? — Тайлер осмотрелся и выдвинул еще один ящик. — Кажется, они здесь.

Он заглянул в ящик и вынул оттуда связку ключей на небольшом медном кольце.

— Да, вот они...

Тайлер протянул ключи Алексу и обратился к Паркеру:

— За этой белой дверью в углу находятся две маленькие комнатки для девушек, работающих на кухне.

Фрэнк открыл дверь. Они вошли вместе с собаками. Комнатки были пустыми — в последнее время здесь явно никто не жил. Девушки, обслуживающие гостей, по-видимому, возвращались на ночь в деревню.

Они вышли.

Коридор, лестница, комнаты для гостей на втором этаже. Алекс открывал очередную дверь — во всех замках торчали ключи — никто не запер свою комнату. Платья... мужские костюмы в шкафах... туалетные приборы в ванных комнатах...

Паркер осматривал комнаты. Фрэнк Тайлер ждал его в коридоре, а мистер Кварендон внимательно следил за собаками, которые спокойно кружили по помещениям, время от времени поворачивая головы в сторону хозяина.

— Это комната Аманды, — сказал Фрэнк, остановившись перед очередной дверью. — Представляю себе, что там творится. До вашего приезда нас в замке было только трое, и мы имели в своем распоряжении библиотеку для работы и неограниченное количество свободных комнат. Перед вашим приездом мы все постаскивали к себе, — он открыл дверь.

В комнате было чисто, но стол и пол под стенами были завалены грудами книг и рукописей.

Джо подошел к окну, тщательно осветил фонариком решетку, как делал это во всех помещениях, и заглянул через приоткрытую дверь в ванную комнату, хотя до него это уже сделал один из псов.

Они вышли в коридор. Тайлер открыл следующую дверь. Стол, рулоны бумаги, подрамник...

— Это моя комната, — Фрэнк осмотрелся.

Псы обнюхали бумагу, обошли кровать, а когда мистер Кварендон с извиняющейся улыбкой приоткрыл дверь ванной, вошли туда и тотчас вышли.

Алекс проверил решетки в окнах и обернулся. Паркер, который только что заглянул под кровать, выпрямился и проследил за взглядом Алекса.

Над кроватью Фрэнка Тайлера на стене была растянута большая зеленая выцветшая тряпка, расшитая серебряной, местами разорванной нитью — узор напоминал растение. А поверх этой тряпки наискосок, занимая всю диагональ, висел прикрепленный к двум крюкам огромный меч.

Джо подошел ближе. Прямо над тряпкой, в углу другой диагонали, он обнаружил пустой крюк, с которого свисал кусок крепкого провода. Алекс обернулся.

— Был ли здесь второй, похожий меч, мистер Тайлер?

— Что? — Фрэнк глянул и кивнул. — Да, их два, и они почти идентичны. Они были здесь еще до нашего приезда. Но тот, второй... — он умолк и расширившимися от ужаса глазами посмотрел на Алекса. — Этот второй... Он послужил мне для... Господь Всемогущий... Неужели? Неужели?

Алекс кивнул головой, не отрывая взгляда от меча:

— Этот меч должен был имитировать оружие, которым рыцарь де Вер убил свою неверную жену, не так ли? А Грейс Мэплтон, расставшись с нами внизу, быстро вбежала в свою комнату, где ее ожидало другое, подготовленное вами платье, и переоделась. Она успела мне сказать это, когда я ее нашел. Пятна крови были поразительно похожи на настоящие. Однако, пойдемте дальше. Если вы позволите, я зайду сюда позже. Мне хотелось бы взять в руки этот меч, что остался у вас.

— Значит ли это, что она? — спросил Тайлер и умолк.

— Пойдемте, — Паркер двинулся к двери.

Они обошли все комнаты и остановились перед дверью библиотеки.

Паркер попросил мистера Кварендона и Тайлера, чтобы они вместе с собаками остались в коридоре. Затем вдвоем с Джо Алексом они еще раз осмотрели все углы библиотеки. А Джо даже влез в камин и посветил фонариком вверх, после чего тщательно осмотрел рыцарские латы.

— Придется войти туда еще раз, — вздохнул Паркер.

А чуть позже он осторожно, через развернутый платок, запер на ключ комнату, где оставалась Грейс Мэплтон, отнес ключ в свою комнату, спрятал в ящик стола и запер комнату на ключ. Потом Паркер снова вернулся в коридор.

— Что еще осталось? — спросил он. — Этот замок на самом деле совсем маленький, хотя издали кажется огромным. Мы все уже осмотрели?

— Осталась башня, — сказал Джо. — Пойдемте.

Они снова вошли в библиотеку и остановились перед узкой дверцей. Джо отворил ее и шагнул на крутую лестницу, ведущую вверх.

— Здесь, — Тайлер указал на стену, и только сейчас впервые Джо обнаружил дверь, мимо которой он прошел вчера несколько раз, не заметив. Дверь была выкрашена под цвет стены и почти полностью сливалась с ней. В ней не было замка, а лишь висячее железное кольцо, которое Тайлер потянул на себя. Дверь открылась. За ней было совершенно темно. Джо включил фонарик и переступил порог.

— Тут, вероятно, хранились запасы продовольствия, — тихо сказал Фрэнк. — В замке нет подвалов. По-видимому, вода заливала бы их. Здесь можно было хранить все необходимое, чтобы выдержать длительную осаду.

Свет фонариков еле достигал строп потолка высоко вверху.

— Ясно, — прошептал Алекс, — это, собственно, и есть внутренность башни.

Псы вбежали в полумрак. Мистер Кварендон посветил фонариком, и его свет выхватывал узкие, длинные, рыскающие то там, то тут тени. Наконец, собаки вернулись.

— Пошли, — Алекс двинулся вверх. Когда они добрались до люка, где кончалась лестница, Джо остановился и посветил фонариком под ноги. Ступени совершенно сухие. Он посветил вверх. Засов плотно задвинут. Из-за люка доносился громкий, неустанный стук дождевых капель.

— Никто не открывал люк сегодня вечером, — сказал Джо. — Эти ступени не могли бы так абсолютно высохнуть. На них нет ни следа влаги.

Они повернулись, пошли вниз и, минуя дверь в библиотеку, оказались в прихожей. Собаки уже ждали их здесь.

— И это, пожалуй, все, — сказал Паркер и взглянул на ворота.

— Вот именно.

Джо стоял посреди прихожей, медленно скользя лучом фонарика по мощной решетке.

— Ну допустим, что кто-то... сам знаешь кто... имел здесь укрытого сообщника, а потом сбежал вместе с ним сюда, к воротам, затем они вместе приподняли решетку настолько, чтобы можно было открыть калитку, убийца вошел, а тот, кто остался, опустил решетку обратно... Это все совершенно неправдоподобно, Бен. Но то, что у нас осталось, еще более неправдоподобно.

Он обратился к Фрэнку Тайлеру:

— Вы никогда не пробовали поднять или опустить решетку без чьей-либо помощи?

Фрэнк покачал головой.

— Это совершенно невозможно. Ее должны поднимать одновременно два человека, стоя у двух лебедок. Иначе она даже не дрогнет. Впрочем, когда замок пустует, здесь обычно живет только сторож с женой. Оба из деревни. Но им достаточно засова на калитке. Никто извне, вор или бродяга, не мог бы сюда проскользнуть.

— А вниз она не падает?

— Нет, и никто в одиночку не сможет опустить эту решетку, будь он даже Геркулесом. Это очень хитроумная конструкция.

Джо посмотрел на Паркера. Их взгляды встретились.

Правда была проста: никто не мог убить Грейс Мэплтон.

XXII

«В моей кровати спит скелет...»

Доктор Харкрофт и Аманда Джадд помогли миссис Уорделл дойти до ее комнаты. На пороге Аманда обернулась.

— Если вы не имеете ничего против, доктор, я посижу с ней, пока она не уснет.

— Конечно, — Харкрофт кивнул. — Если вы заметите какие-нибудь тревожные симптомы, постучитесь ко мне. Вряд ли я сегодня легко усну.

— Я тоже, — Аманда улыбнулась бледной улыбкой и тихо вошла в комнату миссис Уорделл, закрыв за собой дверь.

В ту же минуту доктор Харкрофт увидел Джо Алекса и Дороти Ормсби, показавшихся у лестницы.

— Как себя чувствует миссис Уорделл? — негромко спросил Джо.

— Думаю, лучше, — врач кивнул головой, — но она пережила серьезное потрясение. Судя по тому, что я видел там... — он умолк, заметив, что Дороти задержалась у двери своей комнаты.

— Мистер Паркер разговаривает сейчас по телефону и как только закончит, мы будем дежурить здесь до приезда полиции, — Алекс взглянул на часы. — Через три часа начнет светать и, пожалуй, полицейские смогут добраться до замка. Гроза и прилив не будут продолжаться вечно. Впрочем, еще до их приезда мы, очевидно, обменяемся парой слов со всеми присутствующими. Это простая формальность, но она избавит от необходимости вскакивать с постели, когда появится полиция. Таким образом, мы сможем отодвинуть полицейские опросы на более позднее время.

— Конечно, понимаю, — Харкрофт кивнул. — Хотя сомневаюсь, что кто-нибудь из нас скоро уснет. Мисс Джадд хочет посидеть с миссис Уорделл, а я тогда попытаюсь немного подремать, если мне это удастся...

Он слегка поклонился Дороти и дружески кивнул Алексу, после чего двинулся, бесшумно шагая по толстому ковру, и исчез за углом.

— Дозвонился, — показался на лестнице Паркер. — Они будут здесь на рассвете, а может и раньше, но суперинтендант, с которым я разговаривал, знает Волчий Зуб и сказал, что они подъедут к дамбе и, если не удастся сразу пройти к нам, будут ждать там отлива.

Алекс кивнул и посмотрел на Дороти, которая слушала комиссара, сжимая в руках свою записную книжку.

— Попытайтесь сейчас уснуть и прошу помнить, что я нахожусь за стенкой. Здесь очень массивная кладка, но если что, стучите — я услышу. Мы с Беном не будем спать до приезда полицейских, однако, думаю, сегодня здесь уже больше ничего не случится.

— Если нас тут не будет, — добавил Паркер, — значит мы в библиотеке. Все ли уже разошлись по своим комнатам?

— Кажется, да, — ответил Джо. — Во всяком случае, поднялись наверх. Аманда сейчас у миссис Уорделл и сказала, что пробудет там некоторое время. Остальных я просил, чтобы каждый был в своей комнате и, думаю, они меня послушались.

Паркер кивнул.

— Хорошо. Я пойду переоденусь и через пару минут загляну к тебе. Оставь дверь приоткрытой.

Он улыбнулся Дороти Ормсби и открыл дверь своей комнаты.

— Вы случайно не потеряли ключ? — шепотом спросил Джо. Дороти отрицательно покачала головой.

— Я так смутилась тогда, что оставила дверь открытой.

Джо улыбнулся и вошел к себе. Он открыл шкаф, вынул фланелевую сорочку и свитер. Тихонько скрипнула входная дверь.

— Ты уже переоделся, Бен? — негромко спросил Джо. — Входи.

Никто не ответил, и никто не вошел. Джо бросил сорочку и свитер на кресло и резко обернулся.

Дороти Ормсби была смертельно бледна. Она открыла рот, но не смогла произнести ни слова. Пошатываясь, она двинулась вперед и, пытаясь взять себя в руки, прошептала дрожащими губами:

— Там...

— Что там?

Джо выглянул. Коридор был пуст. Он быстро закрыл дверь.

— Что случилось? — спросил он громче.

Дороти опустилась в кресло, ненароком столкнув сорочку и свитер на пол. Она даже не заметила этого. Она закрыла глаза и тут же снова их открыла.

— Я... там... там...

Она будто лишилась дара речи.

В ту же минуту раздался тихий стук. Дороти Ормсби закрыла рот обеими руками, подавляя отчаянный крик.

Паркер тихонько открыл дверь.

— Ты еще не...

Он умолк и уставился на Алекса.

— Что там случилось, Дороти? — спросил Джо. Он подошел к ней и мягко взял за плечи. — Возьмите себя в руки.

Дороти подняла глаза, в которых все еще таился страх. Потом глубоко вдохнула.

— У меня в комнате... — она замолкла, но вдруг собрав все силы, произнесла почти нормальным голосом: — В моей кровати спит скелет.

Джо обменялся быстрым взглядом с Паркером поверх головы Дороти.

— Хорошо, — сказал он мягко. — Я пойду и проверю, а комиссар Паркер останется тут с вами. Он шагнул к двери и вышел в коридор.

Дверь комнаты Дороти была открыта. Джо вошел, тихо закрыв ее за собой.

Кровать стояла у стены, разделявшей их комнаты.

Джо замер и смотрел, не в состоянии оторвать взгляд от пустых глазниц черепа, который, казалось, был частью тела, лежащего на кровати и прикрытого одеялом, а поверх этого одеяла покоились сложенные на груди костлявые руки.

Джо шагнул вперед и помедлил, будто ожидая, что скелет повернет к нему голову. Еще один шаг — и он остановился у кровати.

Все 32 зуба черепа находились на своих местах, причем все — ровные и белые. Алекс медленно протянул руку и поднял одеяло.

У скелета не было костей таза и ног. Джо склонился, перевел дыхание и прикоснулся к костяным пальцам. Они не рассыпались. Только теперь он заметил, что ребра и позвоночник были одинаково серого цвета и совершенно гладкие.

Джо наклонился еще ниже и сунул ладонь между ребрами. Он нащупал узкий стальной прут, соединяющий позвоночник с черепом, и облегченно вздохнул. Затем вынул из кармана безукоризненно чистый белый платок и отер со своего лба маленькие капельки пота.

Джо вышел из комнаты, закрыв дверь, но, не погасив свет.

Женщина по-прежнему сидела в кресле, стиснув руками подлокотники. Обеспокоенный Паркер стоял рядом.

Дороти подняла голову, и страх снова появился в ее глазах.

— Я сошла с ума? — спросила она тихо.

Джо отрицательно покачал головой.

— Нет, — улыбнулся он. — Но у меня тоже в первую секунду волосы встали дыбом.

— Как? — прошептала Дороти побелевшими губами. — Значит, он там все-таки лежит?

— Да, но это не настоящий скелет.

— Не настоящий?..

— Это анатомический муляж из пластмассы. Притом лишь половина — под одеялом ничего нет.

— Значит... это была... это была шутка? — Дороти выпрямилась в кресле. Внезапный румянец выступил на ее побледневших щеках. — Шутка... — она сжала губы.

— А вы не догадываетесь, кто этот шутник? — серьезно спросил Паркер. — Независимо от того, как мы оцениваем такого рода шутки, сегодняшний вечер не совсем обычный, как вы знаете.

— Догадываюсь ли я? — Дороти Ормсби посмотрела на обоих мужчин по очереди. — Думаю, что да. Но... но я была уверена, что этот человек не способен на такие шутки... Если бы, например, у меня было больное сердце, я могла бы и... Впрочем, это неважно, — она снова сжала губы. Потом взглянула на Алекса. — Вы не могли бы кое-что сделать для меня, Джо? Я знаю, что сейчас не время заниматься глупостями, потому что здесь совершено преступление, но...

— Слушаю, — сказал Джо спокойно, не отрывая от нее взгляда.

— Не могли бы вы взять... — она бегло осмотрелась, — вон то покрывало, завернуть эту гадость и вынести из моей комнаты? Я должна это сделать сама, но мне не хочется еще раз увидеть... — она опустила глаза. — Я испугалась... Возможно, это из-за преступления и легенды о том призраке... Я не верю в привидения, но сегодня все как-то по-другому...

— Это верно, — сказал Паркер. — Останься с Дороти, Джо, а я всем займусь. Хотелось бы взглянуть на этот скелет.

Он снял с кровати покрывало и вышел.

Алекс склонился, опершись руками о спинку кресла.

— Кто это сделал, Дороти?

Она молча покачала головой.

— Это странное преступление, — сказал Джо. — Я не понимаю его. Здесь каждая деталь может быть важной.

Дороти Ормсби подняла голову и посмотрела ему в глаза.

— Я не хотела говорить об этом в присутствии вашего друга, хоть он, вероятно, прекрасный человек... Я могу вам довериться, Джо?

— Можете. И при случае давайте выясним одну вещь. Утром я подумал, что вы чего-то боитесь. Поэтому вы заперли дверь на ключ. Вы были испуганы. Речь идет о том же самом человеке?

Дороти кивнула.

— В тот день, когда мы расставались, он сказал, что, быть может, когда-нибудь он задержит меня навсегда... в качестве экспоната своего музея.

— Музея преступлений?

Дороти слегка пожала плечами.

— Вы уже догадались, правда? Он хотел, чтобы я стала его женой. А я не хочу быть женой ни его, ни чьей бы то ни было... Меня к нему потянуло, потому что он такой... такой необычный... Однажды он пригласил меня в числе нескольких других гостей на прием. Ну, вы знаете, он иногда устраивает такие приемы для разных людей, у которых сходные интересы.

Джо молча кивнул.

— А потом это продолжалось некоторое время... и закончилось... Я почему-то его боюсь. Не знаю, шутил ли он, говоря о том, что хотел бы оставить меня в своей коллекции, но я не ожидала от него такой скверной шутки... Если это его месть... Я думала, что он — джентльмен!

Алекс с удивлением заметил, что в глазах Дороти показались слезы.

Вошел Паркер.

— Все в порядке, — сказал он. — Если вы боитесь там спать, можем обменяться комнатами. У нас у всех так мало вещей, что это займет три минуты.

— Спасибо, — улыбнулась она Паркеру и отвернула лицо, чтобы скрыть слезы. — Я позволила застигнуть себя врасплох, что со мной редко случается, но это уже прошло.

Она встала с кресла.

— Еще минутку, — сказал Джо. — Раз уж вы здесь, я хотел бы задать вам два маленьких вопроса.

— Да?

— Помните ли вы ту минуту, когда вошли к Грейс Мэплтон?

— Что? Ах да, конечно... Я вынула тот ключ из камина и открыла дверь. Горела лишь маленькая свеча, прикрытая занавеской ложа, на котором лежала Грейс. Руки у нее были сложены, на платье кровь, а в ногах поперек лежал огромный меч... Я пережила неприятную минуту из-за этого меча и кровавых пятен на платье, но она открыла глаза и спросила, не испугалась ли я... Потом она посмотрела на часы, записала время, а я спросила, не скучает ли она тут... Она ответила, что немного, и спросила, сколько человек еще осталось. Я сказала, что два, а она шепнула «слава богу» и зевнула. Я улыбнулась ей и вышла.

— А теперь я попрошу вас быть очень внимательной, Дороти. — Алекс поднял указательный палец и направил ей в грудь. — Вы абсолютно уверены, что в спешке не забыли положить ключ обратно в котелок камина?

— Абсолютно, — решительно ответила Дороти Ормсби. — А уверена я потому, что, желая как можно быстрее сбежать вниз, я бросила ключ в котелок сверху... но промахнулась и должна была присесть, чтобы его найти. А потом я уже сунула руку в котелок, опустив туда ключ вместе с карточкой, которая была к нему привязана.

— Спасибо, — Джо улыбнулся ей. — Не будем вас больше мучить. Я пойду с вами, еще раз загляну в шкаф, в ванную и под вашу кровать, а потом попрошу, чтобы вы заперлись на ключ и ни под каким предлогом не открывали никому, за исключением мистера Паркера и меня, разумеется.

— Я бы заперла эту дверь, даже если бы вы меня об этом не просили, — сказала Дороти. Она все еще была бледна, но уже полностью владела собой.

Они направились к двери.

XXIII

Аккуратная и педантичная

Джо сунул ноги в легкие кроссовки и завязал шнурки. Потом встал. В свитере, фланелевой сорочке и джинсах он чувствовал себя намного лучше.

— Где ты спрятал этот скелет?

— Бросил его в шкаф.

Паркер сидел на краешке кровати Алекса и мрачно смотрел на друга. Потом, понизив голос почти до шепота, спросил, указывая глазами на стенку:

— Ты думаешь, эта идиотская шутка может иметь какое-то значение?

— Для нее явно имеет, — шепнул Джо. — Но сомневаюсь, что это как-то связано со смертью Грейс Мэплтон. Хотя, кто его знает? Там, где не знаешь решения, все возможно.

— Напротив, — пробормотал Паркер. — Ничего невозможно. Пока что мы располагаем двумя неоспоримыми фактами. Первый: *никто посторонний не проник в замок.* Второй является дополнением первого: *никто из присутствующих в замке не мог убить Грейс Мэплтон.* Ты со мной согласен?

— Если это преступление не совершил дух Евы де Вер, как было предсказано, — я с тобой не согласен. Потому что Грейс мертва, и к двум твоим неоспоримым фактам мы должны добавить еще и третий: *она не совершила самоубийство.*

Паркер вздохнул.

— Да, полагаю, ей было бы трудновато лечь на спину и вонзить себе в сердце меч такой длины.

— Но эти три неоспоримых факта... — Джо потянулся за табаком и трубкой, лежащими на столе, — противоречат друг другу. Не говоря уже о том, что я не верю в привидения.

— Я тоже, — Паркер снова пожал плечами. — Но примерно через три часа замок станет доступным, забрезжит рассвет, и я окажусь лицом к лицу со своими дорогими коллегами из полиции графства Девон. Я сам их вызвал. И что я скажу? Что я был здесь все время и горю желанием обеспечить стопроцентное алиби всем, кого они могли бы заподозрить? Это значит, я должен сказать, что они, конечно, могут отвезти в морг тело убитой, но я исключаю существование убийцы, это я-то — заместитель шефа криминальных расследований столичной полиции!

Алекс невольно улыбнулся.

— Действительно, твои коллеги из графства Девон будут несколько озадачены. Но сидя тут и размышляя над их реакцией на твои слова, мы немногого чего достигнем. Надо поговорить со всеми, кто здесь находится. Быть может, кто-то что-нибудь заметил, но не отдает себе отчета в том, что это имеет значение? Может, кто-то знает то, чего мы не знаем? Может...

Паркер поднял руку и медленно опустил ее, будто желая остановить поток слов, которые сейчас прозвучат.

— Джо, если мы допустим (а я уверен — тут мы правы), что ни Дороти Ормсби, ни миссис Уорделл не могли убить Грейс Мэплтон, а я сам, буквально перед этим, видел ее живой, и никто кроме этих двух женщин не вышел из столовой после меня, то кто же мог ее убить? Никто!

— Пошли! — негромко сказал Джо, указывая на дверь.

— Куда?

— В ее комнату.

Из лежащей на столе связки ключей Джо выбрал один и отделил от остальных.

— Четверка... Должно быть этот, если номер твоей комнаты — третий.

Они вышли. Джо запер дверь своей комнаты и спрятал ключ в карман. Стараясь ступать как можно тише, они миновали комнату Паркера, свернули направо и остановились у первой же двери. Алекс осторожно вложил ключ номер четыре в скважину. Ключ повернулся в замке совершенно бесшумно. Джо нажал дверную ручку, и они вошли.

— А кто живет за стеной? Кварендон?

Паркер подтвердил кивком головы.

Комната была продолговатой. Напротив находилось окно, а под ним тянулся длинный стол, на котором стояли компьютер, монитор и принтер, немного дальше — электрическая пишущая машинка, а за ней — аккуратно уложенные, стоящие вертикально, поддерживаемые стальными ухватами, папки с рукописями, поднос с письмами, а в самом углу — большая ваза, полная свежих красных роз. К столу придвинуто легкое вращающееся кресло.

У другой стены стоял низкий топчан, покрытый цветастой накидкой, а между ним и ванной комнатой находился большой тройной шкаф, встроенный в нишу стены.

— Не вижу его, — прошептал Алекс. Он подошел к шкафу и открыл первую дверцу. — Платья. А, вот оно, — сказал он шепотом, протянул руку и вынул висящее на плечиках белое платье. — Когда мы входили сюда в первый раз, во время поисков нашего предполагаемого убийцы, я забыл о нем. Тогда важен был человек, который мог где-то прятаться... Грейс, выйдя из столовой, вбежала сюда и поменяла это платье на другое — с пятнами крови, которое разрисовал для нее Тайлер... Ты можешь про-

смотреть содержимое шкафа, Бен? А я попытаюсь бегло взглянуть на эти бумаги, — он положил руку на плечо друга. — Я знаю, что, скорее всего, мы ничего не найдем. Но ее убили, а это означает, что, если этого не сделал какой-то безумец, то это, должен быть тот, кто ее очень ненавидел, или рискнул возможностью провести остаток своих дней за решеткой, лишь бы от нее избавиться. У меня нет больших надежд, но, быть может, мы найдем хотя бы тень следа...

Он повернулся к столу и начал быстро просматривать папки с рукописями. В основном это были компьютерные распечатки. Он заглянул в первую по порядку рукопись... похоже на какой-то набросок детективного романа, сделанный кое-как, хаотично, с пробелами и повторяющимися в скобках словами «дополнить позже»...

Джо просмотрел несколько папок и глянул на поднос с письмами. Очевидно, Грейс вела корреспонденцию Аманды. К полученным письмам скрепками были прикреплены заметки с коротким содержанием ответов.

— Тс-с-с! — тихо произнес Паркер за его спиной.

Алекс обернулся.

— Я нашел конверт под бельем...

Они склонились над заклеенным конвертом.

Паркер вынул из кармана маленький перочинный ножик и разрезал конверт.

Внутри было несколько сложенных вчетверо листов бумаги для машинописи.

Джо начал читать:

«...не могу так больше жить, надо с этим покончить!»

На другом листе текст был длиннее:

«Человек может годами жить, смирившись с тайным стыдом, с позором, о котором никто никогда не узнает... Но наступает день, когда нужно заплатить за все. И вот я плачу!»

На третьем листе оказалось лишь несколько слов, но они были написаны так широко и размашисто, что занимали почти всю его поверхность:

«Не трус, но сильный избирает смерть в минуту унижения!»

— Пошли, — сказал Алекс. — Та груда бумаг может подождать, а это мы возьмем с собой. Но мне кажется, здесь не ее почерк. Хотя я могу и ошибаться.

Они заглянули в ванную комнату с флаконами и баночками, ровно расставленными на стеклянной полочке над умывальником.

— Очень аккуратная и педантичная была эта очаровательная мисс Мэплтон... — пробормотал Паркер. — А еще говорят, что красивые девушки неряшливы.

— Пойдем, — сказал Алекс. — Ты взял конверт? — Паркер кивнул. — Дай мне его на пару минут. — Джо сунул конверт в карман.

— Что теперь? — спросил Паркер. — Не припомню, чтобы когда-нибудь я был так растерян... Честно говоря, я совершенно не представляю, что мы сейчас должны делать или с кем поговорить, а тем более — о чем...

— Я думаю, у нас не остается ничего другого, как обратиться к человеку, с которым Грейс общалась в последнее время почти непрерывно — с ее работодателем. Аманда — тонкая и наблюдательная молодая женщина. Это

за милю видно по ее книгам. Там всегда есть маленькие, очаровательные детали, эдакие подсмотренные будничные мелочи, которые... впрочем, это неважно. Я думаю, мы тихонько постучимся к ней.

— А разве она не у миссис Уорделл?

— Если она еще там, поговорим с кем-нибудь другим.

XXIV

Кто ее пригласил?

Алекс тихо двинулся вдоль внутренней галереи, после некоторого колебания миновал дверь комнаты миссис Уорделл и пошел дальше. Комната Аманды была последней перед поворотом. Джо поднял согнутый указательный палец и тихо постучал. Дверь открылась почти немедленно.

— Мы будем в зале, где стоят латы, — шепнул он. — Если можешь, загляни туда на минутку.

Аманда, не говоря ни слова, кивнула, переложила ключ с внутренней стороны замка на наружную, вышла из комнаты и двинулась вслед за ними. Паркер пропустил ее вперед. Они вошли в зал. Джо указал Аманде место на скамье и сел по другую сторону стола. Глаза Аманды невольно скользнули в сторону шторы.

— Она там?

— Да, — Паркер беспомощно развел руками. — Но вскоре приедет полиция, а также судмедэксперт, технические службы, фотографы, специалисты по отпечаткам пальцев и другие. Закончив свою работу, они уедут и увезут с собой тело.

— Это ужасно, — Аманда закрыла глаза, но тут же открыла их и посмотрела на Алекса. — Вы... вы уже что-нибудь знаете?

— Нет, — покачал головой Джо. — Мы не знаем, кто ее убил. Поэтому мы хотели поговорить с тобой пару минут, если ты чувствуешь себя в силах.

Она кивнула. Паркер кашлянул и начал вполголоса:

— Хотя мы и не знаем, кто и каким образом мог совершить это преступление, мы знаем, однако, что обычно убивает тот, кто считает, что у него нет другого выхода. Убийство несет в себе огромный риск и трагедию, также и для убийцы, если он будет уличен. Поэтому мы всегда ищем мотив. Мы ищем того, кто имел чрезвычайно важную причину, чтобы лишить свою жертву жизни. Иногда это бывает месть, иногда жажда наживы, а порой убийце необходимо убрать другого человека со своего пути. Поэтому мы спрашиваем, кто и почему хотел его убрать. Как правило, хотя и не всегда, ответ на этот вопрос приближает нас к истине. Конечно, иногда кто-то бывает убит просто по ошибке, либо падает жертвой безумца. А бывает и так, что убил не тот, кто имел мотив, а некто совершенно другой, имеющий такой же, или даже еще более сильный мотив. Но так или иначе, в девяноста девяти случаях из ста, раскрытие загадки убийства заключено в биографии убитого. Поскольку вы встречались с Грейс ежедневно, я хотел бы спросить, не заметили ли вы чего-нибудь, что могло бы иметь связь с моей затянувшейся лекцией?

Аманда задумалась.

— Это странно, — сказала она наконец, — но, будучи искренней, я должна признать, что очень мало о ней знаю. Она приехала в Лондон из провинции, из какого-то маленького городка в Центральной Англии, окончила курсы стенографии, обслуживания компьютеров и машинописи. Все это она делала превосходно, а кроме того обладала великолепной памятью

и, я бы сказала, врожденным чувством гармонии. В любом месте, где она находилась, царил идеальный порядок... — Аманда замолчала и положила на стол ключ, который перед этим держала в руке и медленно вращала вокруг оси. — Это было невероятно! Я не могла этого понять, и хотя проводила с ней ежедневно много часов, никогда так и не решилась спросить...

— О чем? — Паркер поднял брови. — Ведь молодые женщины, любящие порядок, встречаются довольно часто, не так ли?

Аманда посмотрела на него удивленными, широко открытыми глазами.

— Вы это серьезно, комиссар?

— Я вас не понимаю.

— Быть может, я немногое видела, — тихо сказала Аманда, — но это была самая красивая девушка, которую я когда-либо встречала в жизни! Люди останавливались на улице, когда я с ней шла, и, наверняка, не потому, что это моя внешность превращала их в соляной столп. Природа создает красивых, а порой даже очень красивых женщин, но всегда добавляет им какой-то изъян: короткие ноги, маленькую грудь, близко посаженные глаза или что-нибудь в этом роде. Грейс была безупречна! И после этого вы удивляетесь, что я не в состоянии понять, почему эта девушка изумительной красоты, которой ничего не стоило обвести вокруг пальца любого взглянувшего на нее мужчину, не могла либо удачно выйти замуж, либо, наконец, сделать карьеру всеми доступными способами, а вместо этого просидела несколько лет за столиком в приемной мистера Кварендона, а потом превратилась почти в рабыню, ухватывая на лету, записывая и приводя в порядок все мои безумные замыслы?.. При этом ее вообще не интересовала детективная литература. Ведь переписывая мои рукописи, она становилась их первым читателем. Однако, она совершенно не реагировала на них эмоционально. Ее упорядоченный ум попросту не воспринимал все неизбежные в таких произведениях хитросплетения, хотя ей очень хотелось быть полезной и сделать какие-нибудь замечания. А в целом — она была незаменима... Быть может то, что я сейчас скажу, прозвучит нехорошо... Я знаю, что она умерла, и мне ее очень жаль, тем более, что обстоятельства ее смерти так ужасны... Но перед тем, как вы постучали ко мне, я стояла посреди комнаты, и как подлая, мелкая эгоистка думала о том, что же я без нее буду делать. Я знаю, — то, что я говорю, отвратительно, но я с ней очень сжилась... — Аманда умолкла.

— Еще один банальный вопрос, который мы должны задать, — вздохнул Паркер, — вы не заметили ничего особенного? Чего-то, что показалось бы странным в течение сегодняшнего вечера?

— Нет, если не принимать в расчет миссис Уорделл. Она все время была странной. Я с ней довольно долго беседовала, когда мы сидели у окна. Она говорила очень странные вещи, так, будто для нее не существовала граница между жизнью и смертью. Когда я недавно была с ней в комнате, она продолжала в том же духе. И это было ужасно, потому что она связывала смерть Грейс с умершей сотни лет назад неверной женой рыцаря де Вер. Послушай, Джо, а ведь это именно она обнаружила Грейс мертвой! Возможно ли, что...

Алекс покачал головой.

— Я не хочу вдаваться в подробности, Аманда, потому что ты и так пережила этой ночью достаточно, но убийство совершено таким способом, что этого никак не могла сделать слабая, старая, хрупкая женщина. У меня еще один вопрос: как составлялся список приглашенных гостей? Это ты выбирала людей, которых хотела здесь видеть, или этим занимался мистер Кварендон?

— Мистер Кварендон приехал сюда несколько недель назад и начал обсуждать с нами свою идею, предлагая разные решения. Грейс не присут-

ствовала при этом разговоре... я уже не помню, почему, но, по-видимому, была чем-то занята. Мы рассматривали разные, более или менее забавные проекты, а потом стали обсуждать список гостей. Кварендон не хотел, чтобы это происходило под наблюдением телевизионных камер и репортеров. Он сказал, что они испортят настроение такой ночи. Я сразу с ним согласилась. Мы сообща записали фамилии нескольких лиц, а остальные кандидатуры договорились обсудить при следующей встрече.

— Была ли миссис Уорделл в том, первом списке?

— Нет. Я уверена, что нет. Неделю спустя Фрэнк поехал на несколько дней в Лондон и вернулся с дополнительным списком, предложенным мистером Кварендоном. В этом списке были миссис Уорделл, Джордан Кедж и Дороти Ормсби. Я была счастлива, потому что, честно говоря, мне хотелось, чтобы людей было как можно меньше. Ты ведь знаешь, что для Кварендона исключительно важен был лишь какой-то новый рекламный проект издаваемых им книг. А мы все и этот замок должны были служить только фоном.

— Да... — Алекс вынул из заднего кармана джинсов конверт. — Не можешь ли ты сказать мне, кто это писал?

Он вынул из конверта три сложенных листка и протянул Аманде. Она посмотрела на текст первого, потом отложила его и взглянула на два остальных, держа их в обеих руках.

— Это мой почерк, — сказала она, — на всех трех листках.

— Эти записи производят впечатление поспешно набросанных самоубийственных мыслей.

— Да, конечно, ты совершенно прав, — она еще раз пробежала глазами текст и положила листки на стол. — Первая запись сделана около месяца назад, вторая — немного позже, а третью я набросала буквально на днях... Это и есть фрагменты самоубийственного письма из моей новой книги. Короче говоря, письмо должно выглядеть, на первый взгляд, естественно, но некоторые предложения должны возбудить у моего детектива подозрение, может, лишь одно предложение, но такое, какого именно этот самоубийца не мог бы написать — фальшиво звучащее. Это письмо должно быть составлено очень ловко. Определенным образом именно на нем и построено развитие сюжета, потому что вначале все должно создавать иллюзию смерти в результате самоубийства, и тогда начнется, на первый взгляд, совершенно абсурдное расследование, которое, разумеется, окажется эффективным и приведет к разоблачению убийцы.

— И ты отдавала Грейс эти и подобные записи?

— Да. Она вводила их в компьютер, а потом, когда наступало время писать соответствующие главы, у меня под рукой было достаточно сырого материала, которым я могла воспользоваться. Как ты сам знаешь, иногда разные мелочи приходят в голову, скажем, на прогулке, и надо подождать, пока для них найдется место в книге.

— Да, конечно. А после введения в память компьютера Грейс продолжала их хранить?

— Нет, зачем? Ведь потом они совершенно не нужны. Таких листочков с фрагментами текста я давала ей иногда больше десятка в день. Компьютер превосходен для этого, а коллекционирование моих каракулей было бы совершенно бессмысленным.

— Эти три листка, написанные в течение месяца, как ты сказала, мы обнаружили, сложенными вместе, в ее комнате.

— Это странно, но, быть может, зная, что я об этом размышляю, она хотела собрать их все, чтобы потом заложить в один файл? Я не разбираюсь в компьютерах...

— Но этот конверт мы нашли в ее шкафу. Он был спрятан под бельем...

— Под бельем? — тихо сказала Аманда.

— Мне вдруг пришла в голову совершенно абсурдная мысль, — сказал Алекс почти кротко, — о том, что каждый из этих листков, написанных твоей собственной рукой, можно было бы положить рядом с твоим телом... ну точно так, как ты планируешь это в своем романе.

Аманда Джадд подняла голову и посмотрела Алексу прямо в глаза.

— Не знаю, что ты имел в виду, говоря это, — произнесла она почти шепотом, — но я хотела бы обратить твое внимание на то, что я жива, а бедная Грейс мертва.

Паркер, который молча сидел, наблюдая за Амандой, заметил, что ее пальцы почти судорожно сжали ключ.

— Это правда, — Алекс кивнул. — Воображение понесло меня, и я болтаю глупости. Прости, пожалуйста.

— Мы все обладаем воображением и все мы — его жертвы. Не извиняйся — действительно, не за что.

Джо встал, и Паркер поднялся вместе с ним.

— Благодарим вас, — поклонился Бен. — Эта ночь уже скоро закончится, и дай бог, чтобы так же скоро мы могли закрыть это дело!

— А существует ли... есть ли у вас надежда, что так и случится?

— Пока только надежда. И ничего больше.

— А у тебя, Джо? — ее темные, умные глаза пробежали по лицу Алекса.

— Это все очень запутано... — неуверенно ответил он, — и противоречит здравому смыслу. Я пришел к определенному выводу, который представляется мне совершенно абсурдным, но иного я не вижу.

Аманда молча кивнула и направилась к двери.

— Проводить тебя до комнаты? — спросил Джо, быстро обходя стол.

Она остановила его движением руки и вышла.

Паркер положил руку на плечо Алекса.

— К какому выводу, Джо? Надеюсь, я не ослышался?

— Не ослышался.

— Значит ли это, что в этом кошмарном абсурде ты увидел...

Алекс приложил палец к губам. Паркер умолк. И тогда Джо сказал:

— В этом кошмарном абсурде я увидел лицо миссис Уорделл и понял, что должен задать ей один короткий вопрос.

— Пошли, — согласился Паркер.

XXV

Мотив

Они остановились. Паркер наклонился и заглянул в замочную скважину.

— Свет еще горит, — прошептал он, — надеюсь, она еще не уснула.

— Не будем стучать, — шепнул Джо.— Я лишь чуть приоткрою дверь и загляну. Если она не спит, я задам ей всего один вопрос. Если спит — придется разбудить. Я знаю, что она стара и устала, но я должен спросить, Бен! Причем спросить сейчас! Ее ответ — ключ ко всей загадке.

Он легонько нажал дверную ручку. Дверь приоткрылась. Алекс осторожно просунул голову сквозь щель и заглянул в комнату.

Миссис Уорделл сидела за небольшим столом, стоящим посреди комнаты. Висящая под потолком лампа бросала свет на ее лицо, но видна была лишь одна половина этого лица, потому что голова старой дамы была запрокинута назад, будто она залилась беззвучным смехом. Паркер потянул носом и, отодвинув Алекса в сторону, быстро подошел к ней. Джо тоже приблизился, и несколько мгновений они стояли молча. Комнату переполнял аромат горького миндаля.

— Цианистый калий, — произнес вполголоса Алекс. Он вернулся к двери и тихо запер ее.

Бен Паркер взял одну из худеньких рук старушки и тут же опустил ее обратно на подлокотник кресла.

— Совсем холодная. Немного в ней было жизни, и яд подействовал мгновенно, — Бен осмотрелся, и его взгляд остановился на столе. — Посмотри. Это, наверно, он и есть... — инспектор указал пальцем на маленький флакончик, закрытый стеклянной пробкой. — Нет ровно половины! Но... — он отступил и обошел кресло. Под правой рукой, свисающей с подлокотника кресла, на ковре лежал стакан. Паркер присел. — Да, яд был здесь. Она набрала в стакан немного воды, потом добавила туда половину содержимого флакончика, закрыла флакончик пробкой и только потом выпила.

Алекс утвердительно кивнул.

— На столе лежит лист бумаги и возле него ручка, — сказал он, — а рядом книга с конвертом, вложенным между страницами...

— Постараемся ни к чему не прикасаться, — шепнул Паркер.

Они склонились над столом.

Лист бумаги, лежащий рядом с флакончиком яда, был покрыт ровными строчками, написанными несколько старомодным почерком, которому упорно учили в школах барышень из хороших домов еще во времена короля Якова Пятого:

«Дорогой мистер Паркер,

мне крайне неприятно, что своим поступком я должна доставить Вам некоторые хлопоты. Но я просто не могу дождаться воссоединения с ними: с моим любимым мужем, дорогой моей дочерью и моим единственным внуком. Впрочем, я тем самым несколько облегчу Вашу задачу, ибо знаю, что, в конце концов, либо Вы, либо мистер Алекс, откроете всю правду, хотя, честно говоря, не полностью всю, потому что без меня Вы никогда не узнали бы, почему Грейс Мэплтон умерла.

Не знаю, помните ли Вы, что я обещала Вам подарить свою книгу. Я оставляю ее на столе прямо пред собой. Это книга о духах, и когда Вы ее получите, автор книги тоже будет духом... самым счастливым из духов!

В этой книге Вы найдете письмо, которое все объяснит. Не надо добавлять, что я буду Вам очень признательна, если его содержание не станет достоянием широкой публики, ибо это причинило бы много боли лицу, которое и так пережило огромные страдания из-за Грейс Мэплтон, не зная ее имени и даже не ведая о ее существовании.

Прошу принять заверения в глубоком уважении, а также еще раз прошу прощения.

Александра Бремли (Уорделл)»

Паркер выпрямился и посмотрел на Алекса. В его глазах стояло безбрежное изумление.

— Значит, все же — это она...

— Прочтем это письмо, — сказал Джо, глядя на книгу. — Судя по тому, что она тут написала, мы, по крайней мере узнаем, *почему* Грейс Мэплтон умерла.

— Но...

— Ради бога, Бен! Возьми платок, открой книгу и вынь этот конверт! Ты надеешься, обнаружить на нем чьи-то отпечатки пальцев? Но если мы обойдемся с ним осторожно, вся его поверхность будет в полном распоряжении дактилоскопистов. А ведь там важная информация, Бен! Важнейшая!

После короткого размышления Паркер кивнул головой. Он вынул носовой платок и приподнял край обложки, на которой летучая мышь с блестящими глазами вглядывалась в силуэт дома, стоящего в сиянии лунного света на безграничном пустыре.

АЛЕКСАНДРА УОРДЕЛЛ.
ПОЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ПРИЗРАКИ И ПОЧЕМУ?

— спрашивали белые блестящие буквы.

А сразу под обложкой, там, где тем же красивым каллиграфическим почерком был начертан автограф «Дорогому мистеру Паркеру», находился длинный, незапечатанный конверт. Паркер ловко вытащил из него два сложенных и исписанных с двух сторон листка бумаги.

Никакого заголовка не было.

«Меня зовут Александра Бремли и я вдова сэра Джона Бремли, промышленника, который оставил мне в наследство то, что обычные люди называют «огромным состоянием». Когда через несколько лет после кончины моего дорогого супруга, наша единственная дочь погибла вместе со своим мужем в автомобильной катастрофе, я начала заниматься исследованиями Того Света, в котором они исчезли. Эти исследования привели меня к определенным выводам, которые я старалась изложить в своих очередных книгах. Целью этих книг была не только попытка познания того, что кажется непознаваемым, но и желание принести облегчение всем тем, кто утратил кого-то любимого и ошибочно считает, что утратил навсегда.

Книги эти я издавала под своей девичьей фамилией Уорделл... Но довольно об этом. Дочь моя оставила мне своего сыночка, малыша Джорджа, моего единственного, горячо любимого внука, который с младенческих лет был умным и ласковым ребенком, доставляющим мне только радость. Когда он вырос, и пришла пора выбирать профессию, он сообщил, что чувствует призвание к духовному сану. После возвращения из Кембриджского университета он был посвящен и стал пастором, а вскоре отправился на год в Африку, где занимался миссионерской деятельностью. Вернувшись оттуда в Англию, он познакомился с одной красивой и милой девушкой, которую я буду называть здесь просто Алиса. В ближайшем будущем они намеревались вступить в брак.

Но прежде, чем это случилось, пришло ко мне трагическое известие: Джордж, который любил прогулки на своей маленькой яхте, выплыл в море, и хотя пустая яхта, терзаемая волнами, была найдена, Джорджа на борту не было. Спустя два дня отыскали его тело. Море в тот день, когда он отправился на прогулку, было бурным, и все посчитали, что волна смыла его с палубы, а ветер погнал дальше яхту, оставляя моего несчастного внука на произвол стихии. Хоть я и верю, что смерть — это всего лишь временная разлука, боль моя была велика, но, быть может, еще большей была боль бедной Алисы, лишенной подобного утешения.

На следующий день, после получения мной известия о гибели Джорджа, я получила письмо... написанное его рукой. Это не был несчастный случай! Это письмо мой внук написал и опустил в почтовый ящик перед своим отплытием в море. Оказалось, что во время пребывания в Африке и после возвращения он вел миссионерский дневник о своей жизни в джунглях, среди негритянских племен, по-прежнему находящихся на окраине цивилизации. Он хотел издать его, рассчитывая на то, что, быть может, склонит хотя бы нескольких молодых людей посвятить себя миссионерской деятельности. По воле судьбы он отправился со своей книгой в издательство КВАРЕНДОН ПРЕСС. Там он сразу наткнулся на девуш-

ку — секретаря директора издательства. Он сказал ей, что готов издать эту книгу за свои средства, поскольку достаточно богат и может уплатить за то, чтоб ее издали гораздо большим тиражом, чем обычно выходят такие книги... Так началось их знакомство.

Чтобы не затягивать этой исповеди, скажу лишь, что Бог или Дьявол наделил Грейс Мэплтон необыкновенной красотой и притягательной силой, против которых... как написал мне мой внук... невозможно было устоять. Она была подобна тем жутким сиренам, которые своим пением увлекали моряков на дно. Джордж любил Алису и считал свое мимолетное безумие глубоким падением, но не это было самым страшным. Мисс Мэплтон появилась перед ним с пакетом фотоснимков... отвратительных снимков, на которых оба они были видны, даже слишком отчетливо... Она была красива, холодна и спокойна. Она заявила, что не так богата, как он, и потому не видит никакого препятствия к тому, чтобы это стечение обстоятельств послужило бы им обоим поводом для выравнивания их имущественной разницы. Сумма, которую она потребовала, не была огромной: она хотела получать ежемесячно тысячу фунтов. Видит Бог, это было бы для меня сущим пустяком. Джордж был настолько поражен и потрясен, что тут же вручил ей эту сумму. Однако, потом перед ним с полной ясностью предстала вся правда: он, духовный пастырь, который вскоре должен будет перед алтарем присягнуть на верность молодой порядочной девушке, а своей пастве обязан будет еженедельно провозглашать высокие моральные принципы и порицать грех, сам стал банальным мелким грешником и в добавок еще жалким трусом, который оплачивает молчание никчемной женщины, чтобы не быть разоблаченным. Всю свою жизнь: и службу Господу, которого он возлюбил, и любовь к женщине, в которой он хотел видеть подругу всех дней своих, — он уничтожил одним-единственным поступком, оставаясь по-прежнему в когтях этой хищницы, из которых ему уже никогда не вырваться. И осознав все это, он выплыл в море, чтобы никогда больше не вернуться.

Что же я могла сделать? Я могла подать на Грейс Мэплтон в суд. И, наверно, она была бы наказана, как шантажистка. Но дело, конечно, попало бы в прессу и вызвало бы много шума. И тогда я нанесла бы бедной Алисе еще один страшный удар. Она по сей день не знает правды и не должна узнать ее, о чем я от всей души прошу получателя этого письма, кем бы он ни оказался. Эта несчастная девушка не вышла замуж, она часто бывает у меня, и мы вместе вспоминаем Джорджа. Я надеюсь, что со временем жизнь все же напомнит о своих правах, и она встретит порядочного человека достойного ее. Но пока это время явно не наступило. Джордж остается рыцарем ее печальных снов. И если бы ей пришлось пробудиться от них, прочтя в газете о том, что в действительности произошло в тот день, это могло бы отнять у нее веру в людей на всю жизнь...

Итак, я ждала. Я отдавала себе отчет в том, что мой внук наверняка не единственная жертва этого ужасного существа и, быть может, кто-нибудь другой сделает так, чтобы исполнились Бессмертные Слова о тех, которые мечом воюют и от меча гибнут, что означает: зло, совершенное человеком, непременно должно обратиться против него. И когда, наконец, свершилось то, что свершилось, меня это не удивило. Я выезжаю в Девон с непоколебимой верой в торжество справедливости, а если еще этому поможет — в чем я абсолютно убеждена — измученная душа несчастной Евы де Вер, ожидающая сотни лет исполнения предначертанной ей судьбы, дабы могла она, наконец, уснуть в покое, — буду счастлива.

Прощай, мир жалкий и увечный — здравствуй, мир прекрасный и совершенный!

Александра Бремли».

— Вот, значит, как... — пробормотал Паркер. — Письмо безумца!

— Возможно... — пожал плечами Джо. — Но, не считаешь ли ты, что она права? И этот несчастный молодой человек не был, пожалуй, единственной жертвой Грейс Мэплтон?

Джо на минуту прикрыл глаза. «Я буду ждать. Я не усну...»

— Как личный секретарь мистера Кварендона, она имела возможность знакомиться с сотнями людей... А при такой красоте... — Паркер тоже пожал плечами, и вдруг, отряхнувшись от своих размышлений, взглянул на Алекса.

— И ты считаешь, что это все же возможно?

— Что именно?

— Что она могла в приступе безумия каким-нибудь необъяснимым способом убить ее?

— Ты ведь прекрасно знаешь, что это невозможно, Бен.

— В таком случае, — глухо сказал Паркер, — независимо оттого, кем была Грейс Мэплтон, и какие еще грехи и преступления она ни совершила, мы снова оказались в исходной позиции. У нас есть убитая, у нас есть возможный мотив убийства, но у нас нет убийцы, ибо по-прежнему *никто* не мог убить Грейс Мэплтон!

— Дай мне на минуту это письмо и ту прощальную записку, — попросил Алекс.

— Но я ведь говорил тебе об отпечатках пальцев...

— На этих бумагах окажутся только ее отпечатки. Могу тебя в этом заверить. Все это чистейшая правда. Никто не подбрасывал сюда эти письма.

— И я так думаю, но...

— Заметил ли ты, что она написала это письмо до приезда сюда? «Я выезжаю в Девон...»

— Да, но...

— А это означает лишь одно, Бен: миссис Александра Бремли знала уже перед отъездом сюда, что Грейс Мэплтон погибнет, но миссис Александра Бремли не убила ее.

— Возьми эти бумаги, если хочешь, — Паркер потер лоб. — Скоро на нас свалится рой полицейских, вооруженных новейшими достижениями следственной техники, и я смогу сделать для них единственное заявление: хотя Грейс Мэплтон никто и не мог убить, призрак Евы де Вер больше не будет здесь появляться. Интересно, как они это воспримут?

XXVI

«Это был бы несчастный случай...»

— И что теперь? — Паркер снова осмотрел комнату. Его взгляд задержался на миссис Бремли, сидящей в кресле с жуткой улыбкой на устах. — Будь это хотя бы другое оружие! — почти простонал он. — А не этот проклятый гигантский меч!

Алекс положил руку на его плечо.

— Послушай, до рассвета остается всего час, а может и меньше. Давай закончим опросы. Сначала хотелось бы установить одну вещь — я имею в виду этот проклятый скелет. Мне кажется, его подбросил Кедж, и это обыкновенная дурацкая шутка, но кто ж может знать?

— А зачем бы этот серьезный, шестидесятилетний мужчина позволял себе такие дурацкие шутки?

— А затем, что Дороти Ормсби написала когда-то разгромную рецензию, которая ему сильно повредила, потому что все считаются с ее мнением. Я не хочу присутствовать при вашем разговоре, потому что это мой коллега, мы знакомы много лет, а дело, скажем так, щекотливое. Он мог бы тут же соврать в глаза и от всего отказаться. Стыд не позволил бы ему признаться. А вот если этот вопрос задашь ему ты, да еще добавишь пару слов об отпечатках пальцев и придумаешь что-нибудь отягощающее, он признается наверняка, потому что я не верю, что он сделал это в перчатках. Вспомни: дело происходило во время конкурса, а Кедж дольше всех не возвращался в столовую! А позже, услышав о смерти Грейс, он не смог скрыть своего испуга. Ну, короче, ты справишься. Второй вопрос — это Дороти Ормсби. Там я тоже не хотел бы присутствовать, и сейчас скажу, почему. Ты можешь к ней пойти, в случае, если Кедж признается, что это он подбросил скелет. Разумеется, не говори ей, что это Кедж. Важно, чтобы ты сказал, что это не лорд Редленд. Кажется мне, что их в прошлом что-то связывало, и Дороти отвергла предложение выйти за него замуж. Час назад она была уверена, что это его отвратительная шутка, и я заметил, что на ее глазах выступили слезы. А Дороти Ормсби отнюдь не выглядит барышней, которая плачет по первому же удобному поводу.

Паркер кивнул и направился к двери.

— Минутку, — остановил его Алекс. — И Кедж, и дело с лордом Редлендом — это линии побочные. Важно нечто совсем другое. Весь вечер Дороти делала заметки в своей записной книжке. Мне кажется, там находятся разные наблюдения, касающиеся поведения многих присутствующих в столовой. Ты должен это прочесть! Если она не захочет отдать тебе свои записи, решительно попроси позволения хотя бы прочесть их в ее присутствии. Мне она их наверняка не покажет, поскольку я — частное лицо, а вот тебе она не сможет отказать, потому что совершено преступление, а ты — офицер полиции. Умоляю тебя, прочти это срочно, потому что может внезапно выплыть что-нибудь, о чем мы оба вообще не подумали. Ведь кто-то все же убил эту несчастную Грейс Мэплтон!

— Хорошо, — сказал Паркер. — А ты?

— Я пойду к доктору Харкрофту и помучаю его насчет этого меча. Он ведь опытный врач. Может, существует какой-нибудь другой вариант? Не знаю... Но ведь кто-то же ее убил, как я уже говорил... Потом я хочу заглянуть к Кварендону и спросить его о том, кто кого приглашал сюда на юбилей Аманды. Это тоже может быть существенным. А еще надо поговорить с Тайлером и... тут в замок ворвется толпа полицейских, взойдет солнце, если тучи позволят ему показаться, и расследование двинется дальше.

— Куда двинется? — вздохнул Паркер. — Ну ладно, постучи Кеджу и скажи, что я жду его в библиотеке. Соседство убитой произведет на него впечатление.

Джо молча кивнул, и они оба вышли, тихо заперев дверь. Алекс указал на соседнюю комнату и движением руки поторопил друга. Паркер быстро удалился на цыпочках. Толстый ковер приглушил его шаги.

Джо еще немного помедлил и тихонько постучал.

— Кто там? — тихо спросил Кедж из-за двери.

— Алекс.

Дверь открылась. Кедж по-прежнему был в вечернем костюме. Очевидно, он ни минуты не спал.

— Что случилось? — спросил он испуганным голосом.

— Бенджамин Паркер хочет с тобой поговорить. Он тут опрашивает всех перед приездом полиции из графства. Это для того, чтобы все, кто не имеет ничего общего с... ну, ты знаешь с чем, могли уехать, как можно скорее.

— Я сейчас там буду... — Кедж поколебался, но после секунды размышления отступил и закрыл дверь.

Джо двинулся по галерее, дошел до конца, повернул направо, остановился перед дверью доктора Харкрофта, постучал и вошел. Когда он вышел оттуда десять минут спустя, в коридоре по-прежнему царила тишина. Он двинулся направо и по дороге заглянул в библиотеку. Она была пуста. По-видимому, Паркер, уже закончил с несчастным Кеджем и был теперь у Дороти. Джо как раз направлялся к двери комнаты мистера Кварендона, когда она внезапно отворилась, и тучный издатель собственной персоной показался на пороге. Увидев Алекса, он взволнованно всплеснул руками и тут же отступил назад, жестом руки призывая его следовать за ним.

Изумленный Джо вошел. Мистер Кварендон стоял с поднятой рукой, повернувшись к своим псам, которые немедленно вскочили, как только Алекс появился в комнате.

— Лежать! — негромко, но твердо приказал Кварендон. Собаки легли и застыли неподвижно, не сводя с Алекса глаз. — Садитесь, умоляю вас, — мистер Кварендон указал Алексу на кресло. — Представьте себе, — я вышел как раз для того, чтобы постучаться к вам. Какое стечение обстоятельств!

— Тем большее, что я тоже шел именно к вам, — спокойно сказал Джо.

— Правда? — мистер Кварендон поднял брови и вдруг умолк. Потом снова оживился. — Удалось ли вам уже установить, кто?..

— Нет, — отрицательно покачал головой Джо, — не удалось. Но у нас есть на этот счет разные, более или менее правдоподобные теории, одна из которых, наверно, окажется правильной. Однако, расследование может проводиться весьма кропотливо и затянуться надолго. Я знаю, что это будет неприятно для лиц невиновных, тем более, что пресса, очевидно, набросится на это событие, как стая голодных волков. Одних наших фамилий достаточно, чтобы придать всему этому мрачный оттенок. Мне жаль вашего друга сэра Гарольда Эддингтона. Вы хотели украсить наше скромное собрание присутствием заместителя министра, тем временем несчастный долго еще будет обречен видеть свое лицо на первых страницах всех бульварных газет Великобритании. Не говоря уже о том, что они начнут копаться в его личной жизни, привычках, слабостях и так далее. Именно поэтому я и хотел сейчас навестить вас. Мне следовало бы постучаться к нему, но я почти не знаком с ним. А тем не менее, есть один вопрос, который я должен ему задать.

— Вопрос? Надеюсь, вы не предполагаете...

— Я не имею права ничего предполагать. Там, где речь идет об убийстве, надо знать. Но, разумеется, расследование должно стремиться к устранению всевозможных неясностей...

— Неясностей? Но что может быть неясного...

Джо поднял руку и остановил его.

— Быть может, это глупость, — произнес он с легким колебанием, — но вчера утром, сразу после приезда, у меня сложилось впечатление, что сэр Гарольд либо чем-то очень расстроен, либо какие-то мысли выводят его из равновесия. Когда мы разминулись в калитке замка, а вы в это время выводили на прогулку своих собак, сэр Гарольд производил впечатление человека, который находится в трансе... Конечно, я могу ошибаться. Быть может, сэр Гарольд иногда выглядит так без всякой причины, или он просто переутомился? А может, он слишком рано встал или попросту плохо переносит воздушные путешествия? Я знаю многих отважных людей, которые с трудом переносят любые полеты. В том числе и на вертолете. Во всяком случае, этот вопрос меня беспокоит. Вы ведь знаете его много лет — он

ваш друг. Как, по-вашему, его поведение вчера утром было совершенно нормальным?

— Я уверен, что... — начал мистер Кварендон и снова умолк. С минуту он сидел, вглядываясь в Алекса. Потом неспокойно шевельнулся. Псы посмотрели на него. Алекс тоже молчал. — Можете ли вы дать мне слово, что то, о чем я сейчас расскажу, навсегда останется между нами? — мистер Кварендон подался вперед.

Алекс беспомощно развел руками.

— Несколько часов назад здесь была убита молодая женщина, ваша бывшая секретарша, и мы ведем расследование этого дела. Как же вы можете просить, чтобы я обязался молчать, даже не зная, что вы намерены мне сообщить?

— Я, в свою очередь, могу дать вам слово, что все, о чем я скажу, не касается... — он поколебался, — не касается этого убийства.

— А касается ли это другого убийства?

Мистер Кварендон не ответил. Алекс ждал.

— Это очень трудно, — произнес, наконец, мистер Кварендон хриплым шепотом.

— Может, я помогу вам, — Джо не спускал с него глаз. — Грейс Мэплтон была очень красивой женщиной.

Тучный издатель резко вздрогнул.

— Что вы хотите этим сказать?

— Очень красивой и очень опасной, настолько опасной, что, быть может, далеко не один человек обрадуется, прочтя в завтрашних газетах, что особа с таким именем и фамилией была убита.

— Вы так считаете?

Джо кивнул.

— Вопрос звучит очень просто, мистер Кварендон: обрадовало ли это известие вас и вашего друга, сэра Гарольда? А может быть, только одного из вас?

— А почему оно должно было нас обрадовать?

— Потому, что Грейс Мэплтон была опасной и беспощадной шантажисткой.

— Откуда вы знаете? Неужели вы тоже?..

Кварендон умолк.

— О нет, — лениво сказал Джо Алекс, чувствуя неизвестно почему, что не говорит всей правды, — это не мой личный опыт. — Назовем это условно «фактом, выявленным в ходе расследования».

— Боже мой! — сказал Кварендон. — Что делать?

Джо взглянул на часы.

— Через десять-двадцать минут, а, быть может, и через минуту, сюда войдет большая полицейская группа, состоящая из исполнительных и настойчивых функционеров... а поскольку убийца все еще не схвачен, и нам даже не известно его имя, они начнут тщательно копаться в жизни всех здесь присутствующих. Ни комиссар Паркер, ни, тем более, я, не сможем этому воспротивиться, потому что следствие руководствуется собственными законами, не обращая внимания ни на имущественное, ни на общественное положение подозреваемых лиц... а вы не можете не признать, что даже в эту минуту разговариваете со мной как человек, у которого есть что-то на совести. Я не могу пообещать, что не повторю никому того, что вы мне скажете, поскольку вы не говорите мне правды. Я могу лишь обещать, что если вы расскажете мне всю правду, и она не будет связана с убийством Грейс Мэплтон, я сохраню ее для себя, если это будет возможно. Вот и все. У меня есть две минуты времени, и если вы не захотите поведать того, что укрываете от меня, я оставлю вас и вашего друга

наедине с вашими проблемами. А поскольку мы знакомы много лет и нас связывают добрые и дружеские отношения, мне будет очень жаль, потому что я хочу уберечь вас обоих от неприятностей.

Мистер Кварендон не ответил. Минуту спустя Джо посмотрел на часы.

— Хорошо, — тихо сказал издатель. — Я скажу вам. Но должен предупредить, что речь идет о счастье двух семей и о судьбе двух порядочных людей.

— Значит, и вы тоже... — прошептал Алекс и с пониманием покивал головой.

— Нет! — решительно возразил мистер Кварендон. — Уже много лет назад я поклялся себе, что никогда ни одна секретарша, ни одна горничная... Господи, да вы же понимаете, о чем я говорю. Ни один мужчина не свят, но нельзя себе ничего позволять ни на работе, ни в собственном доме... Это всегда очень опасно и часто плохо кончается. Поэтому здесь речь идет не обо мне. Я скажу вам... Я скажу вам все, и, быть может, вам удастся спасти меня и сэра Гарольда! У меня есть дочь. Ее муж — молодой, многообещающий политик, депутат Палаты общин. У них двое детей. А дочь моя очень ревнива и, если бы она, например, узнала из газет, что ее муж изменяет ей, думаю, это означало бы конец их супружества. Она очень горда. А для него это вообще означало бы конец карьеры. Публичный скандал — этого бы ему ни за что не простила Консервативная партия! Сэр Гарольд, мой лучший друг, часто навещал меня в издательстве, и мы вместе ходили на ленч в клуб... А этот прекрасный бес в юбке сидел в приемной, через которую проходил каждый, кто хотел меня увидеть... — он глубоко вздохнул и тыльной стороной ладони отер пот со лба. — Сэр Гарольд женат, у него трое детей и столько же внуков. Вы помните аферу Профюмо? Именно такая девушка полностью уничтожила очень талантливого и во всем остальном порядочного человека, члена правительства... Я уже не говорю о семье Гарольда и о том кошмарном стыде, который она испытала бы из-за этих ужасных бульварных изданий, выходящих миллионными тиражами... — он снова глубоко вздохнул. — Вы можете спросить, как я об этом узнал? Зять пришел ко мне и все рассказал. Я был единственным человеком, которому он мог довериться. Он боялся поговорить об этом даже с собственным отцом. Тогда я открылся Гарольду, с целью спросить его совета. И тут оказалось, что он сам находится в такой же ситуации! Эта женщина была дьяволом. Холодным, рациональным дьяволом, которого Природа наделила искусством неотвратимо успешного покорения мужчин. В обоих случаях было то же самое: разнузданные снимки — она и жертва в позах, не оставляющих никакого сомнения... А мой глупый зять даже имел неосторожность несколько раз позвонить ей в мой офис, и она, разумеется, тут же записала на магнитофон эти разговоры. В обоих случаях она поступила одинаково: требовала ежемесячных выплат — не много, но и не мало. Столько, сколько жертва наверняка могла бы платить без больших сложностей. Но в любую минуту что-нибудь могло случиться: кто-то мог случайно обнаружить негативы и кассеты, она сама в любой момент могла бы перейти в генеральное наступление, в общем, сделать все, что ей вздумается — она их всех держала в руках. А теперь я скажу кое-что, что может показаться вам забавным. Я сочинил собственный криминальный роман, мистер Алекс. Я купил замок Волчий Зуб, я пригласил сюда под предлогом юбилея Аманду Джадд с ее мужем и Грейс, которая, к счастью, уже два года не была моей секретаршей, — между прочим, ушла она от меня сама, и расстались мы в очень хороших отношениях — я ведь тогда и понятия не имел о ее истинном занятии. Я пригласил гостей и придумал этот конкурс. И вместе с Гарольдом мы собирались избавиться здесь от этой ядовитой кобры. Мой замысел был прост: на второй день пребывания

я должен был попросить ее подняться с нами на башню и снять нас вместе с Гарольдом на память. И тогда он должен был выстрелить ей в лицо из газового пистолета одурманивающим зарядом, а я накинул бы ей на шею фотоаппарат, и мы вместе перебросили бы ее через барьер вниз, разумеется не со стороны суши, а со стороны открытого моря, где никто бы этого не заметил. Если бы поблизости была лодка, мы бы выждали. Потом мы сбежали бы вниз, крича всем, что Грейс хотела нас сфотографировать, взобралась на барьер, споткнулась и упала. И уверяю вас, что никто — ни вы, ни ваш друг Паркер — никогда бы не подумали, что двое таких уважаемых и солидных людей могли бы вместе убить очаровательную, молодую женщину, о которой, пока она была жива, никто и слова дурного не сказал. Мы были абсолютно уверены в успехе. Никаких угрызений совести у меня не было. Шантажист — самое гнусное из созданий. Но Гарольда ужасал сам факт нашего поступка...

— А где этот газовый пистолет? — внезапно спросил Алекс.

— Здесь.

Мистер Кварендон подошел к ночному столику, выдвинул ящик и протянул темный оксидированный пистолет. Джо кивнул и спрятал его в карман.

— Это не все, — быстро сказал Кварендон, — это был бы несчастный случай, и мы были уверены, что никто не бросится немедленно делать обыск в квартире Грейс, а мы добрались бы туда первыми. Но, к сожалению, сейчас совершено убийство и теперь мы не знаем... не знаем, что там найдет полиция...

— Понимаю, — сказал Джо. — То, что вы мне рассказали, пока не существенно. Само намерение не подлежит наказанию, если не начата его реализация. Впрочем, мы беседуем с глазу на глаз, и если бы я даже кому-нибудь проговорился, вы всегда можете заявить, что я все это выдумал.

— Но...

— Но я могу вас утешить. Я знаю, кто убил Грейс Мэплтон. Я знаю это с первой же минуты, потому что у меня не было никакого выбора. Только один человек мог сделать это. Я лишь не знал, почему он это сделал. А с некоторого времени знаю. Я уверен, что полиция не огласит ничего, что могло бы скомпрометировать кого-либо из жертв убитой. И, кстати, я уверен, что вы ничего не нашли бы в квартире Грейс Мэплтон. Это была отнюдь не рассеянная девушка, насколько мне известно. А вы — наверняка не единственные люди, которые дали бы очень многое, чтобы получить письма, снимки или кассеты с записями. Спокойной ночи, мистер Кварендон.

И он тихо вышел, оставив хозяина с открытым ртом и побелевшим лицом.

XXVII

Решетка дрогнула...

Джо вошел в библиотеку и уселся на скамью напротив Паркера.

— Что ты открыл?

— Ты был прав — это он, — Паркер пожал плечами. — Сначала он все отрицал, но... когда я, по твоему совету, слегка его постращал, он раскололся сразу. Сказал, что у него не было никаких дурных намерений — он всего лишь хотел ее напугать. Разумеется, он не имел понятия, что здесь будет совершено преступление. Ну, короче — я увидел подлинные слезы в его глазах. Он вытирал их платочком и каялся так, будто это он убил несчастную Грейс Мэплтон. А потом стал меня умолять, чтобы я никому об этом не рассказывал.

— А ты?

— Ну, я обещал ему... — Паркер беспомощно улыбнулся. — Но, к сожалению, это ни на шаг вперед не продвинуло наше расследование.

— Этим ты хочешь сказать, что был также у Дороти, прочел ее записи, и не нашел в них ничего, что могло бы нам помочь?

— Именно это я и хочу сказать. Когда она узнала, что это вовсе не лорд Редленд подбрасывает в ее комнату скелеты, она явно обрадовалась и даже не спросила меня, кто это сделал. Впрочем, я и так бы ей не сказал. А в записной книжке масса разных заметок обо всех нас. — Джо заметил, что его друг внезапно покраснел. — В общем, ничего важного.

— Похоже, она отнеслась к тебе с явной симпатией?

— Откуда ты знаешь?.. Да... действительно... но это не имеет никакого значения. А ты — чего ты добился?

— Я был у доктора Харкрофта и несколько минут беседовал с ним об этом проклятом мече. Он утверждает, что даже если бы миссис Уорделл была бы действительно безумной и вдруг открыла в себе сверхчеловеческие силы, она не могла бы нанести такой удар. И, к сожалению, думаю, он прав, Бен. Я был также у мистера Кварендона...

— Послушай, — вздохнул Бен. — Звонили из деревни. Вся группа уже здесь и ждет. Начался отлив, но ветер гонит с моря штормовые волны, и они переливаются через дамбу. Дождь кончился, но суперинтендант Дерри говорит, что пока они еще не могут перетащить сюда свое оборудование. Я сказал им, что сейчас здесь ничего не происходит, и пусть они не рискуют до тех пор, пока не появится возможность спокойно перейти по дамбе.

— Значит, у нас есть час, а может, даже немного больше времени.

— И как мы распорядимся этим часом? Если миссис Уорделл не могла ее убить, мы прочно и безнадежно застряли на месте. Если бы не псы Кварендона, оставалась хоть тень надежды, что где-то прячется неизвестный убийца, ну а так я уверен, что псы бы его вынюхали. А если никакого постороннего убийцы нет, то это означает, что нет и никого другого. С ума сойти, Джо! Такое дело может присниться, но не может произойти наяву.

— А если бы я тебе сказал, что убийца существует?

— Я бы тебе не поверил. — Паркер вздохнул. — Вот здесь, на столе, передо мной лежит листок, а на нем выписаны фамилии всех, кто остался в замке после отъезда прислуги. Никто из них не мог убить Грейс Мэплтон.

— Мог, — спокойно ответил Джо.

— Кто?

Джо склонился над столом и шепотом сказал ему что-то на ухо.

— То есть как? — Паркер заглянул в список. — Но ведь...

— Подожди, — остановил его Джо. — Я сам еще не все понимаю, но главное уже понял. Я хотел бы пригласить сюда Фрэнка Тайлера, который, конечно, не пронзил рыцарским мечом секретаршу своей жены. Однако, думаю, что после разговора с ним все будет ясно.

Паркер молча кивнул. Он явно потерял дар речи, еще раз поднес к глазам свой листок и вглядывался в него, перечитывая список фамилий.

— Но, Джо, послушай, — сказал он. — Мне кажется, ты недостаточно обдумал то, что сказал. Ведь...

Алекс снова остановил его.

— Я схожу за Тайлером и приведу его сюда.

Он вышел.

Паркер еще с минуту сидел, нахмурив брови, и вдруг его лицо прояснилось.

— Господи... Ну и дурак же я, — прошептал он.

Вернулся Джо.

— Тайлер сейчас придет.

Он сел рядом с Паркером, спиной к камину, лицом к доспехам и готическому сундуку. Потом улыбнулся своему другу.

— Ты обдумал то, что я сказал?

— Да, — кивнул Паркер. — Это невероятно, но это единственная возможность.

— Мы находимся в очень комфортной, если так можно выразиться, ситуации. — Джо снова улыбнулся. — Тебе не надо арестовывать убийцу, потому что он не может убежать. Ты даже можешь им вовсе не заниматься, пока не приедет полиция.

— Это верно, — Паркер с сомнением покачал головой. — Однако...

Бен не закончил, потому что открылась дверь, и вошел Тайлер, одетый в белый спортивный костюм и кроссовки.

— Я так и не смог уснуть, — он сел на скамью напротив. — Хотел немного поработать, чтобы продержаться до утра, но не могу собраться с мыслями.

— Мы хотим, чтобы вы нам помогли, — спокойно сказал Алекс. — Надеюсь, вы можете это сделать.

— Я? — Тайлер поднял брови.

— Да, — кивнул Джо. — Итак, как вы знаете, никто из лиц, принявших участие в придуманном вами конкурсе, не мог убить Грейс Мэплтон, а поскольку вы вместе с нами и собаками мистера Кварендона обыскали весь замок, вы также знаете, что никто посторонний здесь не укрылся. Но рассмотрим все по порядку, с самого начала, и вернемся к той минуте, когда все присутствующие в замке собрались вечером в столовой. Разумеется, мы не принимаем во внимание Грейс Мэплтон, которая покинула нас, чтобы занять место в этой комнате... — Джо указал рукой на парчовую штору, — но мы можем сейчас о ней не говорить по вполне понятным причинам. Итак, все мы собрались в столовой, и после короткой церемонии начался конкурс. Было нас там одиннадцать человек. Мы сразу можем исключить из числа возможных убийц вас и Аманду, потому что вы оба ни на долю секунды не покидали столовой. Вы были хозяевами и не принимали участия в конкурсе. Таким образом, я могу вычеркнуть из моего списка два имени: Аманда Джадд и Фрэнк Тайлер. Остается девять участников конкурса. Надо сразу отметить, что его неписаное правило предполагало возвращение каждого из участников, разыскивающих Белую Даму, прежде чем на поиски двинется следующий. Это означает, что в течение всего конкурса никогда не возникала такая ситуация, чтобы два человека *одновременно* находились вне столовой. — Джо на секунду умолк, затем продолжал:

— Итак, согласно проведенной вами жеребьевке, первым на поиски отправился Мелвин Кварендон, который вернулся чуть позже предписанных правилами пятнадцати минут и заявил, что ему не удалось разыскать укрытую Грейс Мэплтон, которую мы можем не называть дальше условным именем Белой Дамы. Мистер Кварендон, которого мы обозначим номером первым, вернулся в столовую и больше не покидал ее до того момента, когда убийство было обнаружено, а поскольку несколько лиц видело Грейс живой уже после его возвращения — у него также железное алиби. Вторым отправился я, Джо Алекс, после меня — сэр Гарольд Эдингтон, потом — Джордан Кедж, лорд Фредерик Редленд, присутствующий здесь Бенджамин Паркер, Дороти Ормсби и миссис Александра Уорделл. Кроме меня, до ложа Грейс Мэплтон добрались лишь мистер Кедж, мистер Паркер и мисс Ормсби, остальным это не удалось, что подтверждает листок, на котором Грейс собственноручно отметила время прибытия четырех лиц...

Джо снова умолк, а затем продолжил:

— ...Тут важно то, что мистер Паркер отправился на поиски шестым, а мисс Ормсби — седьмой. Они оба застали Грейс живой, что дает абсолютное алиби всем, кто искал до них, поскольку никто из вернувшихся больше не покидал столовой. Последним человеком, видевшим Грейс живой, была Дороти Ормсби, а поскольку следом за ней двинулась миссис Уорделл, можно было бы предположить, что одна из них является убийцей, потому что либо убила Ормсби, и тогда миссис Уорделл обнаружила уже убитую Грейс, либо Ормсби сказала правду, и тогда убила сама миссис Уорделл...

Джо покачал головой, словно сам не доверял словам, которые собирался произнести:

— Ирония судьбы, однако, заключается в том, что ни Дороти Ормсби, ни Александра Уорделл не могли убить Грейс, ибо обстоятельства убийства исключают возможность нанесения такого удара худощавой женщиной невысокого роста... Ни одна из них не могла бы так ударить сверху этим огромным мечом, вес которого вы прекрасно знаете, так как он висел на стене вашей комнаты.

Тайлер молча кивнул. Он был очень бледен.

— Но раз ни Дороти, ни миссис Уорделл не могли убить, — продолжал Джо, — а Дороти утверждает, что видела Грейс живой, причем последняя собственноручно подтвердила ее присутствие, то остается одна-единственная возможность: кто-то убил Грейс Мэплтон после выхода от нее Дороти Ормсби и до прихода Александры Уорделл! Но это было совершенно невозможным, поскольку, как мы знаем, все остальные участники конкурса, включая вас и вашу жену, находились в это время в столовой и никто не покинул ее даже на секунду! И при этом мы уверены, что в замке никто посторонний не скрывался. Грейс также не могла совершить самоубийство, исходя из способа нанесения удара.

— Я полагаю, вы не верите в призраки? — прошептал Фрэнк.

Джо встал и подошел к портрету.

— Вы хотите сказать, что, раз ее не мог убить человек, то это сделала прекрасная Ева де Вер, столетиями ожидающая такой возможности? Должен признать, что еще никогда в жизни я не был так близок к вере в то, что имею дело со сверхъестественной силой. Ситуация была невероятной. Как справедливо заметил мистер Паркер, нечто подобное могло бы присниться, но не могло произойти наяву... Ведь речь шла не о каком-то мотиве преступления, не о том, кем была или не была убитая, не о тысяче других вопросов, которые являются предметом каждого расследования. Речь шла просто о физической возможности совершения этого преступления. И такой возможности не было! — Джо на минуту умолк, а когда начал говорить снова, монолог его утратил драматические акценты и превратился в спокойное, деловое сообщение, так, будто он читал отчет о проведенном научном эксперименте: — В столь поразительной ситуации мне вдруг пришло в голову, что просто надо взглянуть на это дело с другой стороны, перечеркнув лежащий на поверхности логический ход событий и выводов... и поискать какую-то иную логическую систему. Я отбросил все начало конкурса и мысленно устремился к основному факту, в котором я был уверен, а именно: последним человеком, который видел Грейс Мэплтон живой, была Дороти Ормсби, и Грейс собственной рукой подтвердила этот факт. Я знал также, что Дороти не могла пронзить Грейс мечом. Второй вопрос был: что произошло между возвращением Дороти Ормсби и той минутой, когда, войдя сюда, я увидел Грейс мертвой? Я собственными глазами видел выходящую из столовой миссис Уорделл, и видел, как, спустя некоторое время, она вернулась и упала в обморок... который, по ее словам, был

вызван потрясением при виде убитой Грейс. И это было все. Но нет! Не все! Дело в том, что столовую в это время покинуло еще одно лицо!

— То есть как? — тихо спросил Тайлер.

— Доктор Харкрофт, — спокойно ответил Джо, — побежал в свою комнату за медицинским саквояжем, в котором у него находились шприц и успокаивающее средство... И я задумался: если предположить, что Грейс в ту минуту была еще жива, хватило бы у доктора Харкрофта времени подняться по лестнице, проскользнуть сюда, — он указал на дорожку между входной дверью и парчовой шторой, — войти к Грейс, поднять меч, нанести удар, а затем побежать за своим саквояжем и вернуться вниз?.. Я пришел к выводу, что перенесение миссис Уорделл на диван, подкладывание под ее голову свернутого сюртука мистера Паркера и несколько минут ожидания возвращения доктора были тем временем, которого бы вполне хватило. А если бы, к тому же, у него в кармане находились заранее приготовленные резиновые перчатки, он мог бы их надеть еще поднимаясь по лестнице — не мог же он оставить свои отпечатки пальцев на рукояти меча... Прошу припомнить, что Грейс должна была притворяться убитой, она лежала с закрытыми глазами, а меч был брошен поперек ложа. Услышав скрежет ключа в замке, она немедленно принимала эту позу. Харкрофт мог с ходу схватить меч и нанести удар так быстро, что она едва успела бы открыть глаза и уж наверняка не сделала бы никакого движения, пытаясь заслониться или оттолкнуть падающее лезвие... Все это было возможно, но совершенно неправдоподобно. Как мог доктор Харкрофт убить Грейс Мэплтон, когда миссис Уорделл видела ее мертвой до того, как он вышел из столовой?

И хотя возникала еще сотня вопросов, я знал, что не имею права принять никакой версии, которая исключала бы вину Харкрофта. Потому что не могла существовать никакая иная физическая возможность убийства Грейс Мэплтон в эту ночь. Таким образом, мне пришлось применить цепочку логических рассуждений, основанную на недоверии к тому, что мне говорилось. Я задал себе вопрос: если доктор Харкрофт убил Грейс Мэплтон, могла ли миссис Уорделл видеть ее мертвой? Разумеется, нет. Тогда почему же миссис Уорделл, вернувшись, потеряла сознание? Логическая причина могла быть только одна: для того, чтобы дать возможность Харкрофту выбежать за саквояжем и убить Грейс Мэплтон!

Итак, поскольку единственным убийцей мог быть только доктор Харкрофт, а убить он мог лишь в том случае, если бы ему удалось на несколько минут покинуть столовую, — миссис Уорделл должна была быть его сообщницей! Более того, — сообщницей, которая одновременно создавала ему железное алиби! Ведь никто в мире не осудил бы его за совершение преступления, раз миссис Уорделл видела Грейс мертвой перед его выходом из столовой, которую он ни на секунду не покидал с самого начала конкурса. Это было гениально, совершенно гениально! Но почему? Что могло объединять двух столь разных людей?

Здесь и находился ключ к тайне.

Мы навестили миссис Уорделл в ее комнате. Я хотел задать ей лишь один вопрос: *как выглядела убитая Грейс Мэплтон*? Я, конечно, был убежден, что она не сможет ответить на этот вопрос. Я знал, что Грейс Мэплтон погибла после возвращения миссис Уорделл в столовую. Я полагал, что мне удастся добыть у старой леди хоть часть правды... Но миссис Уорделл значительно облегчила нашу задачу. Перед самым нашим приходом она покончила жизнь самоубийством и оставила письмо... В этом письме я нашел мотив: Грейс Мэплтон была жестокой и беспощадной шантажисткой, которая использовала свое прекрасное тело в качестве ловушки для богатых мужчин, которые не могли позволить себе быть скомпро-

метированными. Уликами служили не оставляющие сомнений интимные снимки, письма и магнитные записи телефонных разговоров. Внук миссис Уорделл не вынес такой ситуации и совершил самоубийство. Но наибольшую пищу для размышлений давал тот факт, что миссис Уорделл написала это письмо до приезда сюда! Значит, должен был существовать готовый, заранее разработанный во всех деталях план. Бедная старушка даже не отдавала себе отчета в том, что этим письмом она разоблачает других... А передо мной возникли новые вопросы. Доктор Харкрофт являлся сообщником старой дамы, и о причинах этого можно было догадываться. Он известный врач с обширной практикой, у него жена и двое детей. Часто бывая у мистера Кварендона, он не раз должен был встречаться с его секретаршей. Впрочем, всякий, кто видел Грейс Мэплтон, знает, что ее трудно было не заметить. Если предположить, что доктор Харкрофт был для нее идеальной потенциальной жертвой, об остальном можно догадаться. Но он, должно быть, оказался слишком умным, чтобы поверить, будто он легко отделается. Обычно, со временем шантажисты начинают требовать все больше... А кроме того, всегда существует шанс, что правда может открыться. Харкрофт человек сильный, но он был доведен до отчаяния... и потому принял ваше признание с пониманием, а позже одобрил ваш план.

— Что? — спросил Тайлер. — Мой план?

— Ну да, — кивнул головой Алекс так, будто речь шла о сущем пустяке. — Ведь с самого начала стало ясно, что главной пружиной всего этого были вы.

— Вы что, с ума сошли?

— Давайте обойдемся без грубостей, пока я не закончу. Если вы обнаружите какой-нибудь пробел в моем рассуждении, и окажется, что я плету вздор, я от всего сердца попрошу у вас прощения...

Паркер медленно поднялся с кресла, обошел стол и встал, заслоняя собой дверь в коридор.

— Вы, вероятно, гений, — сказал Алекс, — потому что это был невероятный план, и все, действительно, могло бы получиться. Но вы не математический гений... — Он на секунду умолк, будто ожидая вопроса, но Фрэнк Тайлер молчал, глядя на него широко открытыми глазами.

— Так вот, вернемся к нашему конкурсу, — снова заговорил Алекс. — Миссис Уорделл приехала сюда, зная, что Грейс Мэплтон будет убита. У меня есть ее запись. Стало быть, она знала, что должна сыграть свою роль в убийстве. В чем же заключалась эта роль? Мы уже выяснили: дать возможность Харкрофту покинуть столовую и создать ему алиби утверждением, что Грейс была мертва до его ухода. Но только ли в этом? Быть может, она помогла ему сократить время, положив на этот вот стол ключ от комнаты Грейс, а рядом с ним — медицинский саквояж, который взяла из комнаты доктора. Тогда Харкрофту оставалось лишь вбежать наверх, схватить ключ, войти в комнату Грейс, а выйдя оттуда и оставив ключ в дверях, сбежать с саквояжем в руке вниз. Он сэкономил бы на этом двадцать—тридцать драгоценных секунд.

Джо перевел дыхание и продолжал:

— Прежде чем я дойду до самого главного, подумаем о ключе. Если возник столь изощренный план убийства Грейс, можно ли предполагать, что убийца не имел своего ключа? А ведь Дороти Ормсби, выйдя от Грейс, снова заперла дверь на ключ, выходя, согласно инструкции, положила этот ключ в котелок в камине, чтобы его мог там найти следующий участник конкурса. Вообразите теперь миссис Уорделл, которая знает, что должно произойти через несколько минут, но у нее нет ключа, и она лихорадочно пытается разгадать очередную загадку, чтобы его найти! Нет,

мистер Тайлер! Харкрофт и Уорделл не могли бы даже мечтать о исполнении своих замыслов, если бы точно не знали, где этот ключ искать! А кто мог им это сказать? Единственный человек — это вы! И кто мог сообщить Харкрофту, что он застанет Грейс, лежащей ничком с закрытыми глазами, а под рукой будет меч, которым он успеет ее пронзить прежде, чем она шевельнется? Ведь не зная всего этого, Харкрофт никогда бы не мчался, словно вихрь, по лестнице. Он должен был точно знать, сколько времени это у него отнимет. И, конечно, он должен был иметь под рукой этот ключ! Но все же, я думаю, что ключ ему оставила в условленном месте миссис Уорделл...

А теперь вопрос, который был бы даже забавным, если б можно было употребить это слово в таких обстоятельствах. Дело в том, что весь план Харкрофта и Уорделл был построен на том, что она отправится на поиски предпоследней, вернувшись, упадет в обморок, а Харкрофт будет иметь абсолютное алиби, поскольку жребий пал бы на него в последнюю очередь, если бы конкурс не был прерван. Это означает, что для успешного исполнения плана они оба должны были иметь очередные номера «8» и «9». И они их, конечно, имели! Вы можете сказать, что это случайность, но не будем забывать, что точность исполнения плана требовала именно этого. А знаете ли вы, каков шанс случайного выпадения в жеребьевке именно такой комбинации?..

Джо некоторое время ждал ответа. Тайлер молчал.

— Вот так малые числа вводят людей в заблуждение, — вздохнул Алекс. — Если бы вы устраивали такие конкурсы ежедневно, то при жеребьевке девяти цифр шанс на то, что миссис Уорделл будет в очередности восьмой, а мистер Харкрофт — девятым, мог бы выпасть, в среднем, один раз в пятнадцать лет! Неужели вы хотите уверить меня, что эти люди приехали сюда, рассчитывая на такой шанс?.. И все же у этого плана действительно были элементы гениальности. Я должен это признать. Вы придумали конкурс, в котором жертва одиноко ожидала убийцу на верхнем этаже, за плотно запертой дверью, среди толстых каменных стен, и даже, если бы она закричала или попыталась сопротивляться, то ведь и так все присутствующие в течение двух последних часов только и слышали крики, вой, стоны и сотни других звуков, сопровождающих внезапную насильственную смерть... И кто же из непосвященных мог бы понять, почему умерла Грейс Мэплтон. Никто из ее жертв даже не пикнул бы. Если бы не то, что миссис Уорделл пожелала воссоединиться со своими любимыми усопшими, я бы не знал, что Грейс Мэплтон — жестокая, беспощадная шантажистка! Вы должны были одержать победу!.. Но есть еще один важный вопрос: почему вы хотели от нее избавиться? Проще всего было бы допустить, что вы попали в ловушку, подобно остальным, и не хотели, чтобы Аманда узнала о вашем романе с ее секретаршей... Но я думаю, что это не так. Грейс Мэплтон была твердой, педантичной личностью с очень сильным, как я полагаю, характером, но с весьма слабо развитым воображением. Я нашел в ее шкафу три спрятанных фрагмента текстов, написанных рукой Аманды, и все они отменно годились в качестве письма самоубийцы, лежащего возле бездыханного тела. Я, конечно, не уверен в том, что говорю, но кажется мне, что дело было так: вы знакомы очень давно... не знаю, была ли когда-нибудь Грейс вашей женой или нет, но в принципе это неважно... Вы были парой очень молодых людей, когда прибыли в Лондон, чтобы победить. Быть может вы удивитесь, но думаю, что она вас любила — только вас одного, и никогда не переставала любить... Везло вам по-разному... Не знаю, порекомендовала ли она вас, будучи уже секретаршей мистера Кварендона, а может, это вы начали оформлять там обложки для книг и втянули ее — это не существенно. Вы потихоньку

начали копить денежки: жалование, ваши гонорары, ее шантаж... потому что у меня нет сомнений — это вы делали те снимки. А когда Аманда Джадд начала свой стремительный путь вверх в своей писательской карьере, вы вдруг оказались рядом с ней. И, пожалуй, здесь Грейс, которая была лишена живого воображения, совершила ошибку. Аманда уже успела заработать массу денег, а вы, естественно, были бы ее наследником... Думаю, Грейс решила, что этого вам должно хватить для счастья и Аманда должна исчезнуть... Вот только она не знала, что вы, мистер Фрэнк Тайлер, думаете о чем-то совершенно противоположном. Беседуя с вами на башне сегодня в полдень, я ощущал, что вы говорили абсолютно искренне. В конце концов, вы не только сообщник шантажистки, вы, также, художник. Эти обложки начали вас втягивать, ум Аманды постепенно очаровал вас... вы начали понимать, что жизнь с ней — честная, порядочная жизнь — это нечто несравненно лучшее, чем жизнь с Грейс Мэплтон, окупленная, помимо прочего, преступлением... И когда вы это поняли, Грейс была обречена. Благодаря юбилею Аманды представился совершенно фантастический случай. Зная почти всех, кто пал жертвой Грейс, вы легко могли отыскать исполнителя или исполнителей своих планов. А самым восхитительным было то, что вы единственный имели бы абсолютное алиби — невинный, как младенец, вы присутствовали в столовой на глазах у всех, когда судьба Грейс подходила к смертельной черте...

Алекс остановился. Тайлер молчал.

— Возможно, вы полагаете, что вторая часть того, что я рассказал о вашем прошлом, основана на моих поспешных умственных выкладках... Но вы не знаете работы полиции. Когда люди мистера Паркера начнут собирать подробнейшие сведения о вас, они не передохнут и не остановятся, пока не исследуют каждый день и каждый час вашей жизни, и тогда вся правда выплывет на поверхность. Быть может, доктор Харкрофт найдет для себя смягчающие обстоятельства, ибо он был жертвой, а ни один суд присяжных не становится на сторону шантажистов. Но вы совершенно хладнокровно убили женщину, которая была вашей сообщницей в многочисленных преступлениях. Ваши снимки станут вещественными доказательствами, и я уверен, что вам уже никогда больше не увидеть цветущее дерево или зеленый луг. Смертная казнь у нас отменена, но пожизненное заключение, пожалуй, хуже, чем она. И уж очень не хочется мне думать о разрушенной жизни Аманды.

Сидящий напротив Фрэнк Тайлер внезапно вскочил, как дикий зверь.

Паркер раздвинул руки, чтобы перекрыть ему дорогу к двери, но Тайлер в два прыжка оказался у маленькой дверцы, ведущей на башню.

— Останови его! — крикнул Паркер.

Джо двинулся в ту минуту, когда Тайлер уже открыл дверцу и исчез в темноте. Они бросились за ним.

— Он бежит вверх, — сказал Джо, — он слышал над собой шаги бегущего.

Внезапно Джо Алекс споткнулся, и бегущий позади Паркер налетел на него. Они поднялись и снова двинулись вверх, услышав высоко над собой грохот открываемого люка. Вот последние ступени. В лицо ударил ветер. Джо высунул в люк голову и увидел в предрассветных сумерках белый спортивный костюм. Тайлер стоял на барьере, обрамляющем башню, и смотрел на них.

— Стой! — крикнул Паркер.

Тайлер отвернулся, посмотрел вниз и прыгнул. Они подбежали к барьеру: под ними в темноте, которая уже начинала сереть, бешенные волны бились о выщербленные зубья скал. Ближе можно было разглядеть белое неподвижное пятно.

— Это, наверно, он, — крикнул Паркер, пытаясь перекричать шум ветра и грохот волн. Джо кивнул.

— Может еще жив? — Паркер выглянул еще раз.

— Нет! — крикнул Джо. — Никто бы этого не пережил! И мы не попадем туда до отлива... Если вода не унесет его раньше...

Паркер открыл рот, но ничего не сказал. Да он и сам был абсолютно уверен, что Фрэнк Тайлер погиб на месте.

— Дождь кончился, — сказал Джо.

— Да.

Сопротивляясь яростному ветру, они обошли башню вдоль барьера. Теперь напротив них мерцали фонари на деревенской улице. Ближе, на берегу, тоже виднелись огни — светились фары нескольких автомобилей, стоящих на краю дороги, у самой дамбы, через которую переваливались высокие волны, взбивая облака пены. Но бегущая от берега к замку змейка поручней перехода по дамбе была уже видна. Паркер повернулся и пошел к выходу. Алекс двинулся за ним и спустился на лестницу, не закрывая за собой люк. Он ощутил внезапную усталость.

Они остановились возле дверцы, ведущей в библиотеку.

— Поговорим минуту, а потом попытаемся выпить кофе... — пробормотал Алекс. — Может, он еще теплый в этих термосах?

— А что с Харкрофтом? — спросил Паркер.

— Ничего. Он ведь не знает, что ты хочешь его арестовать.

— Тайлер тоже не знал. Зачем ты сказал ему, что знаешь о нем все?

Джо не ответил. Потом вдруг поднял голову.

— Послушай, это ужасно. У Харкрофта жена и двое детей. Он убил, потому что хотел защитить их счастье. Еще чуть-чуть — и это удалось бы.

— Еще чуть-чуть, — Паркер вздохнул. — Думаю, однако, нам следует поговорить с ним, не ожидая появления людей из Девона.

— Я как раз хотел тебе это предложить.

— Пошли, — кивнул Паркер. — Если бы я не был полицейским, проклятым полицейским, обязанным стоять на страже закона, независимо оттого, что я чувствую, как человеческая личность...

— Ну и что бы тогда сделал?

— Не спрашивай меня об этом. Мы ведь прекрасно понимаем, что этот человек никогда больше не совершит никакого преступления, а его жертва была в определенном смысле его палачом... — Паркер махнул рукой. — Пойдем. Но о чем бы я ни думал, я твердо знаю одно: человек не может брать закон в свои руки и выносить смертный приговор другому человеку, даже самому худшему. Согласие на это уничтожило бы порядок цивилизованного мира.

Он тяжело поднялся.

Когда они поравнялись с дверью комнаты Харкрофта, Джо отступил на шаг, уступая дорогу своему другу. Паркер тихо постучал, а потом нажал ручку двери. Они вошли. Комната была пуста. Джо заглянул в ванную комнату.

— Никого... — сказал он в полголоса. — Где же он?

— Быть может, он пошел проведать миссис Уорделл? — прошептал Паркер. — Но в таком случае...

Они быстро вернулись и прошли по галерее. Джо осторожно открыл дверь в комнату старой дамы. Она по-прежнему сидела у стола. Но не одна.

Напротив нее сидел доктор Харкрофт. Его голова точно так же откинулась назад, а мощные, сильные руки сжимали поручни кресла.

— Вот, значит, как, — прошептал Паркер. — И он тоже? Но почему? — и легонько прикоснулся тыльной стороной ладони к щеке покойни-

ка. — Совсем холодный. Он сделал это уже давно. — Бен поднял голову и со странным облегчением перенес взгляд с искаженного болью мертвого лица на лицо Алекса. — Пойдем отсюда, Джо. Полицейские сейчас начнут стучать в ворота.

Они вышли. Паркер запер комнату, а ключ положил в карман. Потом они сидели друг против друга за большим столом в библиотеке.

— Вот и все, — сказал Джо усталым голосом. — Круг замкнулся. И некого тебе больше допрашивать, Бен. Может, внизу осталось еще немного кофе в термосах.

Они молча спустились по лестнице и вошли в столовую.

Все люстры по-прежнему горели. На старинных часах смерть своей косой неспешно отмеряла текущее время. Кофе в термосах все еще был горячим. Джо подал другу чашку. Они сели.

— Ты сказал, что больше некого допрашивать.

— Да.

— Ты забыл еще об одном человеке.

— О ком?

— О себе.

— Обо мне?

Паркер кивнул, допил последний глоток и отодвинул чашку.

— О чем ты разговаривал с Харкрофтом после того, как отправил меня на разговор с Кеджем, а потом читать заметки Дороти Ормсби?

— Я ведь тебе уже сказал...

— Не лги, Джо. Скажи мне правду. Мы ведь беседуем наедине.

— Я как раз об этом сейчас и подумал, — Джо легко усмехнулся. — Что я сказал Харкрофту?

— Да, скажи мне всю правду.

Паркер склонился к нему над столиком.

Джо устало вздохнул.

— Я сказал ему, что знаю, кто убил Грейс Мэплтон.

— И ты сказал ему, кто?

— Ты хочешь знать всю правду?

— Всю.

— Я сказал ему, что миссис Уорделл мертва, и что она оставила письмо.

— И это все?

Джо отрицательно покачал головой.

— Еще я сказал, что... быть может, при определенных обстоятельствах удалось бы сохранить тайну... и не выявлять имя убийцы, если бы...

— Ну, заканчивай предложение.

— Не могу, потому что я точно так же не закончил его, обращаясь к Харкрофту.

— И что потом?

— Потом я вышел и оставил его одного.

— И это все?

— Это все.

— Понятно, — Паркер прикрыл глаза. — Ты обманул меня, Джо.

— Не понимаю, — Джо взглянул на Паркера с изумлением, которое человеку, менее проницательному, чем Бен, показалось бы совершенно искренним.

— Ты обманул меня. А позже, когда мы бежали вверх по крутой лестнице, преследуя Тайлера, ты умышленно споткнулся и перекрыл мне дорогу. Если бы не это, он не успел бы открыть люк, и мы настигли б его.

— Да, это действительно досадное стечение обстоятельств, — Джо с сожалением покачал головой. — Ну просто не могу себе этого простить...

— Джо, не издевайся надо мной. Скажи, зачем ты это сделал?

— Врач может умереть, отравленный безумной старушкой, которая угостила его цианистым калием, убив предварительно молодую девушку, изображающую Белую Даму. Разные жуткие истории случаются с докторами. Они гибнут, заразившись от своих пациентов, их убивают шизофреники, с ними происходят сотни других несчастных случаев, и ни один из таких случаев не становится добычей газет и не губит жизней их жен и детей, которые могли бы утонуть в грязном болоте бульварной прессы... и что самое главное — у них даже не остается возможности сохранить добрую память о муже и отце. Одно дело, когда твой отец погиб от руки безумной пациентки, и совсем другое дело: отец-убийца, осужденный за убийство шантажистки... да еще какой! Да еще при каких обстоятельствах!

— Но...

— Послушай дальше, Бен. Харкрофт получил бы многолетний срок и вышел бы из тюрьмы старым, сломленным человеком, которого презирают собственные дети, и который лишен права заниматься своей профессией. Он не хотел этого! Получив от меня тень надежды на сохранение своего доброго имени, он принял единственное решение, которое мог принять. Что же касается Фрэнка Тайлера... А ты не подумал о том, что случится с ней?

— С кем?

— С Амандой Джадд, дружище!

— Что ж, она должна это как-то перенести...

— Я не узнаю тебя, Бен! Ты всегда был чувствительным, мудрым человеком, и вдруг сейчас заявляешь: «Она должна это как-то перенести!» А почему должна?

— То есть как?

— А если бы Фрэнк Тайлер просто поскользнулся на этой башне и упал?

— Ну и что бы из этого следовало?

— Очень многое, при условии, что ты согласишься меня выслушать.

— Я слушаю тебя, Джо, хотя...

— Хотя я не позволил тебе заковать Харкрофта в наручники и сделать несчастными на всю оставшуюся жизнь его жену и двух мальчиков, а ему самому приготовить участь худшую, чем сама смерть! За это ты хочешь меня винить? Или за то, что если бы Фрэнк Тайлер споткнулся на скользкой крыше и упал вниз, то мы спасли бы судьбу бедной Аманды Джадд? Быть может она и не поверит в его падение, потому что это очень умная и проницательная женщина. Но во всяком случае, она никогда не узнает, кем в действительности был человек, которого она любила, и это позволит ей вернуться к нормальной жизни.

— Но даже если бы я и хотел с тобой согласиться, все это невозможно в свете того, что случилось.

— А что случилось? Грейс, Фрэнк, миссис Уорделл и доктор Харкрофт мертвы! В живых не осталось ни одного героя этой трагедии. Я не прошу тебя, чтобы ты покрывал чью-то вину. Достаточно будет, если расследование подтвердит, что последняя, кто видел Грейс живой, а именно — миссис Бремли, охваченная манией освобождения души Евы де Вер, и убила бедную девушку. Она ведь постоянно писала о таких вещах в своих книгах! Мало того, — она оставила письмо, которое является лучшим доказательством того, что намеревалась сделать! А то, что в приступе безумия она убила заодно и доктора, который, быть может, пытался помешать ей совершить самоубийство, — так это просто очевидно. Они сидят оба в этой комнате, убитые одним и тем же ядом... Бремли-Уорделл не оставила в этом мире никого. Ее история будет закончена. А если будет доказано, что убила именно она, никто не узнает, что Фрэнк Тайлер был мозгом этого убий-

ства, а Грейс Мэплтон чем-то большим, чем несчастной очаровательной секретаршей известной писательницы. Дело быстро закроется и от него не останется ни следа.

Паркер развел руками.

— Это верно, что не осталось никого, кого можно было бы покарать, и роль полиции сведется лишь к закрытию этого печального дела, но ты ведь знаешь, Джо, что миссис Бремли не могла убить Грейс. Так как же мы можем помочь всем этим людям?

— Дай мне ключ, — Джо указал пальцем вверх. — Я это сделаю.

— Что? — не понял Паркер.

— Я вытащу этот меч из ее груди и брошу его на пол, так, как это мог сделать убегающий убийца.

Он умолк.

Паркер закрыл глаза. Они долго молчали. Наконец, комиссар пошевелился.

— Все это ужасно неформально, — тихо сказал он, — и противоречит правилам моей службы... Но все они мертвы, и я не представляю себе, как без их показаний мы могли бы доказать, что дело происходило таким невероятным и неправдоподобным образом. Ну и все эти люди... Жена и дети доктора... Бедная Аманда Джадд... Полицейский во мне орет громким голосом об укрытии фактов в ходе следствия, но человек во мне затыкает ему рот. Все виновные уже осуждены... окончательно и без права апелляции. А живых мы убережем от страданий, стыда и унижения. — Он вынул из кармана ключ и протянул Алексу. — Это от моей комнаты. А тот ключ в ящике столика.

Джо кивнул и, взяв ключ, быстро встал. Спустя секунду дверь за ним закрылась.

Некоторое время Паркер сидел неподвижно, потом провел рукой по лицу, встал и направился к термосам с кофе и неожиданно улыбнулся.

— Я старею, — прошептал он. — Но, пожалуй, это было правильно.

И он снова улыбнулся. Его наполнило сознание одержанной победы, но смысл и значение ее никак не удавалось вполне уяснить.

Дверь отворилась, и вошел Джо. Он был бледен, губы плотно сжаты.

Джо молча кивнул и протянул Паркеру ключ, который комиссар снова спрятал в карман. Откуда-то издалека донеслись гулкие ритмичные удары.

— Что это?

— Стучат в калитку.

Они направились по галерее к воротам.

— Открываем! — скомандовал Паркер.

Они встали у обеих лебедок и взялись за толстые ухваты. Решетка дрогнула и медленно поползла вверх.

Перевод с польского Роберта СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО и Владимира КУКУНИ по эксклюзивному разрешению автора.





АННЕТА
ФОН ДРОСТЕ-ХЮЛЬСХОФФ

Свободных душ к мечте порыв

Неизвестная и великая

Аннета фон Дросте-Хюльсхофф — одна из величайших поэтесс XIX века. К сожалению, до сего времени ее имя и творчество практически неизвестны широкому читателю как в России, так и в Беларуси.

Впервые с произведениями Аннеты фон Дросте-Хюльсхофф я познакомился три года назад и был восхищен открывшимся мне богатым духовным миром немецкой поэтессы, мощным эпическим зарядом ее баллад, которые, казалось, не могла сотворить хрупкая и болезненная женщина, какой была Аннета. Но Бог щедро одарил ее талантом.

Стихи Аннеты фон Дросте-Хюльсхофф поражают и захватывают не только сюжетом, но и мыслью, обращенной к духовным проблемам человека как личности, имеющей высшее предназначение.

Поэтесса происходила из древнего вестфальского католического рода. Она родилась 10 января 1797 года в поместье Хюльсхофф между Хавиксбеком и Рокселем при Мюнстере у четы Клеменса Августа фон Дросте-Хюльсхофф и Терезы фон Хакехаузен.

В детстве и юности Аннета часто болела, что, однако, не помешало ее учебе в пансионе профессора Антона Матиаса Шприкмана.

Первое большое путешествие Аннета фон Дросте-Хюльсхофф совершила в 1825 году по Рейну в Кельн, Бонн и Кобленц, где жил ее кузен и где она завела знакомство с Сибиллой Мертенс-Шафхаузен. В этот дружеский круг входили невестка Гете Оттилия, а также Адель Шопенгауэр с матерью писательницей-романисткой Иоганной, чей сын Артур был широко известен в Европе своим главным философским сочинением «Мир как воля и представление».

В Бонне, который она неоднократно посещала, начиная с 1842 года, у Аннеты произошла встреча с Августом Вильгельмом Шлегелем, знаменитым историком литературы, критиком и переводчиком, который представил немецкому читателю почти все драмы Шекспира и был одним из основателей так называемой «романтической школы» в немецкой литературе. Хотя Аннета вела оживленную переписку с такими просвещенными современниками, как братья Гримм, это существенно не повлияло на характер ее уединенной и почти отшельнической жизни.

Так как Аннета постоянно хворала, то не могла рассчитывать на самостоятельную жизнь... заработок от литературного труда, и вынуждена была смириться с домашним затворничеством и диктатом близких людей. На разрыв с ними она пойти не могла, хотя порой их опека была ей в тягость. Благо еще, что она прекрасно сознавала свое поэтическое призвание. В этом ее поддерживала мать.

Первую свою рукопись Аннета фон Дросте-Хюльсхофф послала известному в то время литератору Христиану Бернхарду Шлюгеру, но он не посчитал ее достойным своего внимания.

Поэтесса сознательно стремилась к высокому искусству. И ее баллады и новеллы стали со временем знамениты в Германии. Значительным документом глубокой религиозности Аннеты стал цикл стихов «Духовный год», в котором, типичными для ее времени, художественными средствами был выражен конфликт между просвещенным сознанием и религиозным опытом.

Творческим стимулом для Аннеты фон Дросте-Хюльсхофф служили неоднократные поездки на Боденское озеро, которое она чаще всего посещала вместе с матерью и сестрой, бывшей замужем за бароном Иосифом фон Ласбергом, большим знатоком немецкой литературы средних веков.

С 1837 года творческая дружба связала ее с Левином Шюкингом, с сыном своей рано умершей подруги. При содействии Аннеты он был принят библиотекарем в замок Меерсбург. Под его влиянием именно в Меерсбурге возникла большая часть светских стихов Аннеты.

С 1841 года она жила преимущественно у четы Ласбергов, присматривала за их владениями, но в дальнейшем переехала в поместье Рюшхауз при Ниенберге, где среди прочих находились и ее мать, а также кормилица, которая ухаживала за Аннетой до ее последних дней.

Умерла Аннета фон Дросте-Хюльсхофф после полудня 24 мая 1848 года. Ее могила находится на городском кладбище.

Предлагаемые переводы возвышенных романтических произведений великой немецкой поэтессы, смею надеяться, расширят кругозор и духовно обогатят читателя.

Георгий КИСЕЛЕВ

Бессонная ночь

Как тяжек солнца спуск и рдян!
Из волн зари, смиряя зной,
Как войско, восстает туман
Беззвездной ночи глубиной.
Я слышу чей-то шаг, и вот
Уж десять бьет.

Нет, не у всех сон в этот час глубок,
В опочивальне дверь — в последнем стоне;
Брюшко протиснув через водосток,
Хорек застыл фигуркой на фронтоне.
То телочка в хлеву всхрапнет чуток,
То в дальних стойлах шум поднимут кони,
Покуда мак, с травою поглощен.
Не погрузит их, захмелевших, в сон.

Дурманит запахом сирень
Сквозь щель прикрытого окна,
И по стеклу, как чья-то тень,
Маячит ветка допоздна.
Одиннадцать. Природы вид
Меня томит.

О чудная бессонница, что ты —
Проклятие для сердца или благо?
Как мелкий дождь — струенье темноты.
Ночную тьму целует жадно влага
И капает со щек моих в кусты,
И в занавес тумана вдоль оврага.
Надвратный герб из гипса между лип
Плывет и вьется, как морской полип.

Как приливает кровь к щекам!
С балкона жуткий треск идет,
Пюпитр сдвигается, и сам
Ключ совершает поворот.
И чу! — кому-то спать невмочь.
Двенадцать. Ночь.

Был это голос духа? Невесом,
Как звон бокала тронутого, тонок,
Чей тон, когда заполнен он вином,
Схож с жалобой сирени из потемок
Сырой от слез, и чувствуется в нем
Стон двух сердец, в любви переплетенных.
О соловей! То был не твой мотив,
А двух свободных душ к мечте порыв!

Свист катится вниз от камней.
Как ветхой башни жалок вид!
Совиный кашель слышен в ней,
И ветерок чуть шевелит
Верхи и ветви ближних чащ.
Часы бьют час.

И ниже катятся, сливаясь, облака,
И яркой лампой над гигантской далью
Плывет гондола месяца легка,
И свет в проулках отливает сталью,
И виден в нем до жилки и листка
Сирени куст любой своей деталью.
Вошел пейзаж в багет моих окон,
Листвою подоконник занесен.

Я спать теперь, лишь спать хочу
При наплывающей луне,
Опоры ищущей лучу.
В кустах, бормочущих во сне,
Мелодия слышна едва.
Часы бьют два.

И все светлее сладкий этот звон —
Любовный смех; летит он, словно стрелы.
Дагерротипы так же меж окон
В движенье убыстряясь, запестрели.
Свет локонов я вижу и вдогон
Сверканье угольков в глазах пострела.
Вот синь и влага в них, и в тот же миг
Прекрасное дитя у ног моих.

Глядит в меня, и в тишине
Так душу выражает взгляд!
Вот тянется оно ко мне,
Бесплотно, и черты сквозят.
Но чу! — вскричал певец зари.
Часы бьют три.

Как испугалась я! О, милый дух,
Ты вдруг исчез, ты стал обманом зренья!
Двор безутешен, он уже потух,
И не искрят росой цветы сирени,
И ржавый щит луны не серебрит
Тот лес, где бродят ужасами тени.
И с края фриза ласточка во сне
Нет-нет да и чирикнет что-то мне.

Взметнулась стая голубей,
Как пьяных, и среди двора
Крик петуха теперь грубей,
Псу дарит отдых конура.
Скрипит в конюшне дверь, и вот
Четыре бьет...

Восток в огне, — о солнца ореол!
Оно все выше, и в лучах ярчайших
Затоплен птичьим хором лес и дол,
Жизнь льется через край заздравной чаши,
Звенит коса, летит с гнезда орел,
Охотников звук рога будит в чаще,
И, как ледник в зарю, погружена
В пожар небес мечты моей страна.

Проповедник

От башни ввысь взлетают небу данью
Меж звонами тяжелые рыданья,
Так статуй мемнонских[1] печаль тяжка.
Над колоколом дрогнула опора,
Вспорхнули галки с гнезд и сокол споро
Взметнулся со знаменного древка.

По ком звонят? — По сбросившему иго
Сей жизни, сын единственный ждал мига
Последнего при факелах в ночи.
Кто был тот муж? — В Христа он верил свято,
Не ростовщик, не вор, ума палата,
Чем редко обладают богачи.

Вот старец с книжкой проповедей некий,
В очках, и тростью, на манер калеки,
В толпе ко гробу ищет он проход.

[1] Статуи или Колоссы Мемнона — две массивные каменные статуи фараона Аменхотепа III в некрополе города Фивы, по другую сторону реки Нил от современного города Луксор.

Владелец замка был он в прежни лета, —
И до сих пор вельможная карета
Маячит, словно призрак, у ворот.

Утихнул звон, все на колени пали;
Взревел орган! И своды задрожали.
О «Судный день!» — молитва скорби та,
Что грешникам — огонь, роса — кротчайшим!
Как будто зрела я суда две чаши
И слышала капель из ран Христа.

«Аминь» пропели. Замолчала с дрожью
Толпа, и в мареве дыханий ожил
Прошептанный насквозь широкий зал.
И треск свечей с надгробьем черным рядом,
Как голос тихий, и пахучий ладан
Под куполом весь воздух пронизал.

Раздался глас: «Возлюбленные чада!»
Дым поредел, с колен восстало стадо.
Младой приор на кафедру взошел.
Не тень, какой все радости не новы,
Орел, чей дух — во длани Иеговы,
В истоке вечной жизни сочный ствол.

«Возлюбленные! — рек он, — Как в итоге
Блаженны те, кто опочили в Боге,
Кто в нем обрел покой!» Звучала речь
Могучая, как волны Иордана,
И, как хоребский храм[1], благоуханна,
Когда толпу он словом смог зажечь.

Стал голос глуше тихого потока,
И слышу — эхом грома издалека:
«Всем, кто ни тепл, ни хладен, горе вам!
О, были бы теплы вы или хладны!
Мертвы у вас дела и безотрадны
И ваши силы все под стать делам».

И глубже показал он язвы века,
Где геллеры в цене, и человека
Раскрыл, как молью траченный камзол.
Он непристойным мыслям дал огласку,
Стыдливость ложную вогнал он в краску,
Стянул веселья маску с тех, кто зол.

Открыл он гнилью счет в живущих ныне:
«Для неба мы потеряны в гордыне,
Все в половину — честь, добро, закон».
Та речь была подобна жару лавы.

[1] Хоребский храм — храм на горе Хореб (Серабит), считается библейской святыней. Именно на этой горе Моисей провел 40 дней и ночей перед тем как получил от Бога десять заповедей.

В нем кровь кипела, и не ради славы
Вещал он, как пророк былых времен.

Погасли свечи, стукнули ворота.
Вдруг чьи-то всхлипы: плачет отчего-то
Одна из жен в изношенном платке.
И слышу я: со мною рядом, в хоре,
Зевает та, что с истиной в раздоре,
А юнкер книжку смотрит в уголке.

Но глухи были все к упрекам этим —
В грехе благовоспитанные дети.
Напрасно пастырь гневом полыхал.
И вечером сказал в театре слово
Корнет годов осьмнадцати: «Какого
Оратора сегодня я слыхал!»

Лунатик

Ты видишь там под черепицей дом?
Густится тьма, спешить нас принуждая,
Коль скоро полнолунье чередом
Зальет болото хладным светом с краю.
Здесь призрак не парит над входом в бор
И не подстерегает в чаще вор.
Обычный дом, мещанское поместье,
В нем жил старик, и с ним прислуга вместе.

Пожил изрядно; лет не знал числа
И не любил премудростей церковных;
Жену с ребенком смерть давно взяла.
В просторе лет его не видно кровных.
Есть слух, что врач тот дом не посещал,
Ребенок без питанья отощал.
Что ни скажи, но судят все предвзято
Того, кто в груды собирает злато.

И обнищал старик наш до того,
Что стал беднее самых бедных скоро.
За кражу в один талер у него
Отправил он на виселицу вора.
Хоть молод, бледен, голоден был вор
И мать его больна — все злобе вздор!
Готов богатый, алчностью унижен,
Последнее добро забрать из хижин.

Прилежно в церкви стал молиться он.
Никто не порицал его обычай;
Но, силами оставлен, изможден,
Старик болезни страшной стал добычей;
И часто ночью, чуя лунный свет,
Он зябко кутался в свой ветхий плед,
Стремясь зажечь свечу, сползал с кровати,
Слуга всегда был под рукою кстати.

Издольщик видит сквозь окна проем,
Как он весь день с монет не сводит взора,
Опилит талер, поскрипит пером,
Хватает воздух, как за горло вора.
Потом снаружи слышен громкий вскрик,
Как будто душу выдохнул старик.
Пока не упадут в бессилье руки,
И в свете лампы длятся эти муки

И дальше в спальню он идет, а там
Ютится ложе малое к постели.
Качает он кроватку и к устам
Подносит без конца бутылку эля.
И пьет и пьет, но так сухи глотки,
И словно сердце рвется на куски,
И, слыша сиплое дыхание дитяти,
Бросается к его пустой кровати.

И ко второй постели он идет,
Над ней склоняясь, словно бы с микстурой,
Пред тем, как в спальню занавесить вход,
Он одеяло расправляет хмуро.
И мигом добегает до окна,
Где виселица издали видна, —
Слуга за ним, и слышен всхлип негромкий,
Стучит окно — и комната в потемках.

Кричат: скорей, скорей! И там, где ночь
За окнами искрит и тихо тлеет,
Вдруг — голубая вспышка! Прочь и прочь!
Мне кажется, грозою воздух зреет.
Не проклинай того, кто в доме том
Так одинок пред Богом и Судом!
Ты мнишь, ему проклятья множат хвори?
Пусть он завидует петле на воре!

Големы[1]

«Не знай тебя я крошкой с давних пор,
Кого любил в мир сказки провожать я,
Ловя твой ангельский и чистый взор,
Ручонки робкой чувствуя пожатье,
Я этой встречей был бы обнадежен
С красавицей такой, милей иных.
Но ах! ужели я в глазах твоих
За ангелом еще шпионить должен!»

«А ты, храня с улыбкой умный вид,
Цедишь слова и морщишь лоб устало.
Иль и во сне твой прежний пыл молчит,

[1] Голем — искусственный человек, персонаж древней еврейской мифологии, упоминаемый в Библии.

С каким ты похвалялся сдвинуть скалы?
Ты — благородный бюргер, в том нет спора,
На жизненном пути герой, титан.
О пламенный мой вихрь, о мой вулкан!
Ах, но ужель мышей рождают горы?»

«Увы тому, кто прошлым жив одним —
В картинах, звуках, веком отдаленных!
Он станет не от порчи их седым,
От знака смерти в их прекрасных лонах.
Но все они без праха пантеоны,
И призраков ночных бескровный рой
И в хладном храме жертвенник сырой,
И рощи без цветов весной, и склоны».

«В сказаниях востока — к знанью путь,
Как мертвой глине форму придавая
Телесную, в творенье жизнь вдохнуть
Одним заклятьем, в страсти пребывая.
Там голем тихой поступью крадется,
Бездушны речь и смех, в дыханье — смрад.
И ни один в глазах не вспыхнет взгляд,
И сердце в неживой груди не бьется.

И старая любовь ему ярмо,
И ужас тленья наполняет будни.
Кричит воспоминание само,
Но не разбудит то, что непробудно.
И видит: все, кто верен, исчезают,
Кого хранил он свято от невзгод.
Что есть ни жизни и ни смерти род,
Того ни небо, ни земля не знают.

О, перед склепом предков встань же тих,
И в кротости пролей святые слезы:
Здесь воздух шелестит дыханьем их,
Здесь лунный свет — их лиц метаморфозы!
Твои они, хоть смерть над ними властна,
Твоими были в свой последний миг,
Но големов беги, дань слез твоих
Испивших ледниками безучастно!»

Перевод с немецкого Георгия КИСЕЛЕВА.



НАТАЛЬЯ ПРУШИНСКАЯ

Темы для «тайной вечери»

Первые познания в белорусском языке

Весной 1947 года меня собрали в дорогу из Петрозаводска в Гомель с попутчицей — коллегой тети Ксени. В Гомеле жили мама с моим старшим братом Юрой, тетя Оля с дочерью Верой и ее семьей и дядя Ваня с женой Е. А. Лопушанской. На вокзале после трех лет разлуки меня встретила мама, в сером костюме, немножко чужая, незнакомая...

Мы с мамой и братом снимали комнату в частном доме в Новобелице (пригород Гомеля). Психика Юры была уже надломлена годами репрессий и оккупации, хотя больным он себя не признавал. Изгнанный из трех вузов, он пытался работать, но чаще был на иждивении матери. «Почему я нигде не смог доучиться и хотя бы получить специальность? — писал Юра в своей автобиографии в марте 1975 года. — Тут картина ясная — нигде не скрывал, чей я сын, а в те времена ясно, какое ко мне было отношение окружающих». В начале 1950-х годов печатал стихи в стиле В. Маяковского в «Комсомольской правде», на деньги по реабилитации купил баян.

Мама работала в русской школе учительницей начальных классов; в эту же школу определили и меня во второй класс. Здесь я получила первые познания в белорусском языке, преподававшемся как один из предметов. В общении со сверстниками не ощущалось языкового барьера, различия стали заметны на уроках. Правописание в новом языке показалось проще, чем в русском, и местным ребятам он был явно ближе, а русский язык давался им труднее, хотя это были городские дети, говорившие больше по-русски.

Проблемы с русским языком воспринимались мною как наиболее трудные для нашего класса и через год. Когда учительница объявила, что на следующем уроке мы будем писать для школьной газеты заметку о наших успехах и трудностях, я поняла, что надо писать о трудностях с русским языком. Образец заметки стоял у меня перед глазами: С. Михалков. Первый класс, первый класс, сколько грамотных у вас? Я тянула руку: зачем писать, уже написано... «Дома надо только продумать задание, а писать не надо», — сказала учительница. Я и старалась дома ничего не писать, но все же набросала одну-другую рифму для памяти. Стихи написала на уроке.

Узнав о стихах, дядя Ваня сказал: «Это не зря, отец был писатель...» Я так и подпрыгнула: как писатель? Принялась теребить маму: правда, что папа был писатель? «Журналист, — ответила она. — Писал в журналах и газетах очерки, рассказы... Книг у него не было. Он еще работал счетоводом, бухгалтером и много кем...» Мама явно не хотела расспросов. Понятие «журналист» было для меня чем-то далеким и важным, но — не совсем писатель. Так, приоткрывшись, сразу же и закрылась для меня первая тайна об отце... О других исподволь узнала позже, в Неговке. С этих пор отец незримо был рядом, но я порою не догадывалась, что разговор идет о нем...

Неговка

В деревню Неговку Буда-Кошелевского района нам пришлось уехать через год: материально жилось трудно. Сливочное масло было редким лакомством; к тому же у меня обнаружилась положительная реакция на ТБЦ (туберкулез), встревожившая маму и окончательно решившая вопрос о переезде. Школа здесь была белорусская. Лишь через полгода, на зимних каникулах в городе, по реакции родственников и прежних друзей я поняла, что стала говорить совсем иначе. Предполагалось, что в будущем мне предстоит учиться в центральном вузе, и надо восстановить русский. Но на ближайшие два года (четвертый и пятый классы) меня оставили в покое.

В четвертом классе нас учил пожилой, небольшого роста Лука Иванович. С подачи молодой учительницы белорусского языка Марии Тимофеевны мне уже с пятого класса особенно нравились произведения Якуба Коласа и Янки Купалы, а в седьмом — «Тарас на Парнасе». Математик Виктор Михайлович организовал у нас радиокружок еще до появления радио. Историю вел спокойный, уравновешенный Александр Иванович Беспалов; математик Екатерина Ивановна Донцова руководила драмкружком. Часть ребят ходила в школу из деревни Люшево (2 км от Неговки), а неговские ребята восьмой-десятый классы посещали в Броннице (5 км от Неговки). Бывали мы на работах в колхозе.

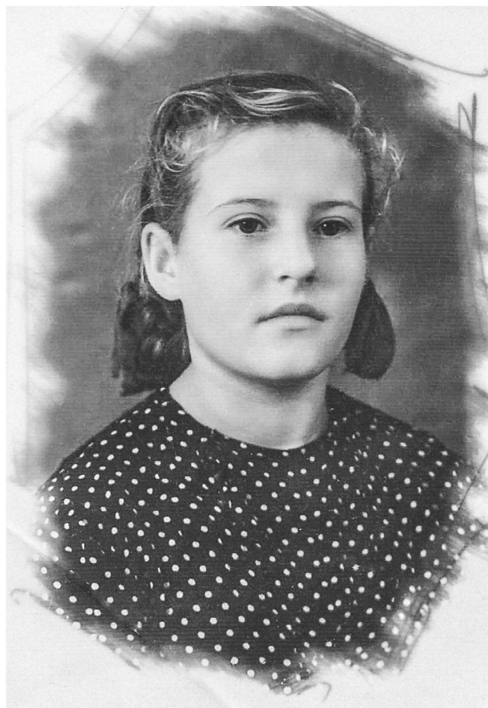
В райцентр и на станцию пешком ходили и мы с мамой: через Броницу, Пятихатку, Устиновку, Красный Бор, где находился Лесной техникум (теперь Аграрно-промышленный колледж). Помнятся розовато-коричневая красота и медовый аромат цветущих гречишных полей; радуга над речкой, бусел (аист) на гнезде из тележного колеса в живописной деревне Устиновке.

На каникулах у дяди Вани в Гомеле я читала «Тома Сойера», военные рассказы Бориса Полевого, повлиявшие на мой выбор профессии, и другие книги. В эти дни приезжал из Ленинграда мой брат Артур, учившийся в Политехническом институте, тоже много читал. Гостили изредка летом в Гомеле и тетя Ксеня с моей сестрой Оксаной из Петрозаводска: это были счастливые, веселые дни, собиравшие нас вместе.

«...да погиб где-то в метельных краях»

В первый неговский год мы жили у пожилой женщины Марины Атроховой, имевшей хату-двустен через дорогу от школы. Атрохова знала сказки и однажды попыталась сказывать. О фольклоре я еще не имела никакого понятия, а в ее сюжете сразу узнала сказку Пушкина и принялась спорить. Защищая сказительницу, мама объяснила, что Пушкин сам от народа знал сказки и отец мой тоже у народа их записывал. В результате сказывать дальше Атрохова наотрез отказалась... Зато я что-то новое услышала об отце, хотя и туманное: почему записывал, кем был? Об отце однажды заговорил и Юра: «Вот Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»... А Мрый тоже сжег продолжение «Самсона Самасуя»?» Мама, приложив палец ко рту в знак молчания, все же ответила: «Да, он тоже сжег...» Юра досадовал: «Мама, скажи ей!..», а я недоумевала: о чем это они? Но Гоголь и этот какой-то неведомый мне Мрый подали пример: в печь полетел мой дневник.

Односельчане уважительно обращались к маме «настаўніца». Она преподавала русский язык и литературу в 5—7-х классах. Как-то раз, после урока по истории, на котором Лука Иванович говорил о героях-участниках Октябрьской революции, я спросила маму, кто были ее родители. Услышав в ответ: «Священники...», — я разочарованно подумала: «Дворянство, духовенство — эксплуататоры...» Но с интересом выслушала ее рассказ. Ее детство прошло в большой семье священника деревни Палуж, имевшего при доме сад и большую библи-



Наталья Шашалевич (Прушинская). Неговка. Весна 1954 г.

отеку. В Могилевское епархиальное училище она часто ходила пешком... Однажды вечером, когда она сидела в библиотеке одна, ее напугала сова, прилетевшая на свет и глянувшая в окно огромными очами. Вот встреча: Софья и сова — символы мудрости! ... Для мамы то был знак, предупреждение о беде, разуме и выдержке — на всю жизнь.

От дяди Вани на каникулах узнала я с удивлением, что священниками были не только мой дед, но и прадед, а также родной брат бабушки — Архиепископ Могилевский Филипп. Хотелось знать полное имя иерарха, но дядя повторил только сан. «Ты его внучатая племянница — близкое родство», — добавил он. Снова я захлопала глазами, пытаясь раскодировать незнакомое словосочетание. Но тема эта была — для «тайной вечери» (так обозначил дядя нашу беседу в самом ее начале); не следовало поминать священников всуе, тем паче пред лицом атеизма. В годы Перестройки мы больше интересовались нашими предками. Так в 1988 году, по просьбе М. И. Протасевича — заведующего отделом советской литературы Государственного музея ИБЛ, — я написала письмо другому своему дяде, Николаю Андреевичу Зыкову. Единственный из маминых братьев и сестер, кто еще оставался жив, о нашем роде он писал: «Дед мой Семен был служитель культа, какого-то ранга, точно не знаю. Мой батя достиг ранга протоиерея, отца благочинного, имел настоящий золотой крест в награду. В пору культа сталинского отказался от деятельности, а крест отдал Ване. Умер мой отец от рака в 1939 году в Пропойске, где и родился. Маму звали Мария Михайловна[1], после смерти папы она жила у Вани в Гомеле».

Так что дедушка мой по линии матери (тесть Андрея Мрыя), протоиерей Андрей Семенович Зыков, чтился по службе как весьма деятельный человек. Недавно в интернете он был назван среди священников, регулярно проводивших метеонаблюдения, что несколько конкретизирует область научных занятий протоиерея. О его библиотеке дядя Коля писал: «В нашем поповском доме была пристройка, которая у нас тогда называлась верандой. Половину ее занимали книги религиозные, другая часть — писатели. Шекспир, Диккенс, французы. Я зачитывался Генриком Сенкевичем (поляк). Гомер (Илиада — перевод Гнедича, Одиссея — перевод Жуковского) <...>. В библиотеке были представлены все русские писатели. Их перечитал все. Библиотека попала в Палуж от дяди Филиппа, маминого брата Архиепископа, который рано скончался от чахотки».

Как вспоминала тетя Ксеня, библиотеку Зыковых отец перечитал почти всю. Возможно, там впервые он прочел «Божественную комедию» Данте, которую изучал в семинарии, в Киевской духовной академии. По словам мамы, он находил влияние этой великой книги в поэме Якуба Коласа «Сымон-музыка» и беседовал с автором о чередовании тех «адовых» кругов (но не четырех, как у Данте, а пяти), через которые пришлось пройти герою поэмы. Я невольно вспомнила

---

[1] Бекаревич — *(Примечание Н. А. Зыкова).*

этот мамин рассказ, прочитав в книге М. Лужанина «Якуб Колас рассказывает» (М., 1964) следующие строки: «Был один человек, — в голосе Константина Михайловича[1] слышится печаль, — да погиб где-то в метельных краях. Он догадался, что «Сымон-музыкант» разбит на несколько кругов. И вообще интересно писал о поэме. Говорил, что художник — это отражение образов родной жизни. Бабареку[2] помнишь? Хотя вы оба в «Узвышшы» были. Вот он чужих мыслей не пересказывал, свои имел...»

«Соня, выходи за меня замуж!»

Отец родился в деревне Долговичи Долговичской волости Чериковского уезда Могилевской губернии — о чем свидетельствуют материалы следственного дела, хранящегося в Центральном архиве КГБ РБ (№ 10194-С, Л. 36). Деревня, по новому административному делению, относится к Мстиславскому району Могилевской области. Его детство прошло в крестьянской семье волостного писаря Шашалевича: Антона Дементьевича и Евфросиньи Фомичны (урожденной Мотыско). Семья нуждалась, и, как рассказывали нам с сестрой наши близкие со стороны отца, четверо детей, родившихся вначале, не выжили. Первым выжившим ребенком стала Антонина (1889), родившаяся, очевидно, как и отец мой, в Долговичах. В поисках заработка приходилось перемещаться с места на место, так что остальные дети родились в других селах той же губернии: Анастасия, Василий (будущий драматург, Мхиничи, 1897) и Ксения (Палуж, 1900). Последним местом проживания семьи при жизни дедушки (умер в 1902 году) было село Палуж, где и встретились мои будущие родители. Наверное, в Палуже семья Шашалевичей жила достаточно долго. Исхожу из факта: когда мама восстанавливала документы о своем браке с отцом[3] и о моем рождении, сгоревшие во время войны, то в графах «место рождения мужа» и «место рождения жены» она одинаково написала «Палуж», хотя, как уже сказано, отец родился в Долговичах. Но эта ее ошибка подтверждает: своего будущего мужа мама знала с детства.

О том, как мои родители поженились, рассказывал летом 1965 года наш свояк, народный художник БССР, скульптор Александр Васильевич Грубе. Он стал свидетелем эпизода конца 1920-х годов, когда мама уезжала на учебу в Ленинград, и друзья пришли проводить ее. Когда она вошла в вагон, отец вдруг крикнул: «Соня, выходи за меня замуж!» Поезд тронулся, мама приникла к окну... А. В. Грубе поступок свояка показался странным, так как отец был влюблен в Верочку, его двоюродную сестру, которая предпочла другого. Но что ж тут странного? И маминым идеалом в юности был не отец, а некий молодой учитель, внезапным арестом которого она была потрясена...

Назвать имя святого...

После Атроховой мы жили у колхозников Алены и Василя, имевших хату-тристен; я посещала в то время пятый-седьмой классы. В нашу «залу» мы проходили через комнату хозяев. Они жили с младшей дочерью-зоотехником Зоей,

---

[1] Константин Михайлович Мицкевич — наст. имя Якуба Коласа.

[2] Адам Антонович Бабарека, белорусский советский прозаик, критик, литературовед, драматург 1920-х годов, один из наиболее образованных людей своего поколения. Автор статьи «Паэма Сымон-музыка Я. Коласа // Узвышша. 1927. № 3. С. 137—147; двухтомного издания «Збор твораў» (2011) и др. Был необоснованно репрессирован в 1930 и 1937 годах, умер в лагере в Коми АССР в 1938 году.

[3] После регистрации брака жене присвоена фамилия Зыкова, мужу — Шашалевич. См.: Копия свидетельства о браке № ПЮ № 894998.

зятем-ветеринаром Мухтургиным (башкиром) и внуком-школьником. Старшая их дочь Мотя работала в Ленинграде дворничихой, была замужем за милиционером. Во время хлопот о реабилитации мы останавливались у них на одну ночь.

В 1952-53 учебном году, когда я училась в шестом классе, произошло несколько важных для формирования моего самосознания событий. Первое из них, вероятно, положило начало осуществлению моего скромного призвания. Мне купили белорусские и русские учебники — с пожеланием просить у учителя разрешения отвечать на уроках по-русски. В ужасе от ожидания упреков в зазнайстве, сделала я первую попытку говорить не на том языке, на каком говорят все. Удивительно, но никто не возмутился, меня слушали с интересом. И до окончания школы я отвечала на всех уроках по-русски, кроме уроков по белорусскому языку и литературе; в разговорах тоже использовала русский. По приезде в Петрозаводск оставался небольшой акцент, но вскоре был преодолен.

Второе событие произошло накануне именин Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи. Оно утвердило меня в том, что отец был писателем, но отняло надежду узнать хоть что-то, пусть самое простое, о его жизни. Мама писала поздравление в Новобелицу своей племяннице Вере, и Юра спросил: а когда у Мрыя день рождения? На этот раз она его не одернула, да я и сама уже поняла, что Мрый — это писательский псевдоним отца, — и тоже ждала ответа. Для нас с Юрой понятия именин и дней рождения были тождественны, но не для людей старшего поколения, родившихся (как отец, мама, Вера) в годы сохранения христианской традиции и старого стиля летоисчисления. Сегодня, во многом благодаря интернету, можно ясно представить себе, что до 1918 года день рождения вообще не праздновался и не всегда помнился. Личный праздник христианина (именины, или день Ангела) определялся церковью во время крещения по дню памяти одноименного святого. Перевод этих дат на новый стиль представлял трудности и требовал осмотрительности — ввиду жестокой антирелигиозной политики государства, проводившейся во многих местах страны вплоть до середины 1950-х годов.

Чтобы не сбиться в ответе, мама должна была назвать имя святого, в честь которого был назван отец. Те действия, которыми она свой ответ оградила, показались мне странными; едва ли и Юра намного лучше, чем я, понимал их, хотя успел хватить лиха. Объяснив, что в ее семье отмечались не дни рождения, а именины, иначе черт утащит, мама вывела нас в огород: «У стен бывают уши!..» Убедившись, что никого нет, она сказала: день вашего отца можно найти в святцах, церковных книгах... Это день святого, мученика... и назвала имя. Не видевшая «святцев», не знавшая о святых, которых, согласно проводившейся атеистической пропаганде, не было и нет, я слышала названное ею имя впервые, не встречала и потом. И я забыла мученика, именем которого был назван отец.

Про «святцы» вспомнила после 1987 года (когда А. Мрыю, благодаря немецкому литературоведу Норберту Рандову, было возвращено честное писательское имя), но что было в них толку без точного имени и хронологического ориентира? Наконец, ознакомившись со следственным делом, в «Анкете арестованного» (Л. 36), заполненной отцом при первом аресте в феврале 1934 года, я нашла запись о его возрасте: «40 лет, август 1893 года» (точная дата рождения не названа и здесь — тоже, видимо, по причине трудностей с переходом на новый стиль). Затем обратилась к тем самым «святцам» — православным календарям, печатавшимся со времени Перестройки, и в листках за август-сентябрь опознала забытое имя, услышанное в детстве от матери: «Он Стратилат!» — сказала она тогда.

День мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников (и с ним мучеников мама тоже упомянула) в отрывном православном календаре «Святое имя» на 1992 год (Кострома, 1991), равно как и в позднейших, приходится на 1 сентября (19 августа по старому стилю). Традиционно ребенка крестят именем святого в день рождения (особенно когда есть угроза его жизни, а такая угроза жизни

детей моего дедушки существовала, так как первые его новорожденные — четверо — умерли младенцами) или на восьмой день после него. То есть, если день памяти Андрея Стратилата приходится на 1 сентября (по н. ст.), то день рождения Андрея Мрыя может определиться как 1 сентября или на семь дней раньше этого дня — например, как 25 августа. Он никак не может определиться позднее, чем 1 сентября, потому что сначала дети рождаются, потом их крестят, а не наоборот. В силу всего сказанного не может быть принята дата 13 сентября, указанная в словарях «Писатели Беларуси» и в интернете как день рождения А. Мрыя. Что касается предположения И. И. Ждановича о возможном архивном хранении данных волостного писаря А. Д. Шашалевича и его детей («Голас Радзімы». 2013. 26 верасня), то мы его проверили. В справочнике «Фонды Национального исторического архива Беларуси» (Минск, 2006) на стр. 42, правда, имеются данные Должанского волостного правления Чериковского уезда Могилевской губернии, относящиеся к 1907—1916 годам. Однако в указанный период семья Шашалевичей уже не проживала в Долговичах, а глава ее к тому времени умер. Другие записи, потенциально полезные для биографии Андрея Мрыя, в книге, к сожалению, не найдены. Поэтому думаю, что 1 сентября — день памяти Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников — можно считать датой рождения Андрея Мрыя.

О дате, месте рождения и других биографических данных отца, взятых из материалов следственного дела, я писала в журнале «Кантакты і дыялогі» (2001. № 11), правда, день мученика Андрея Стратилата здесь ошибочно назван как 14 вместо 19 августа по старому стилю. В статье приводится также моя догадка о том, как роман отца мог попасть в Германию в 1953 году и быть там издан: к этому якобы мог быть причастен некий человек, который контактировал с нами в оккупации и уехал в Германию с отступлением немецких войск. Предисловие Р. Склюта к мюнхенскому изданию 1953 года, копию которого я получила позднее от Н. Рандова, убеждает, что догадка моя была неверна. Ведь автор не осведомлен о вторичном аресте отца (1940); этот факт был бы ему известен, если бы он получил свою информацию от указанного мной человека.



С. А. Зыкова с учениками. Д. Дербичи Буда-Кошелевского района. 1959 г.

«Умер во время войны...»



Андрей Мрый (Шашалевич).
Тюремное фото.

Третье важное событие случилось после того, как мне исполнилось тринадцать лет. До той поры мою неокрепшую душу берегли от стрессов и страданий, теперь же посвятили во все то, что составляло нашу страшную боль и семейное горе, разрушившее семью, изувечившее жизнь мамы и Юры. Чтобы приобщиться ко взрослой жизни, к жизни страны, пора было полностью и честно осознать случившееся и происходящее с нами, понять ответственность перед собой, своей совестью и людьми.

Поэтому незадолго до вступления в комсомол, в январе или феврале 1953 года, на обратном пути из райцентра, куда мы ходили за покупками, мама рассказала мне всю правду... Об арестах отца, о его мытарствах и наших — в качестве родственников «врага народа»; о том, что попытки опровергнуть ложь бессмысленны, даже опасны; что нельзя ничего никому рассказывать и при ком-либо плакать... у нее у самой уже слез не осталось. День был зимний, морозный; не замечая холода, мы с тяжелым сердцем вернулись домой. Нас встретила хозяйка — тетя Алена, как я называла ее. При ней я удержала подступившие рыдания, но заныли ноги — резкая, пронзающая боль... «Это от отца, ревматическая!» — встревожилась мама. Оказалось, тетя Алена все знала и все сразу поняла. Отправила меня на русскую печку, там я отогрела ноги и проплакала остаток дня.

На приеме в первичной ячейке ВЛКСМ Неговской школы на вопрос о родителях, как и прежде, если случалось, я отвечала, что мама учительница, отец умер во время войны. Но теперь мой ответ обрел новое внутреннее содержание. Сама же процедура вступления оставила яркое ощущение окрыленности, искренности, тепла. С группой ребят мы быстро прошагали в райцентр (18 км от деревни), за два с небольшим часа, порядком устали. Работник райкома устроил нам ночлег у себя дома; были торжественные мероприятия. О судьбах ребят позже рассказывала мама: Володя Щербаков (из Неговки) поступил в Высшее летное училище, Гриша Козлов (из Люшева) — в БИЖТ. Славные они были ребята, а также Надя Артеменко, Вася Хомченко, комсорг Нюра Щербакова, Алеша Гавриленко, Зоя Дмитриченко, Володя Климов, рукодельница Франя и другие.

Перед окончанием школы у нас с мамой был разговор о четырех вариантах моего дальнейшего пути. Первый — учиться в Лесном техникуме Красного Бора, — как она сказала, для нее был бы легче. Я с радостью хотела выбрать именно этот вариант. Но мама рассердилась... и настояла на том, чтобы я сделала свой собственный выбор. Пришлось сознаться, что это учеба в десятилетке и Иняз. Если бы не сестра, жившая в Петрозаводске, то из двух остальных вариантов: учиться в Гомеле, живя у родственников или учиться в Бронице, живя в Неговке — я бы выбрала последний. Вспоминая ребят, думала: ведь я сюда еще приеду? Нет, с сожалением отвечала мама.

«Твое первое слово было — Хэ-эбця!..»

На следующее лето я приехала в Неговку, а после не пришлось. Мама работала в других деревнях Буда-Кошелевского района: в Надеждине, Еленце, Дербичах и Октябре. В 1964—1976 годах они с Юрой жили в Гомеле. Потеря его тяжело сказалась на здоровье мамы, и я перевезла ее в Петрозаводск. Глубокий склероз разрушал ее сознание, но в первое время она могла что-нибудь делать по дому и старалась занять внучек-дошкольниц. Удивляя девочек белорусским говором, она водила с ними хоровод и напевала песенку-речитатив своего детства; в песенке упоминались ее братья и сестры и она сама: «Ваня, Оля, Саша, Гриц, Вася, Соня, Коля — цыц!»

Из них Ваня окончил Петербургскую духовную академию, преподавал реальные науки в Новгороде, стал деканом Гомельского пединститута. Сестры стали учителями. Саша (А. А. Кустова) погибла в голодные годы на Украине. Гриша (Гриц), окончивший Институт им. Лесгафта, воевал в Гражданскую и Великую Отечественную, погиб под Сталинградом. Вася работал агрономом в Харькове, в Москве. Коля учился в Ленинграде одновременно с дядей Гришей, стал гидрологом, работал в Якутии, в Ленинграде. Утратив связь с ним во время войны, мама нашла его в 1970-е годы и переписывалась, пока могла.

Один из последних эпизодов ее жизни тоже связан с моими дочерьми. Они говорили о смешных словах и фразах своего детства. Мама тихо тронула меня за рукав, вспомнив о первом слове, неумело выговоренном мною в огненном 1941-м. Прежде она этого не рассказывала, хотя годы оккупации вспоминались ею и в моей памяти тоже хранились. Теперь она воспроизвела то слово умоляющим голосом: «Твое первое слово было: Хэ-эбця!..» Каким же чудом спасла она меня и брата в те голодные годы? Мама умерла 30 октября 1987 года в возрасте 88 лет.

Так прошли в Беларуси шесть лет моего детства и отрочества. На них — знак печали о горькой участи матери и брата; о том, что моя собственная, спасенная ими судьба сложилась не на родине. И все же это были те годы, которые в жизни каждого человека являют его золотую пору и никогда не забываются. У меня они были освещены живой памятью об отце, согреты друзьями и близкими, общением на языке моих родителей, моих предков. В мыслях я возвращаюсь к ним снова и снова.



ТАТЬЯНА ШАМЯКИНА

*Романтика советской науки**

Гиперборейская теория и ее приверженцы

Повесть Вацлава Ластовского «Лабиринты» и миф о Гиперборее

Одно из лучших произведений классика белорусской литературы Вацлава Ластовского «Лабиринты», достаточно хорошо изученное в литературоведческом аспекте, не было рассмотрено в плане научных поисков XX — начала XXI стст. Между тем, подобное рассмотрение в значительной степени позволяет актуализировать повесть и ввести ее в широкий научный дискурс нового времени.

Повесть «Лабиринты» небольшая и написана почти век назад, но круг гуманитарных проблем, поднятых в ней, удивляет и восхищает даже нас, читателей третьего тысячелетия, искушенных и в какой-то степени пресыщенных обринувшимися на нас научными и псевдонаучными идеями.

Вацлава Ластовского — выдающегося белорусского филолога, историка, этнографа — можно с полным правом назвать ученым-универсалом ломоносовского типа, исследователем, занимавшимся невероятно обширным кругом научных проблем, хотя все они, в конце концов, сводились к генезису, истории и культуре белорусского этноса. Ластовского волновали наиболее интригующие научные загадки начала XX века, но во многих своих гипотезах, художественно воплощенных в лучшей его повести «Лабиринты», он и обгонял свое время.

Общеизвестно, что весь XIX век — эпоха бурного развития науки и техники — в сфере гуманитарных наук прошел под знаком чрезвычайно плодотворного изучения языка и культуры индоевропейцев. Это изучение привело к пониманию *общего генезиса* очень многих народов Европы и Азии. В начале XX ст. индоевропейская теория получила новый мощный импульс благодаря книге знаменитого индийского ученого Бал Гангадхара Тилака «Арктическая родина в Ведах», с которой, судя по всему, был знаком и В. Ластовский. Книга на английском языке вышла в 1903 году и сразу стала широко известной в Европе, дав дополнительный толчок изучению культуры индоевропейцев или, как их называл Тилак, — *арийцев*.

Б. Г. Тилак был первым, кто в мифах Вед — важнейшего письменного памятника арийцев, принесших его с собой в Индию во II тысячелетии до нашей эры, — нашел сведения о последнем оледенении северного полушария Земли и показал, как оно отразилось на предках современных людей белой расы. На основе необычайно тонкого и глубокого анализа текстов Вед и их языка — санскрита, впервые с привлечением геологии, астрономии и других природоведческих наук, Б. Г. Тилак убедительно доказал существование прародины арийцев,

---

* Продолжение. Начало в № 12 2013 и № 1, 3, 4, 6 2014.

предков современных индусов высших каст, в *арктическом регионе*, за теперешним Полярным кругом. Так, он обнаружил в текстах мифологизированное, но явно основанное на реальности описание таинственного острова Шветадвипа («Страны света»), посреди которого возвышается Мировая гора Меру, центр мира, с точки зрения народов Евразии.

То, что предки индусов дошли до Индии, продвигаясь из феноменально далекой Арктики, — настоящее научное открытие Б. Г. Тилака. Более того, мы, славяне, с индийцами родственники, как и со многими другими этносами в Евразии, целыми семьями народов — романскими, германскими, кельтскими. Индийские религиозные и литературно-художественные тексты, согласно Б. Г. Тилаку, безоговорочно подтверждают исторический факт *существования прародины всей белой расы в арктическом регионе*. Расселение с севера предков народов — носителей индоевропейских языков — сегодня не отрицают и западные мифологи, лингвисты, фольклористы.

В наше время уже нельзя вести мифологический и лингвистическо-типологический анализ без привлечения данных санскрита. Исследования в области поисков сходства словарного запаса и ряда грамматических форм древнего языка Индии — санскрита — с языками народов Европы широко развернулись еще в XIX в. Но в XX в. было обнаружено, что в славянских языках выявляется гораздо *большее*, по сравнению с западными языками, число сходных или даже точно совпадающих с санскритом слов, в том числе теонимов, гидронимов и топонимов. Все эти совпадения, как показала в своих трудах лучший в России знаток санскрита Наталья Гусева, объясняются *общей прародиной* славян и ариев, ставших в Индии представителями высших каст. Крупнейший российский знаток культуры Древней Индии Г. М. Бонгард-Левин также во многом разделял эту точку зрения. Исследовав великий эпический памятник Индии «Махабхарату», содержащую более 200000 строк, он обратил внимание на многочисленность упоминаемых в нем «полярных» явлений. В эпосе описывается Молочный океан (Белопенное море), который сразу вызывает в памяти Белое море на севере России. Сообщается в поэме и о горе Меру: «именно там полгода — день, полгода — ночь», «одна ночь и один день вместе равны году». Там высоко в небе «видна укрепленная богом-творцом Полярная звезда», вокруг нее обходят кругами созвездия Большой Медведицы и Волопаса, именно там «блистают рожденные радугой десять апсар» — возможно, северное сияние. Это была страна, «где вкушается блаженство». Она была покрыта лесами, богата стадами антилоп и стаями птиц. Многие стремились попасть в эту сказочную страну, но все попытки кончались неудачей из-за неимоверных трудностей пути. Только гигантская птица Гаруда могла долететь туда, и лишь герои и мудрецы удостаивались чести на ее крыльях побывать в северных краях. Легендарная птица оставила в памяти всех народов Евразии глубокий след. Древние арабы называли ее птицей Рух (она часто упоминается в сказках «1001 ночи»), иранцы — Симург, восточные славяне — Жар-птицей. (В последнее время романтики от науки верят, что под образом гигантской птицы скрывается летательный аппарат.) С вершины горы Меру, согласно «Махабхарате», открывался прекрасный вид на Молочное море и на «Страну света» (Белый остров), где жили герои-богатыри.

Подобные красочные описания удивительных ландшафтов исследователи находят и в других индийских литературных памятниках, религиозных сочинениях, философских трактатах. Все они недвусмысленно указывают, что предки индусов пришли в Индию не просто с севера, а с очень далекого севера, именно из Арктики.

Описания северных земель есть и в Авесте — священной книге древних персов-огнепоклонников, последователей древнеиранской религии пророка Зороастра (Заратуштры). Здесь упоминается священная гора Хара Березайти, что означает «Высокая Гора». Она была создана до начала мира. Вокруг горы посто-

янно ходит солнце Хвар, а также Луна и звезды. На горе живут боги. Попасть туда могут только герои. У ее подножия — золотистые луга и чистые родники.

Ссылаясь на тексты Ригведы (одной из четырех книг Вед) и Авесты, священные книги арийцев-индийцев и арийцев-иранцев, Б. Г. Тилак утверждал, что примерно двадцать тысяч лет назад внезапно и кардинально изменился климат на прародине ариев: страна обледенела, и добрые боги посоветовали ее жителям оставить свое отечество навсегда. Так началась миграция арийцев и других народов на юг Евразии. *Вел их Рама*.

В эпоху Античности Арктика (Арктида) называлась *Гипербореей* («гипер» — «за», «над»; Борей — в мифологии греков северный ветер, то есть имеется в виду «страна по ту сторону северного ветра»). Согласно трудам лучшего в XX в. знатока эллинской культуры, русского философа и филолога Алексея Лосева, который скрупулезно изучил античные тексты, Гиперборея упоминалась у древних авторов не менее шестидесяти раз. Это достаточно серьезная цифра, чтобы отнестись к свидетельствам античных мыслителей с определенным вниманием.

Крупнейший современный исследователь Гипербореи, доктор философских наук Валерий Демин пишет в книге «Атлантида и Гиперборея»: «Здесь когда-то жили титаны и горгоны, родились многие будущие Олимпийские боги, происходили величественные битвы эллинской предыстории — Титаномахия и Гигантомахия. Здесь, на берегу Ледовитого океана (или Кронидского моря, как оно называлось в глубокой древности), размещался таинственный сад Гесперид».

Иначе говоря, вся греческая мифология представляет собой не что иное, как сильно переработанные народной фантазией *воспоминания* о географических и исторических событиях, *происходивших в Гиперборее*. По свидетельству мифов и книг древних авторов, в Гиперборее царил Золотой век, ее жители не знали бедности, горя, болезней и даже смерти — кому надоедало жить, тот просто бросался со скалы в море. «Отец истории» Геродот (V в. до н. э.), ученый исключительно правдивый, прямо связывает Гиперборею с крайним севером, но отмечает связь тамошнего народа и с греческим островом Делос.

Известнейший античный писатель и историк Плиний Старший (I в. н. э.) утверждал, что именно в Гиперборее «находится точка вращения мира», что солнце здесь восходит и заходит лишь один раз в году, а созвездие Большой Медведицы не опускается за горизонт. То же самое можно сказать и сейчас о высоких широтах Арктики. В стране гипербореев, писал Плиний, «нет ни холодных, ни знойных ветров, а земля дарит обильные плоды». И резюмировал: «Нельзя сомневаться в существовании этого народа».

Поэт Пиндар, принадлежавший к семье жрецов Дельфийского храма, писал в «Пифейских одах», что гиперборейцы близки к богам и любимы ими. Это была райская страна.

Таким образом, согласно античным источникам, *реальность Гипербореи очевидна*. Правда, некоторые современные историки полагают: поскольку слово «Гиперборея» греческое и означает понятие социально-культурное, а не географическое, речь может идти всего лишь о какой-то стране, расположенной несколько севернее Греции, во всяком случае, не очень далеко. Подозрение таких исследователей падает на Аратту — царство носителей индоевропейских языков, существовавшее в античные времена в междуречье Днестра и Днепра и открытое в недавно прочтенных шумерских текстах. Но древние мифы Греции называют столицей Гипербореи Ортополис. Дословно это название переводится как «город Земной Оси», «город Вертикали». Можно посчитать, что это искаженное Араттополис. Однако и предания скандинавских народов говорят о «сверхсеверной» стране Оси — «стране Оз» и о ее столице — Асгарде, что в переводе тоже означает «город Оси». Таким образом, речь идет о стране, расположенной еще даже севернее Скандинавии. Заметим, что слова и «Аратта», и «Аркаим» (священный город, раскопанный археологами в 1990-е годы на юге Урала),

и «Аркадия» (легендарная античная «страна блаженных») содержат корень, указывающий на Арктику. Вполне возможно, что все это — следы гиперборейских колоний. Вообще языковой корень «арк» или «ар» чрезвычайно интересный: он присутствует в большинстве слов, обозначающих нечто сакральное, древнее и таинственное: «аркан» — тайна (название карты Таро), «арт» — искусство, магия, «архонт» — царь-жрец, «архаика» — древность, «арий» — благородный, «аристократия» — власть благородных. Наше белорусское слово «араты», то есть «пахарь», — от «ария».

Некоторые ученые, занимающиеся проблемой Гипербореи, полагают, что сами жители северного материка именовали свою столицу Пола, значит, «покой». Возможно, этому имени обязаны возникновением слова «полис» (город-государство) и «полюс». А я добавляю к лингвистическим догадкам и нашу древнюю белорусскую столицу — Полоцк. Другое название Гипербореи — Туле (Тула, Фула), которое также встречается в античных источниках, в частности, у Страбона (I в. до н. э.) и в пересказе утраченного романа древнегреческого автора Антония Диогена «Невероятные приключения по ту сторону Фулы». Словом «Туле» немцы-нацисты называли также и Атлантиду. Вообще часто понятия Атлантиды и Гипербореи в XX веке отождествлялись, да и сейчас рассматриваются в связке, так как судьба у них одна.

С Гипербореей связаны некоторые мифологические существа и легендарные события. Я не раз писала, что мифология как особый тип осмысления действительности в иносказательной и преувеличенной форме воспроизводит *реальность дописьменных времен*. Так вот, греческие мифы однозначно утверждают, что два олимпийских бога, причем чрезвычайно почитаемые, — Аполлон и Артемида — были связаны с Гипербореей. Они — дети Зевса от титаниды Лето (Латоны), родившейся на далеком севере. Само имя Аполлон якобы означает «покровитель Полы» — столицы Гипербореи. (Есть и другие толкования его имени). Аполлон периодически возвращался из Греции на северную родину на колеснице, запряженной лебедями. Вообще лебеди — священные птицы у арктического народа. Гиперборейцы же основали и главное святилище античного мира — храм Аполлона в Дельфах, упоминание о котором многократно встречается в произведениях древнегреческой литературы. Храм создал жрец со странно славянским именем Олен[ь], которого упоминает В. Ластовский в повести «Лабиринты» (о чем ниже). Олен и был первым прорицателем в позднее ставшем знаменитом языческом храме. Причем, по свидетельству античных авторов, весь культовый и обрядовый канон Аполлона Дельфийского был составлен на основе гиперборейских преданий. У самих гиперборейцев священными предметами были стрела, ворон и лавр Аполлона, которые обладали чудодейственной силой.

Сестра-близнец Аполлона — Артемида — также неотделима от Гипербореи. Античный писатель Аполлодор, автор «Мифологической библиотеки», рисует ее заступницей гиперборейцев. О ней рассказывается в древней оде Пиндара, посвященной Гераклу, самому известному из героев Греции. Геракл отправился в Гиперборею, чтобы совершить очередной подвиг — добыть златорогую Киренейскую Лань, и там встретил дочь Латоны — Артемиду. Причем и сам Геракл нередко носит прозвище Гиперборейского. Античные источники наполнены сведениями о гиперборейцах — это одна из любимых тем. Например, А. Ф. Лосев приводит свидетельство Диодора Сицилийского (I в. н.э.), еще одного, как и Геродот, как и Плиний, как и Страбон, чрезвычайно авторитетного античного историка: «Гиперборейцы, говорят, имеют свой собственный язык, но к эллинам они очень близки, и особенно к афинянам и делосцам, с древних времен поддерживают это расположение». Писатель того же времени Гесихий отмечает: «Гиперборейцы почитают небесный свод». Действительно, всяческие обряды всегда здесь проводились не под крышей, а под открытым небом, впрочем, как и у славян.

Подводя итог многочисленным античным свидетельствам о Гиперборее, А. Ф. Лосев пишет: «Гиперборейская жизнь — это полнота жизни как в смысле древних хтонических стихий, просветленных аполлоновским воздействием (климат, почва, плодородие, длительность жизни), так и в смысле художественного творчества, столь характерного для Гипербореи (музыка, пение, танцы)». Вот почему Гиперборея в культурной традиции стала ассоциироваться с Золотым веком.

Гиперборейцы с эллинами были настолько близки, что очень долгое время, вплоть до нашей эры, обменивались дарами — сначала непосредственно, а затем через соседей, причем все авторы подчеркивают одну характерную деталь: дары гиперборейцев грекам *всегда* были завернуты в пшеничную солому, но что они собой представляли — *неизвестно*. Какова сила традиции и вера в сакральные вещи — никто никогда внутрь этого скрутка из соломы не заглянул, чтобы узнать о таинственных подарках!

В V в. до н. э., по свидетельству Геродота, на острове Делос (где, согласно мифу, Лето родила Аполлона и Артемиду) почитались могилы двух гипербореек, некогда прибывших сюда и здесь умерших. Истинность этого сообщения была подтверждена в 20-х гг. XX в., когда французские археологи обнаружили на Делосе остатки каменной кладки гробниц «гиперборейских дев». Причем не только божественные близнецы, ставшие на рубеже нашей эры по существу главными в Греции, но и их мать Лето настолько почиталась, настолько люди боялись оскорбить даже память о ней, что жительницы острова Делос, будучи христианками, в течение всех последующих веков никогда на острове не рожали, а отправлялись на соседние острова. Сегодня об этом гиды обязательно рассказывают многочисленным туристам. А вообще к Делосу, совсем маленькому островку, в Греции отношение всегда было особенно благоговейное.

В свете всех *античных сведений* о гиперборейцах можно предположить, что этим этнонимом в классическую эпоху называли себя народы, которые хорошо помнили о своей прародине и жили на когда-то принадлежавших ей землях. Не исключаю, что среди них были предки белорусов. Сама же их истинная прародина Туле, ее центр, вместе с горой Меру, со столицей Полой, могла уже давно и не существовать.

Древние кельты также якобы бывали в северной стране и описали ее в «Плавании святого Брендана». В этой земле, полагали они, живут феи и эльфы, а сами жители всегда молоды, здоровы и веселы.

Вацлав Ластовский дополняет и по-своему интерпретирует тексты Авесты, Вед, греческие и кельтские источники. Устами одного из главных героев «Лабиринтов» Ивана Ивановича он сообщает: «Паўночныя народы, якіх звалі гіпербарэйцамі, займаліся лавецтвам, скацежніцтвам і ратайствам. Зналі рамёслы і асабліва любаваліся ў вызначэнні прыроды, а дзеля гэтага былі носьбітамі высокай веры. З берагоў Герадотаўскага мора, цяперашняга Палескага краю, паходзіў вялікі індыйскі рэфарматар Рама. Ален-гіпербарэец вывеў з поўначы калонію вучоных, якія сталіся ў Грэцыі кастай святароў і аснавапаложнікамі чэсці Апалона і Дыяны ў Дэласе. З поўначы, са славяна-гецкай зямлі, прыбыў у Грэцыю Арфей, заснавец гарадоў, вучыцель мастацтва і рамёслаў».

В приведенном отрывке на языке оригинала несколько интересных сообщений, на которых я остановлюсь.

О том, что один из могущественных богов олимпийского пантеона Аполлон и его сестра-близнец Артемида (Диана) происходили из Гипербореи, свидетельствуют абсолютно все античные авторы, потому бесспорный факт Ластовский вплетает в собственный миф. Об Олене-гиперборейце также упоминается у эллинов. Заметим, что «Олен» — то же, что «олень», — тотемное животное гиперборейцев. Похоже, что имя прародителя греков Эллина тоже можно трактовать как «олень», «лань». Даже в наше время у всех северных народов Евразии и Америки олень (лось) — священное, самое почитаемое из животных. Женское

имя Олена (Алена) всегда было чрезвычайно популярно у белорусов, русских, украинцев, других славянских народов. Корни «ал-ла», как и «ар-ра», о чем я писала еще лет двадцать назад, едва ли не самые древние и чрезвычайно распространены у индоевропейцев. Из-за Елены Прекрасной, как известно, началась Троянская война, как и война Рамы с Раваном из-за Ситы в «Рамаяне», самом знаменитом, наряду с «Махабхаратой», литературном произведении Индии. Еще до Б. Г. Тилака некоторые западные ученые обращали внимание на удивительное подобие «Илиады» Гомера и «Рамаяны» Вальмики. Видимо, тут не стоит говорить о заимствовании одного у другого, а дело в общем источнике — еще гиперборейском — как двух прославленных поэм, с которых началась, собственно говоря, мировая литература, так, кстати, и близких к ним сюжетов многих белорусских сказок. Не из таких ли сказок и преданий взял Ластовский сюжет о полесском происхождении Рамы?

Сам Б. Г. Тилак осторожно высказывал мысль о смысловом совпадении образа Рамы с богом солнца Сурьей, который неоднократно упоминается в мифах Вед, хотя в более поздней «Рамаяне» Рама является уже седьмым воплощением бога Вишну на земле. Как известно, к белорусским сказкам и их главному герою Ивану (у Ластовского, напомню, герой Иван Иванович) также можно приложить *солярную теорию* — у этой гипотезы достаточно много приверженцев. Но не исключено, что Рама — *реальный* исторический персонаж, типа Александра Македонского, — вождь арийцев, который вывел их из Гипербореи, а позднее был мифологизирован, как и многие другие исторические деятели, тот же Орфей — первый европейский, фактически обожествленный поэт и музыкант, о котором также говорит Ластовский.

Жили ли Орфей и Рама в действительности — мы уже не узнаем никогда, но писатель имеет право на историко-художественные допущения. Тем более, что современные исследователи, скажем, лучшая в России индолог Наталья Гусева (недавно умершая), относительно книги Б. Г. Тилака справедливо отмечает: неизвестно, какими путями и на протяжении какого времени продвигались арийцы с севера на юг — пятисот лет, тысячи или пяти тысяч? Последнее вероятнее всего. Кроме того, почему считается, что Рама повел арийцев сразу в Индию? А может, в Европу? Правда, память о его деяниях лучше всего сохранилась у тех индоевропейских народов, которые во II тысячелетии до нашей эры действительно эмигрировали — видимо, под влиянием снова-таки каких-то внешних факторов — из Европы в Индию (у индусов высших каст вообще все исконно арийское лучше сохранилось. Да и действие «Рамаяны» происходит уже в Индии.) Однако до того времени племена, приведенные в умеренную зону Рамой (сложно сказать — когда), расселились по огромной территории Евразии, не переставая постоянно передвигаться — в основном в широтном направлении или по кругу.

В последнее время изучен большой корпус текстов античных, византийских и арабских авторов, по которым академическая наука довольно уверенно реконструирует пути заселения территории Беларуси, правда, на протяжении всего лишь последних двух тысяч лет. Первым из осевших здесь племен, которые упоминают античные авторы, были киммерийцы (кимры). В. Ластовский считал, что они же — «курэты, квірэты, або крывіты», которые «ўжывалі рунічнае пісьмо задоўга да прыбыцця ў Грэцыю фініцыянскага Кадмуса» (куреты, как известно по греческой мифологии, воспитывали маленького Зевса). Авторитетный современный российский историк Алексей Кузьмин расшифровывает этноним «киммерийцы» как «зимние» и напоминает, что античная традиция основательно сохранила версию о родственности киммерийцев с жителями самого края Земли — теми, кто «около Океана».

А вот В. Ластовский был уверен в том, о чем пока несмело пишут историки. Он отмечает: «Грэцкія вучоныя самі сведчаць, што жыўшыя на поўнач ад іх паўночныя народы занеслі ў Грэцыю не толькі некаторыя мастацтвы, але і цэлую

рэлігійную сістэму, навукі і ўмеласці». В конце XX в. российский академик Игорь Дьяконов также осмелился утверждать, что даже земледелие как таковое возникло совсем не в степи на черноземе, что считалось аксиомой, а как раз в лесной зоне, значит, на нашей территории. Между тем, именно на основе развитого земледелия возникает оседлая цивилизация, ремесла, торговля, города, в конце концов, государство.

В. Ластовский не сомневался, что *культуру грекам подарили славяне*. Но эллины, разрушив славянский город Трою, уничтожив другие города, «стараліся іх зняславіць перад гісторыяй, нясулшна прыпісваючы ім нялюдскія абычаі і чараўніцтва». В качестве аналогии с неприглядными действиями эллинов относительно славян Ластовский приводит историю более известных, чем праславяне, *этрусков*, от которых римляне переняли все культурные достижения, а самих этрусков обесславили и постарались вытравить память о них. «Пад ударамі чужаземных наезнікаў, — пишет белорусский автор — заняпала і наша культура». Все как всегда... Не так ли и сегодня пытаются у бывших советских людей вытравить память о их славном, хотя драматическом, прошлом...

Есть среди гипотез Вацлава Ластовского и фантастические, но многие из исторических сведений о расселении славянских племен находят подтверждение в современной науке. Некоторые российские и белорусские ученые не боятся высказывать довольно смелые и при этом, на удивление, обоснованные гипотезы. Например, известный русский мифолог Александр Асов совсем серьезно пишет о знаменитой Трое как славянском городе. Но первый об этом сказал наш Ластовский! (До него академик Александр Веселовский доказал праславянское происхождение Ахилла, одного из главных героев «Илиады». Выходит, Ахилл, выступая на стороне греков, боролся против своих. Что ж, так тоже не раз бывало в нашей истории, как и в истории других народов, — архетип Иуды вечен.)

Таким образом, Ластовский был страстным *приверженцем гиперборейской теории, по существу первый в белорусской культуре*: славяне, по его мнению, прямые потомки арийцев, которые эмигрировали из Гипербореи после какой-то всепланетной катастрофы. *Именно славяне лучше всего сохранили знания и умения, вынесенные из прародины, и через тысячелетия передали их южным народам — грекам и римлянам*. Как доказательство Ластовский приводит народные белорусские названия звезд и созвездий: хорошее знание неба нашими предками он считал памятью прежних астрономических представлений, возможных только в высокоразвитых цивилизациях. «Нашы продкі перажылі стадыю высокай культуры», — пишет он.

Почему же не находят у нас артефактов, величественных сооружений, письменных памятников, в то время, как земли Греции, Италии, Египта буквально наполнены ими? На этот вопрос писатель отвечает так же, как уже хором голосов утверждают и авторитетные современные ученые: «Нашае няшчасце ў тым, што край наш не абладае ні годным да будовы каменнем, ні капальнямі мінералаў, а з гэтай прычыны адзіным, годным да будовы матэрыялам было дрэва, нашы мастацкія будоўлі былі драўляныя, малатрывалыя».

Да, наша цивилизация — деревянная, и по этой причине не сохранилась. Только та земля, на которой стоит Полоцк, неплохо консервирует дерево. Потому и берестяные грамоты там, как и в Новгороде, находят — еще одно убедительное свидетельство высокой цивилизации предков. Благодаря находкам последних лет белорусским археологам удалось выяснить, что Полоцк почти ровесник Рима — возник в VII столетии до нашей эры (об уникальности Полоцкой земли я писала в статье «Беларусь — сакральный центр Европы»).

Праславяне не придавали особого значения материальным свидетельствам своей культуры (сами их сжигали, как доказал украинский академик Александр Шилов), зато знания сохраняли, например, в вышивке, в орнаменте. Причем это были даже математические знания. К сожалению, их истинный смысл оказался утрачен. Тем не менее какие-то сведения передавались, даже по непонятным нам

пока генетическим каналам. Недаром программисты Индии сегодня считаются лучшими в мире. Именно потому, как я полагаю, что арийцы, пришедшие сюда, смогли многие из древних представлений и сакральной информации сберечь и пронести через тысячелетия.

Поиски Гипербореи и миф о ней в советскую и постсоветскую эпохи

Гиперборейская теория, так волновавшая античных ученых, не имеет отношения к строгой академической науке, хотя на основе этой теории создана уже целая библиотека достаточно серьезных трудов. Официальная наука, как правило, боится заниматься проблемами, которые сложно доказать, защищать по ним диссертации, получать научные степени и звания, а потому не обращает внимания на вещи, в принципе, чрезвычайно важные. Скажем, к той же гиперборейской теории мы не можем легкомысленно отнестись хотя бы потому, что арктическая прародина арийской (нордической) расы — основа оккультной традиции Третьего рейха, самой агрессивной державы XX ст., принесшей неисчислимые беды и народу Германии, и многим другим народам Земли.

Немецкие ученые и писатели — Ланц фон Либенфельз, Иоган Горслебен, Дитрих Экхарт, Карл Виллегут, Рудольф фон Зеботендорф — в начале XX в., в частности, в начале 20-х гг., когда как раз писал свою повесть и Вацлав Ластовский, глубоко разработали арктическую теорию, создали на ее основе тайные ордены, оккультные сообщества и аналоги масонских организаций, эзотерическая доктрина которых повлияла на Гитлера и других будущих нацистских деятелей. Немецкие ученые и невиновные, и одновременно виновные в том, что их во многом фантастические идеи настолько понравились фашистам, что стали официальной идеологией национал-социалистической партии Германии, а в дальнейшем и государства. Это трагический пример того, как паранаучные теории овладевают мозгами вождей и чаще всего негативно воздействуют на историю человечества, на судьбы миллионов людей. Новое возвращение к той же гиперборейской идее на рубеже XX и XXI стст. обусловлено все же действительно хорошей ее научной разработкой как части арктической теории еще до того, как ею заинтересовался Гитлер, а также и последующими, послевоенными, открытиями в смежных науках, от которых уже невозможно просто так отмахнуться.

Насколько актуальна тема Гипербореи сегодня, говорит тот факт, что упоминавшийся здесь русский исследователь Валерий Демин на протяжении нескольких лет (как раз на рубеже столетий), до своей преждевременной смерти в 2006 г., снаряжал хорошо экипированные экспедиции на Кольский полуостров, на остров Вайгач, Новую Землю, полуостров Ямал и другие российские северные территории, где удалось найти свидетельства существования допотопной, как считал руководитель проекта, цивилизации.

Мне кажется, интерес этих экспедиций не столько научный (хотя и научный, конечно), сколько политический и экономический, учитывая совсем недавние (2010 г.) некоторые символические акции властей РФ, например, опускание с Северного полюса на дно Ледовитого океана титанового государственного флажка России.

Что сей странный факт означает? На самом деле, вовсе не странный, если помнить некоторые исторические аналогии: конкистадоры, завоевывая новые земли, ставили на берегу моря крест как знак своего владения данной территорией. А в наше время несколько стран, территория которых выходит за Полярный круг, начали, без преувеличения, жесточайшую, яростную, бескомпромиссную борьбу за овладение Арктикой, акваторией Северного Ледовитого океана, островами, где найдены до трети мировых запасов нефти и многие другие природные богатства. Россия символическим актом опускания флажка заявила свои права на

шельф, доказывая, что хребет Ломоносова, находящийся под полюсом, является продолжением материка в той его части, которая примыкает к РФ. Вот почему тема Гипербореи, которая, может быть, как раз и является тем самым хребтом Ломоносова и от которой остались, как доказывают российские исследователи, также и Кольский полуостров, и Новосибирские острова, и Ямал, и Новая Земля, далеко не исчерпана. Символическое действо — опускание флажка, — конечно, ничего не решает. Необходимы научные доказательства. Ими и были призваны стать экспедиции В. Демина, авторитетного, в том числе в академических кругах, ученого и известного писателя, публициста, активного популяризатора науки.

Доказать существование Гипербореи будет, конечно, невероятно сложно, практически невозможно, хотя еще в 1569 году самым знаменитым картографом мира — фламандцем Герардом Меркатором — была опубликована географическая карта, на которой вокруг полюса обозначен архипелаг из четырех больших островов, названный Гипербореей. На изданной несколько позже (1595 г.) карте Рудольфа Кремера, сына Меркатора, современные ученые определяют с «подозрительными подробностями» подводный ландшафт приполярной Арктики, а главное, многочисленные земли нынешних северных стран, которые составители карты отнесли также к Гиперборее. Лучше всего узнаются территории, ныне принадлежащие России, вот откуда настойчивость этой страны в доказательствах своего приоритета. В июне 2014 года на совещании, посвященном Арктике, президент РФ В. В. Путин заявил и о необходимости усиления военного присутствия России в регионе.

Подлинность карты Меркатора и некоторых других (Пири Рейса, Оронция Финея, Мартина Вальдзеемюллера) никто не оспаривает (сегодня их очень часто публикуют), тем не менее чудесная страна так и остается областью мифов. Но мифы в XX веке изменяли лицо земли и сметали державы. Да и чем является наука, даже и официальная, как не сбором мифов, разных в ту или иную эпоху? Марксизм, дарвинизм, фрейдизм... Есть уже крамольники, посягающие даже на теорию относительности Эйнштейна... Все эти теории не являются абсолютной истиной, хотя несут, конечно же, истины относительные и не всегда вредные, а как раз те, благодаря которым наука неуклонно развивается. «Если наука разрушает миф, — говорил мудрый Алексей Лосев, — это означает только то, что одна мифология вытесняет другую мифологию». Однако и миф нередко оказывается, в конце концов, в своем ядре правдой. В существовании Атлантиды сомневались некоторые античные ученые, например, сам величайший из великих Аристотель, а вот в Гиперборее как раз никто не сомневался. Сегодня ее реальность получила подтверждение на основе *целого комплекса наук* — истории, археологии, этнографии, культурологии, лингвистики, топонимики, мифологии, геофизики и других. Даже древние поморы, соотечественники М. В. Ломоносова, знали о существовании этой таинственной страны, наблюдая огромные стаи перелетных птиц, которые всегда весной летели гнездиться на север. То есть они летели, движимые инстинктом, на свою прародину. Такое важное доказательство, безотносительно того, осталась там неизвестная земля или нет, игнорировать никак нельзя.

...О Гиперборее наше филологическое поколение узнало из курса античной литературы (ее читал доцент Наум Исаакович Лапидус) и из повести Вацлава Ластовского. Последнее утверждение можно оспорить: в советское время в университетах творчество В. Ластовского не изучалось. Верно. Но наши руководители научных семинаров — профессоры Олег Лойко и Иван Науменко — приносили нам произведения Ластовского и некоторых других, тогда не изучаемых авторов, напечатанных, не исключаю, что где-то в Канаде, под видом дополнительного материала. Объясняли: не успели, мол, издать в БССР. Времена ведь наступили уже достаточно либеральные. Да и международные связи у наших преподавателей были обширные, особенно у Олега Антоновича. Кроме того, все «крамольные» тексты сохранялись в библиотеках — национальной («Ленинке») и академической. А там профессоры были совершенно своими людьми, Иван

Яковлевич, скажем, ходил в читальный зал буквально каждый день. Помню, преподаватели очень дружили с Ниной Ватацы — легендарным в Беларуси библиографом, приглашали ее к нам, студентам, выступать. А в писательской среде (впрочем, и профессоры — из той же среды) постоянно ходили по рукам рукописи «самиздата» и «тамиздата». Мой отец следил, чтобы в руки детей не попадали политические антисоветские тексты, а на наше увлечение неопубликованными художественными произведениями смотрел снисходительно.

Однако мы-то тогда были совсем «зелеными», и идея Гипербореи как-то прошла мимо нашего сознания. Скорее всего, была воспринята именно как миф. Но по мере накопления знаний об Атлантиде и вообще нарастающего интереса к исследованиям океана, мысль о Гиперборее стала возникать все чаще параллельно с интересом к другим затонувшим землям. Например, мы, писательские дети, отдыхавшие с родителями в любимом Коктебеле, были уверены, что в его бухте, там, где кончалась набережная, у подножия Карадага, на дне моря лежат руины античного города.

Я узнавала разные, подобного рода, сведения из научно-популярных и молодежных журналов, из ежегодных альманахов «Хочу все знать», «На суше и на море», «Глобус», «Мир приключений», «Фантастика», где, кроме художественных произведений, публиковались достаточно серьезные статьи и эссе. Часто в них выступали, например, Г. Горбовский и К. Бадигин — еще до В. Демина, В. Щербакова и А. Асова. Постепенно, далеко не сразу, в сознании сложилась довольно стройная картина происшедших на севере Европы глобальных событий.

В то время, когда существовала на севере обширная суша, климат сегодняшней арктической зоны был иным, чем сейчас: там находились тропики! Ученые вынуждены признать данный факт: ведь на Шпицбергене и в Гренландии обнаружены окаменевшие остатки магнолий, смоковниц, пальм, на полуострове Таймыр нашли кости саблезубых тигров и носорогов. Такую резкую перемену климата можно объяснить только перемещением земной оси, которое, в свою очередь, изменило положения двух географических полюсов. Подобная глобальная встряска, естественно, вызвала гигантское цунами. Раньше, еще в советское время, я считала, что до Потопа в Океане циркулировали другие течения, в частности, теплое течение типа Гольфстрима доходило до нынешнего полюса, обогревая тамошние территории — вот откуда в Гиперборее благодатный климат. Но потом я безоговорочно приняла гипотезы переполюсовки или внезапного стремительного скольжения земной коры по вязкой астеносфере, вызванные ударом астероида. О времени катастрофы разные исследователи говорят очень по-разному: от двух тысяч лет назад, учитывая частые упоминания о Гиперборее в эпоху Античности, до пятнадцати-двенадцати тысяч лет. Двенадцать тысяч — наиболее реальный срок, так как на нем сходятся данные многих наук.

Карты Гипербореи, как я уже упоминала, тоже существовали. Они составлены на основании сведений как XVI века, так и гораздо более ранних эпох. Герард Меркатор вовсе не таил, что имел доступ к картам времени Александра Македонского. Однако и они могли быть начертаны на основе еще более древних, даже очень древних, сохранявшихся в Александрийской библиотеке. На карте Меркатора ведь почти современно выглядит территория Северной Европы — значит, она правдива. Однако на месте Северного Ледовитого океана помещен континент (или архипелаг), в центре которого — гора (видимо, описанная в мифологии Меру), у подножия ее берут начало четыре реки, впадающие в окружающие моря. Я думаю, реки и создают впечатление разделенности континента на четыре острова.

На знаменитой карте есть упоминание так называемой Золотой бабы. Предполагают, что арии, поселившиеся в Индостане, помнили о своей прародине — Гиперборее. По легендам, около 5000 лет назад они отправили на север скульптуру со странным названием Золотая баба и оставили ее где-то недалеко от устья

реки Обь на полуострове Ямал. Там она и отмечена у Меркатора. Возможно, Золотая Баба — это изображение богини Лето или ее дочери Артемиды (Дианы). А в устье Оби ранее находилась одна из первых столиц-стоянок гиперборейцев в их движении с прародины — это уже моя собственная версия.

Катастрофа, случившаяся на планете свыше одиннадцати тысячелетий назад, могла нанести сильный удар не только по Атлантиде, но и по Гиперборее. В связи со смещением земной оси переместился и северный полюс (ранее он находился на полуострове Лабрадор в Канаде). В результате на ранее благодатные земли начало поступать мало тепла вследствие низкого стояния солнца над горизонтом. Индийские мифы отмечают, что на их древней прародине стал постоянно идти снег, сама земля покрылась льдом, который не таял, и, чтобы выжить, пришлось людям навсегда оставить эти места.

Современный русский историк и одновременно художник Всеволод Иванов создал интересный цикл картин в стиле фэнтези на тему Гипербореи. У него здания, построенные гиперборейцами, — своеобразный синтез черт архитектуры славян, индусов, китайцев и индейцев Америки, которые ведь тоже ушли в свое время с севера. Особенно интересна картина «Исход из Гипербореи» — ее сейчас очень часто публикуют. Здесь на фоне заснеженного фантастического города, состоявшего из узких острых *пирамид*, увенчанных оригинальными скульптурами птиц и драконов, движется длинная, уходящая к горизонту, цепочка саней, запряженных *мамонтами*, которые якобы были домашними животными у гиперборейцев, как у атлантов — дельфины. По-моему, все мамонты погибли в результате планетарно-космического катаклизма, однако у В. Иванова — своя версия.

В самом деле, о датах и деталях катастрофы говорить вообще очень сложно, да и климат менялся неоднократно, менялись очертания материков. Вообще многие районы Северного Ледовитого океана и сейчас довольно сейсмичны. В целом в большинстве районов происходит поднятие суши — до 1 метра в столетие. Потому вид береговой кромки изменчив. Здесь было несколько оледенений и так называемых «малых ледниковых периодов», причем последний — исторически совсем недавно. Так, открывшие в X веке Гренландию викинги назвали ее «зеленой страной» — она вся покрывалась лесами. Норвежские колонисты прекрасно там обустроились. Однако в XV в., при жизни всего одного поколения, огромный остров стал стремительно покрываться льдом (сегодня его толщина 2 км), и потомки викингов его покинули. Не так ли произошло и в Гиперборее? Хотя не исключена и внезапная, в одни сутки, катастрофа.

А далее таяние ледников по всей Европе и Америке в результате прорыва Гольфстрима привело к подъему уровня Мирового океана. Бывшая Гиперборея оказалась затоплена, но неглубоко. Подводный хребет Ломоносова, который как раз считается центром Гипербореи, находится близко к кромке надводного льда. Более того, можно предполагать, что страна Гиперборея—Туле не была затоплена целиком. Ее частью считают Гренландию, Исландию, Шпицберген, Кольский полуостров, север Сибири и другие территории, о которых я писала.

Кстати, название Кольский полуостров происходит от «коло» — колесо. В виде колеса в Гиперборее представлялось солнце (у белорусов от этого же корня — имя бога времени и годового круга *Коляды*). Уже упоминавшийся русский исследователь Гипербореи В. Н. Демин утверждал, что знает самоназвание Гипербореи (ведь мы пользуемся греческим топонимом): он выводил его из наименования сохранившихся осколков материка — Соловецких островов. «Соловецкие» — от «солнца», то есть Солнечные острова. И сама страна, видимо, именовалась так, как названа в сказках, — «Подсолнечным царством».

Именно в русском фольклоре (старинном духовном стихе) сохранилось едва ли не самое пронзительно-драматическое описание происшедшей катастрофы: «Постигла нас тьма несветимая, // Солнце угаси светлая, // Свет свой не яви // На лицы земли; // Прежде вечера в часы дневные // Наступила нощь зело темная;

// Луча измени естество свое, // Светлая луна во тьму преломися; // Звезды на небеси // Свет свой угаси, // Земля и вода свой плод сократи; // Паде с небес сап горящий, // Пшеницу сломи несозрелую... // Перемени море естество свое... // Наступи зима зело лютая, // Уби виноград всезеленый...»

«Просто поразительно, — восклицает В. Н. Демин, приведший эти строки, — как такие стихи — шедевр устного народного творчества (конечно, с поправками и переделками) — сохранились на протяжении тысячелетий практически до нынешних времен». Здесь все точно совпадает с описанием вселенских катастроф в других мифологиях, но с поправкой на «северный коэффициент».

Собственно, большинство индоевропейских народов сохранили в сказаниях, обрядах, легендах воспоминания о переселении с далекого севера и о жизни их предков, часто тысячелетнем, в приполярных странах. Как полагают исследователи, гиперборейцы переселялись со своей родины вдоль Уральского хребта: одна их часть (они позже придут в Иран) шла по азиатской стороне, другая — по европейской. Последние и есть индоарии, которые в конце концов заселят Индию, а также, частью своей повернув на запад, Северное Причерноморье, сделав, однако, продолжительную стоянку на юге Урала, где найдены их священные города, например, Аркаим. Но В. Ластовский, судя по всему, полагал, что из Гипербореи Рама вел предков белорусов другим путем — по прямой линии с Кольского полуострова, то есть значительно западнее Урала.

Экспедиции Валерия Демина лучше всего исследовали район именно Кольского полуострова. Меня он тоже чрезвычайно интересовал, поскольку почти всю войну там прослужил мой отец. Как зенитчик, он защищал единственный в СССР полярный незамерзающий порт Мурманск, куда приходили караваны судов союзников — англичан и американцев — с оружием и товарами по ленд-лизу. В наши школьные годы, чтобы показать Кольский полуостров на карте СССР, нужно было тянуться на цыпочках — так он был высоко. Иван Шамякин жестоко страдал в Заполярье от холода, от вида почти постоянно заснеженной земли, но все же был очарован суровой красотой северного края, который, конечно, часто потом вспоминал. В моем детстве он читал мне сказки Ханса Кристиана Андерсена или Сельмы Лагерлёф и говорил, что Кольский полуостров — и есть та самая удивительная страна Лапландия, описанная в книгах этих скандинавских авторов. Но, как оказалось, там же — и сказочная страна Гиперборея.

Можно полагать, что Кольский полуостров, являющийся частью древнейшего Балтийского щита, сохранил доледниковые формы рельефа, только сглаженные ледником. Фактор ледника нужно все время учитывать. Например, В. Демин утверждал, что его экспедиции в районе Сейдозера нашли древний мегалитический комплекс из геометрически правильных блоков, фундаменты с таинственными знаками, останки сооружения, предназначенного для астрономических наблюдений (15-метровый желоб с визирами), мощеную дорогу, стометровое изображение на скале духа озера Куйвы и другие удивительные артефакты, которые он подробно в своих книгах описывает.

Для проверки сенсационных открытий В. Демина один из российских центральных телеканалов отправил свою экспедицию. Естественно, циничные журналисты все находки их предшественников высмеяли, объявили природными образованиями, имеющими оригинальные формы из-за движения ледника.

Мне абсолютно ясно, что упомянутая журналистская экспедиция, как и хорошо организованные скандальные противороссийские акции Гринписа, щедро оплачены конкурентами России, которые для достижения своих захватнических целей никаких денег не жалеют. Причем для меня, что российские живоглоты-олигархи, что западные, штатовские или канадские, — совершенно одинаково. Все они заинтересованы только в прибылях, все хищнически и не задумываясь о последствиях, выкачивают природные богатства из жалобно стонущей земли. Понятно, никакие законы для них не писаны, а продажные журналисты всегда охотно докажут что угодно.

Да и с мифом о Гиперборее мне расставаться не хочется. Потому к изысканиям В. Демина я отнеслась сочувственно. Тем более, что он для доказательства существования Гипербореи как прародины белой расы использовал многочисленные лингвистические сведения, факты из мифологии — античной и славянской, археологические находки, данные палеоклиматологии, этнографии и многих других наук. Пожалуй, больше, а главное, увлеченнее, о Гиперборее никто не написал. А мне его книги («Тайны Русского Севера», «Тайны Урала и Сибири», «Тайны Земли Русской», «В поисках колыбели цивилизации», «Тернистыми путями титанов») легли на душу потому, что всем своим романтическим детством и юностью я была подготовлена к их восприятию.

Скажем, я верю, что на Кольском полуострове, в Лапландии, в самом деле, сохранились необычные формы рельефа и что они оказывают какое-то удивительное действие на местных жителей и путешественников. Я в своей атеистической молодости, когда много ездила, никогда не брала в расчет святость той или иной территории, пока не попала на остров Валаам. Он несколько южнее, чем Лапландия, но фактически в той же природной зоне. На дивном острове созерцание мощи природных форм дарит, на удивление, поразительное ощущение мира и гармонии в душе. Тут паломников не покидают духовный подъем и постоянное ощущение полноты жизни, ее красоты в каждом, даже малом проявлении; чувство той *радости, которая вообще-то должна быть нормальным состоянием человека*. С острова не хотелось уезжать, возвращаться от блаженства в бесплодную суету современных городов. И даже узнав, что Валаам сложен из выходящих на поверхность гранитов со слабой радиоактивностью и, видимо, некоторыми другими излучениями, я все равно сейчас убеждена, что намоленность места, где со времен средневековья жили монахи, имеет решающее значение. Район Сейдозера тоже считался священным у местных жителей. Их преклонение, восхищение и искренняя вера, их общее психополе как бы формирует его удивительную ауру.

Кроме того, к сведению невежественных, но самоуверенных журналистов, данной территорией интересовались не только современные энтузиасты.

Еще в 1765 г. царица Екатерина Великая, заручившись подробными инструкциями Михаила Васильевича Ломоносова, отправила на далекий север экспедицию адмирала Василия Яковлевича Чичагова. Экспедиция была абсолютно секретной — официально якобы для изучения рыбных промыслов. И только из опубликованных недавно мемуаров сына Чичагова — Павла Васильевича, тоже адмирала и морского министра России, стало известно, что императрица посылала доверенного моряка на поиски именно Гипербореи. О ней она узнала от масонов, с которыми в начале своего царствования еще дружила, а те, естественно, старались втереться к ней в доверие. Уже через десять лет они развернут против нее, самостоятельной мудрой государыни, крупные международные спецоперации: одновременное явление в Европе княжны Таракановой, якобы дочери императрицы Елизаветы Петровны, а в юго-восточных пределах России — Емельяна Пугачева, будто бы выжившего императора Петра III, а стало быть, супруга Екатерины. Однако поначалу, когда можно было использовать умную, но всего лишь слабую женщину, масоны выдали ей самую строго оберегаемую тайну — о Гиперборее. М. В. Ломоносов при личной встрече с царицей подтвердил их информацию. Но он знал о древнем материке не только из масонских документов (впрочем, с масонами как раз не дружил), но и от своих сородичей — поморов, которые плавали на северные острова, в частности, на Новую Землю, и видели там удивительные сооружения. Их предания о дивных храмах чудесно воплотил в живописи наш современник Всеволод Иванов.

Именно М. В. Ломоносов рассчитал маршрут на полюс экспедиции В. Я. Чичагова, который адмирал узнал из секретного конверта, уже находясь в море. Великий русский ученый надеялся на открытие не только Гипербореи, но и выхода из Северного Ледовитого океана через Северный полюс в Тихий океан. Однако

экспедиция не пробилась через мощные льды далее Шпицбергена и вынуждена была повернуть назад, в Архангельск. На следующий год упорная императрица отправила ее вторично. И снова неудача. Ледовая ситуация кардинально изменилась по сравнению с тем временем, когда составлялись документы, доставшиеся от тамплиеров масонам. Всего предусмотреть было невозможно.

Писателей, романтически настроенных ученых, вообще всех так называемых *посвященных* Гиперборея продолжала волновать и в следующем веке. Так один из героев романа «Франкенштейн» ставшей особо популярной как раз в наше время Мэри Шелли, намеревался проникнуть в Гиперборею именно из пределов России. Находясь в Санкт-Петербурге, он мечтал: «Ветер, доносящийся из краев, куда я стремлюсь, уже дает мне предвкушать их ледяной простор. Под этим ветром из обетованной земли мечты мои становятся живее и пламеннее. Тщетно стараюсь я убедить себя, что полюс — это обитель холода и смерти; он предстает моему воображению как царство красоты и радости. Там <...> кончается власть мороза и снега, и по волнам спокойного моря можно достичь страны, превосходящей красотой и чудесами все страны, доныне открытые человеком».

Однако серьезные исследователи в XIX веке, оставив полюс в покое, сосредоточились на изучении земель, также относимых, согласно древним картам, к Гиперборее. В частности, непосредственно на ту территорию, которая интересовала в конце XX века Валерия Демина, во второй половине XIX в. отправились финские ученые, снаряженные Российской академией наук — Финляндия в то время принадлежала России, правда, обладая, как и Польша, необычайно широкой автономией. Потому об изысканиях финнов вообще ничего не известно.

В 1870-е годы там же оказался Василий Иванович Немирович-Данченко, популярный тогда беллетрист, родной брат великого театрального режиссера, сподвижника К. С. Станиславского. Василий Иванович — необычайно плодовитый автор, до Великой Октябрьской революции издано 80 томов его произведений, причем многие из них — путевые очерки. Он путешествовал по совершенно неизученным землям России. Не исключаю, что по заданию масонов. Он стал членом тайной организации еще будучи кадетом Александровского корпуса. На Кольском полуострове Василий Иванович особенно интересовался сказаниями о древней эпохе и исчезнувших народах, когда-то заселявших Север.

То же самое уже в советское время волновало и Александра Барченко. Благодаря многочисленным публикациям А. Барченко сегодня стал такой же культовой фигурой, как и прославленный Николай Рерих. Оба — крупные масоны, оба — исследователи непознанного в 1920—1930-х годах.

Александр Васильевич Барченко увлекался оккультизмом и астрологией еще в ранней юности. Правда, в то время граница между наукой и эзотерикой была довольно зыбкой, потому молодой человек поступил на медицинский факультет. В Юрьевском университете один из профессоров рассказал ему о встречах в Париже с известнейшим мистиком того времени Сент-Ивом де Альвейдром, верящим в Атлантиду и Гиперборею, и ввел в масонский круг. Тогда, как, впрочем, и значительно позже, профессоры университетов почти поголовно состояли в разных подобного рода организациях. Барченко занялся изучением паранормальных способностей человека — телепатии, гипноза, медитации, и с этой целью посещал даже Индию, страну чудес. Поскольку человеком он был явно не без способностей, то успешно гадал по руке, ездил по России с чтением лекций и, как и В. И. Немирович-Данченко, занимался беллетристикой.

После Великой Октябрьской революции Барченко продолжал посещать в Петербурге разные эзотерические кружки, которых, ясное дело, в переломную эпоху оказалось множество. Однако в постоянных спорах о политике Александр Васильевич неизменно был на стороне большевиков, потому приглашался ими даже читать лекции морякам Балтфлота. Он очень увлекательно рассказывал простым матросикам о коммунизме, который существовал на всей Земле 144 000 лет назад. А 9000 лет назад коммунизм будто бы попытался восстановить в пределах

Евразии великий Рама, создав федерацию сроком на 3 600 лет. То есть в его рассказах, как и у Ластовского, Рама — главный герой.

Личностью А. Барченко заинтересовались чекисты, причем самые-самые архиреволюционеры и матерые разведчики, типа Якова Блюмкина, убийцы немецкого посла Мирбаха. К удивлению оккультиста, чекисты напросились на его лекции и аккуратно их посещали. А в 1920 г. директор Института мозга выдающийся медик-психиатр Владимир Михайлович Бехтеров отправил экспедицию во главе с А. Барченко в Лапландию для изучения таинственного, распространенного в тех местах, психического явления мерячения, типа кликушества или пляски Святого Витта, то есть болезни, совершенно не поддающейся научному объяснению. Барченко работал в районе как раз Сейдозера, куда местные саамы очень просили его не ходить, так как местность для них священная, закрытая. Но исследователя это нисколько не остановило. Вернувшись через два года в Петроград, так и не определив причину болезни, А. Барченко объявил, что обнаружил таинственную Гиперборею, в частности, фигуру Куйвы, молочного цвета колонны, склеп (около лаза в него он сфотографировался) и пирамиду. Его находки наделали много шума. И в то же самое время появилась повесть Вацлава Ластовского «Лабиринты», которая буквально о том же.

Однако закончу о А. Барченко. Сам начальник Спецотдела ОГПУ Глеб Бокий, очень интересовавшийся мистикой, хотел Александра Васильевича отправить на Тибет искать таинственную Шамбалу — еще одну скрытую от непосвященных землю, не дающую покоя масонам, как, впрочем, и нацистам, и, как оказалось, чекистам. Однако инициативу перехватил более авторитетный Николай Рерих, тоже агент ОГПУ и еще, видимо, ряда подобных организаций других стран. А Барченко поехал в Крым обследовать таинственные пещерные города. В 1937 году он был репрессирован и через год расстрелян за создание контрреволюционной масонской террористической организации. Та же судьба постигла нашего В. Ластовского. Прошлое у обоих оказалось слишком одиозным для строящей социализм страны.

Однако страна эта усиленно осваивала Арктику. В 1932 году известный ученый Отто Юльевич Шмидт на ледокольном пароходе «Сибиряков» прошел по Северному морскому пути без зимовки. Таким образом, в 1930-е годы советскими людьми был освоен Северный морской путь. Вдоль него на материке стали расти города, возникать шахты, строиться порты. В мае 1937 года на самолетах на лед в районе полюса была доставлена дрейфующая станция «Северный полюс», собравшая чрезвычайно ценные материалы о природе Центральной Арктики. Четверо полярников, во главе с И. Д. Папаниным, провели на льду, дрейфуя к югу, девять месяцев. Тогда же на судне «Седов» работала вторая полярная станция. Корабль «Седов» провел в дрейфе 812 дней, пройдя 3500 км. И все эти героические деяния происходили одновременно с репрессиями и муками многих людей. Такая была эпоха...

В нашей молодости, в 1960—1970-е годы, в Арктике жили и работали уже миллионы специалистов. Очень многие ехали туда на заработки, а, вернувшись, покупали квартиры и машины. Многие оставались там навсегда, несмотря на суровый климат. В постсоветское время, конечно, массово оттуда побежали. А в советское первый в мире атомный ледокол «Ленин» показывали по телевизору чаще, чем сегодня какого-нибудь скандального Филиппа Киркорова (вот приоритеты разных общественных укладов!). Когда в 1977 году второй атомный советский ледокол «Арктика» впервые достиг в активном плавании Северного полюса, уже никто не удивился — рядовое событие.

Но раньше, в детстве и юности, романтика Севера манила. Нынешним подросткам даже трудно представить, как наше поколение любило роман Вениамина Каверина «Два капитана». «Бороться и искать, найти и не сдаваться» — девиз главного героя летчика Сани Григорьева — стал и нашим жизненным кредо. Так, во всяком случае, нам тогда казалось. Ведь хотелось быть похожими на Саню,

хотелось искать (в природе так много тайн), находить и не сдаваться в жизненной борьбе, чего бы ни стоило. Причем обращает на себя внимание вторая часть формулы: найти и защитить найденное, обосновывать его. Я и в зрелые годы не раз перечитывала роман с большим удовольствием. Удивительно удачно соединил автор две эпохи, два периода в открытии и освоении Арктики. В романе это хорошо прослеживается, гораздо лучше, чем в снятом в 1950-е годы, но также чрезвычайно популярном, кинофильме.

Роман утверждал мысль о том, что разные социальные потрясения и изменение общественного строя не отменяют в человеке дерзания духа, научный поиск, более того, в благоприятных условиях они получают новый импульс. Прототипами капитана Татаринова, первого из капитанов в романе (второй — летчик в звании капитана Григорьев), могли стать, как я полагаю, три исследователя Арктики еще дореволюционной России: Георгий Седов, Георгий Брусилов и Владимир Русанов. Все трое пропали без вести в 1914 году — никто не знает, что с ними, с их шхунами, их экспедициями произошло. В тот год случилась необычайно суровая зима — морозы доходили до минус 50 градусов. Когда я читала роман, то думала: сколько драм, погубленной молодости, здоровья и часто жизней положено на исследования бесплодной земли в начале XX века. С невероятными трудностями дошли до Северного полюса, прошли Северным Морским путем. Но уже через два десятка лет — благодаря достижениям техники — туда можно было летать на самолетах. Все стало проще, легче. Так неужели все муки, утраты напрасны? И могут ли считаться напрасными в истории человечества такие прорывы, свершения, такой героизм и такие страдания? Кроме того, морской путь и воздушный — совершенно разные вещи, играющие разную роль в народном хозяйстве.

Всю жизнь я очень любила и творчество Константина Паустовского. Уроженец юга, проведший детство и юность в пленительном дореволюционном Киеве, он в зрелые годы оценил природу средней территории России, а в 1930-е годы открыл для себя и север. Константин Георгиевич побывал в Карелии, Мурманске, Петрозаводске, на Ладожском и Онежском озерах — во многих местах, где во время войны служил мой отец. Паустовский создал целый ряд произведений северной тематики: «Судьба Шарля Лонсевиля», «Озерный фронт», «Северная повесть». А в 1980 году в одном из альманахов я прочитала совсем до того неизвестную его повесть, не вошедшую в собрания сочинений, — «Теория капитана Гернета», написанную в 1932 году. Ее герои, люди разных профессий, горячо интересуются гляциологией и задумываются над тем, как уничтожить льды на планете, вернуть миоценовый климат, чтобы в Ленинграде, их родном городе, вызревали апельсины. Повесть очень поэтична, что вообще характерно для Паустовского. Только он с его тонким чутьем к деталям и удивительно богатым языком мог написать, что льды пахнут «кильками в гвоздике или фиалками с перцем». Правда, его повествование насыщено и научными сведениями. Ведь чтобы уничтожить ледники, нужно знать, как они образовываются. Поэтому герои выдвигают разные версии, но ни одна не удовлетворяет всех. И вдруг они узнают, что морской агент СССР в Японии, капитан дальнего плавания Гернет издал книгу «Ледяные лишаи», где чрезвычайно убедительно обосновал свою версию обледенения Земли.

Евгений Сергеевич Гернет — лицо историческое. Он родился в 1882 году в Кронштадте в дворянской семье, участвовал в русско-японской войне: служил на миноносце Порт-Артурской эскадры и на парусной джонке умудрился прорвать блокаду японцев, чтобы доставить донесение контр-адмиралу. В 1908 году принимал участие в работах русского флота на острове Сицилия во время извержения вулкана Этна. После революции 1917 года сознательно перешел на сторону советской власти, командовал Азовской флотилией. Личность с легендарной, именно для того времени характерной биографией. А главное, думающий, ищущий человек, что и заинтересовало Паустовского. По мнению Гернета,

сами ледники, однажды появившись в результате поднятия гор и материков, вызвали охлаждение климата, способствовали собственному распространению. Значительно позже, в 1955 году, по существу то же самое повторит американец В. Стокс, без указания приоритета Е. Гернета, что вообще характерно для западных ученых — совершенно игнорировать достижения славян. Узнал ли об этом Константин Георгиевич, неизвестно. Но нужно отдать должное его писательской прозорливости в начале 1930-х годов: он не только вдохновился идеей капитана Е. С. Гернета изменить климат планеты, но и поверил в научную обоснованность исходных положений его теории.

Характерно, что на филфаке БГУ творчество К. Паустовского, автора чрезвычайно популярного, в свое время номинированного на Нобелевскую премию, монографически не изучают, как и М. Пришвина, который тоже в загоне. Лет двадцать пять назад кто-то высказался негативно, наложил негласное табу, так и пошло. Хотя «проходят» наши студенты авторов куда менее значительных, буквально третьестепенных, ничтожных. Это странно: Паустовский всегда был любимцем либералов, неизменно определявших дискурс при любом строе в последние два века. Он действительно совершенно не просоветский писатель; «имени Сталина ни разу в своих произведениях не упомянул», как с пафосом возгласил недавно ведущий белорусской телепередачи «Вокруг планеты» (однако показатель!). Но я догадываюсь, чем мастер, давно умерший, в постсоветское время не угодил: Паустовский показывал мечтателей той — советской — эпохи. Мечтателей, которых могла породить именно только *та эпоха*. Конечно, на его книгах потребителей не воспитаешь. Между тем именно эта цель просматривается как главная в нынешнем образовании, какими бы высокими словами ее не прикрывать...

Мы в своих университетских сферах все больше постмодернистами интересуемся, изучаем и прославляем, в местечковом от них упоении. Однажды у нас на факультете выступал модный поэт из Москвы, который снимал штаны перед студенческой аудиторией, в основном девичьей. Вот это действительно круто, современно — замшелый романтик Паустовский и философ Пришвин в наше время не котируются! А если серьезно, то Беларусь словно сошла с ума, страстно доказывая, что в искусстве она очень модная и прогрессивная, не какая-нибудь провинциалка, отсталая деревенщина. Что ни выставка в наши дни, которая *особенно усиленно рекламируется*, то — авангард. Помню, еще в советские годы к нам приезжали две женщины-профессоры из тогдашней Югославии. Я их водила по минским музеям. Их невозможно было оттуда вытянуть. Они буквально плакали (очень оказались эмоциональными), видя наши шедевры, восхищались беспрестанно, поминутно. Говорили, что у них в музеях — только абстрактные произведения, которые всем давно надоели и на них не смотрят, молодежь классических произведений совсем не знает, а потому не любит. Югославия в этом отношении была тогда самая «прогрессивная» из всех стран социалистического лагеря. Но где сейчас та Югославия...

В притчах и сказках, которые я изучаю, можно найти ответы на все случаи жизни. Вот гениальная сказка «Свинопас» тоже очень любимого мною Х. К. Андерсена: высокомерная принцесса отвергла настоящие ценности — живую розу, живого соловья, истинную любовь, но восхищается убогими подделками, за что и наказана. Почему советские люди оказались так падки на красивые обертки, внешнюю броскость?

Постоянно доказывать свою модность и прогрессивность — это и есть провинциализм, а, в сущности — пошлость. Вообще для идеологов постсоветских стран характерна удивительная *неспособность* видеть возможные последствия тех или иных явлений, просчитывать их. А ведь многое лежит буквально на поверхности, если знать историю и владеть хотя бы немного логическим аппаратом. Есть следствия, которые с неизбежностью вытекают из определенных причин.

Однако от Паустовского мы далеко зашли. Мне вспоминается еще один писатель, связанный с Севером. Широкой публике Виктор Конецкий известен, пожалуй, как сценарист культовой кинокомедии «Полосатый рейс». А я собрала все его произведения, которые люблю перечитывать. Он — моряк, капитан дальнего плавания, плавал по всем океанам, но в основном водил суда по Северному Морскому пути в 1970—1980-х годах. Писал совсем в иной манере, чем К. Паустовский, — в иронично-философской. В то же время, безусловно, лирик. Но лирик из другой эпохи — мелкой, циничной, когда героизм и коллективизм, вообще органичные и необходимые в экстремальных условиях, а они постоянны на море, совмещаются с неблаговидными поступками, характерными для обычных мещан, скажем, провозом контрабанды из заморских стран, каких-нибудь мохеровых ниток. Писатель отразил деградирующее состояние советского общества: люди потеряли конечную цель, потому живут дурно, бестолково, мелочно суетятся, бросаются в крайности. А то живое и настоящее — широта мысли, душевный размах, что освещало жизнь героев К. Паустовского, — ушло безвозвратно...

Жизнь в подземельях по В. Ластовскому. Повесть «Лабиринты» в контексте мировой традиции

С гиперборейской теорией, этим красивым и притягательным для всех евразийских народов мифом, — тесно соседствует гипотеза о подземных жителях. Действительно, спасаясь от холода, часть родов, что вышли из Гипербореи, если принять за реальность существование такой земли, могла приучиться жить в пещерах или в искусственно созданных подземельях. Тот же Валерий Демин на Севере, на Урале и в Сибири собрал многочисленные легенды о подземных народах, хотя бы о чуди (от «чудо») белоглазой. Русские поморы, которые издревле охотились на тюленей на Новой Земле, рисовали в своих преданиях самые невероятные картины тамошних ледяных городов, пещерных храмов и дворцов. У саамов есть миф о древнем народе, который раньше жил на Севере, а потом погрузился вместе со своей землей на дно океана и там продолжает существовать. Примеры можно продолжать бесконечно. Им в основном и посвятил свои книги В. Демин.

В. Ластовского тоже волновали подземные жители, собственно, действие его повести происходит преимущественно под землей. Он приводит белорусское поверье о погибших городах, например, о Богоцке вблизи Полоцка. «Другі такі горад, — пишет он, — што каля Гомеля, апісаў расейскі пісьменнік пад найменнем Кіцежа». Безусловно, у нас не Китеж, нам не нужно чужое, если своего хватает: буквально в каждом регионе Беларуси широко распространены легенды об утонувших церквях и городах. Иногда предания о них становились основой для выдающихся литературных произведений Адама Мицкевича, Яна Чечота.

Опираясь на народные предания, В. Ластовский, однако, идет дальше, расцвечивая собственной богатой фантазией необычную жизнь в этих гипотетических подземных жилищах: «Гляньце на гэту салю, — сказаў Іван Іванавіч, — вы тут не ўбачыце нідзе ніякіх прылад для асвятлення, а ў салі светла і цёпла. Гэта таму, што сцены гэтай салі пакрыты элементам, падобным да радыю, з якога пабудавана сонца. Пад гэтым святлом і расліны і людзі могуць жыць без ушчэрбку для свайго здароўя. Гэты элемент тут ужыты як маса да тынкавання сцен, акрамя святла і цяпла мае яшчэ і другія дзействы: хто знаходзіцца заўсёды пад уплывам яго святла, не падлягае старасці, якая паходзіць ад звапнення крываточных начынанняў у людскім арганізме. Пад уплывам гэтага святла вапна не можа ў арганізме зацвердзяваць, а як вынік гэтага — не падлягае смерці. Мы з вамі цяпер знаходзімся на глыбіні каля тысячы метраў ад паверхні зямлі,

і аднак жа вы аддыхаеце лёгкім паветрам, гэта таму, што элемент гэты, які завецца гетынам, мае ўласнасць паглынаючую лішкі кіслых газаў. Вось жа старыя вучоныя, сышоўшы з поля дзікага змагання на зямлі, жывуць тут, працуючы над навукай і ўмеласцямі ў сваіх абшырных і добра абстаўленых бібліятэках і лабараторыях. Працуюць, чакаючы часу, калі ім прыйдзецца ізноў выйсці да свайго народа. Адным з важнейшых адкрыццяў, якія імі тут зроблены, ёсць крывін, пры помачы якога кожную рэч можна разлажыць на першапачатковыя высхады і з першапачатковых высхадаў злажыць любую рэч. Прыкладам: з высхадаў паветра і вады можна вытварыць камень, золата, хлеб, тлушч і, наадварот, кожную рэч можна перамяніць у другую <...> Гэтае вялікай вагі адкрыццё, зробленае нашымі старцамі, развяжа на зямлі сацыяльнае пытанне... Пытанне пракорму людзей».

Приведенная героем повести Иваном Ивановичем удивительная информация кажется абсолютно невозможной, но для того времени! Сегодня видно, что В. Ластовский (в 1923 году!) предвидел нанотехнологии, которые позволяют, по утверждению современных ученых, создавать любую вещь с нужной структурой и с новыми качествами при помощи манипуляций атомами и молекулами. Это примерно то же, что делал недавно, на рубеже второго и третьего тысячелетий, Сатьи Саи Баба, которого в Индии почитают святым, — он из воздуха создавал золотые вещи (впрочем, думаю, что это был гипноз или умелые трюки).

На сегодняшний день перед мировой наукой стоит задача создания так называемого *репликатора*, или молекулярного синтезатора, — «сборщика атомов». Репликатор разъединяет и склеивает атомы, причем для создания самых разных вещей может использовать практически любое сырье — песок, воду, мусор. В. Ластовский *описывает именно репликатор*! А ведь многие ученые уже мечтают о таком устройстве, которое будет представлять собой фактически личную для каждого человека, как мобильный телефон, универсальную фабрику. Сначала репликатор, видимо, окажется величиной с дом, потом с комнату, потом с чемоданчик, а потом и вообще поместится в кармане... И тогда человек в сущности поднимется до уровня Бога...

Но если не нужно будет заботиться о пище, одежде, жилище, то на первый план неизбежно выйдет культура...

В то же время описание чудного света в подземных залах и пищевого изобилия у Ластовского — совсем в духе многочисленных славянских народных сказок. Да фактически сказок всех народов мира. И не только сказок. Буддистские ламы утверждали, что в подземной стране Агарте, достигшей невероятных вершин знания, существует особое свечение, позволяющее выращивать овощи и злаки. Эти сведения, почерпнутые из китайских источников, были обнародованы в 1922 году. Ясно, что на них опирался В. Ластовский.

Широко известен также тот факт, что начиная с 1920-х годов знаменитый русский художник и философ-мистик Николай Константинович Рерих осуществил в Гималаях несколько экспедиций, одной из неофициальных задач которых был поиск таинственной страны Шамбалы. И хотя в буддизме Шамбала — скорее символ особого состояния человеческой души, простые люди, да даже и интеллектуалы, тот же Рерих, верили в ее реальное существование. Шамбала — это страна на поверхности Земли, но скрытая от непосвященных. А Агарта, еще более скрытая, находится под землей. Попасть туда совсем непросто. О них же писал и один из крупнейших философов-традиционалистов XX в. Рене Генон. Описания волшебных стран у этих романтиков-мечтателей странным образом совпадают с описанием подземного жилья у В. Ластовского. От его «Лабиринтов» идет в нашей приключенческой литературе интересная традиция показа многочисленных таинственных подземелий и ходов — вспомним хотя бы произведения Владимира Короткевича, лучшего из последователей В. Ластовского.

Но и до Ластовского в литературе существовала мощная традиция изображения подземной жизни.

Обратим внимание, прежде всего, на название повести. Оно напоминает о подземных тоннелях, ходах и необычных сооружениях. В античном мире было известно пять лабиринтов — один в Египте, видимо, самый древний, два на Крите, по одному в Греции (Пелопонессе) и в Этрурии. Конечно же, они были предназначены для инициаций, для мистерий типа Элевсинских, связанных с представлениями о путешествии души в загробном мире. И хотя уже в классическую эпоху Лабиринт на Крите считался мифом, но традиция создания лабиринтов оказалась необычайно действенной. Чудовище с головой быка Минотавр, живший в критском Лабиринте, считался у мыслителей Античности символом животной природы человека. Победа над ним эллинского героя Тесея — победа духа над материей.

В период Средневековья лабиринты выкладывали мозаикой на полах христианских храмов. В эпоху Барокко их создавали в садах, высаживая по определенному плану (если можно так сказать о лабиринте) вечнозеленый кустарник. На Соловецких островах, на берегу Белого моря и в Скандинавии существует несколько десятков лабиринтов — выложенных из камней закрученных спиралью, предназначение которых до нашего времени неизвестно. Лабиринт — одно из важнейших понятий оккультизма, что доказывает глубокое знакомство с последним Вацлава Ластовского. Да и иные перипетии сюжета повести свидетельствуют о знании писателем соответствующей литературы и обрядности.

Предназначение лабиринта, согласно одного из самых известных историков религии XX ст. Мирче Элиадэ, — хранить Центр. Встает вопрос: Центр чего? Всего. Самого важного. Может, ту же Шамбалу, которую лабиринт графически-символично и изображает. Теоретик символизма Х. Э. Керлот считает, что лабиринт символизирует собственно мозг с его извилинами. Видимо, все же первоначально лабиринт означал потусторонний мир, зазеркалье. Заметим, что в повести В. Ластовского Иван Иванович умирает в лабиринтах, а потом вдруг оживает и показывает герою-повествователю подземные чудеса. А может, все увиденное — сон героя, и во сне уже мертвый Иван Иванович, его душа, водит героя по лабиринтам? Только в лабиринтах такое и возможно, потому что — потусторонний мир. Тем более, что Иван Иванович в конце повести, уже в реальности, как-то таинственно действительно умирает. Значит, герой проходил инициацию, потому что в лабиринте невозможно без нитки Ариадны или такого вот проводника, как Иван Иванович (душа знаменитого Вергилия сопровождала поэта Данте по аду). Ясно, что в повести, кроме оккультного и других планов — эстетического, исторического, есть глубоко и потаенный — интимный. Какую инициацию, когда, где проходил Ластовский?

В то же время повесть «Лабиринты» лежит в русле мировой литературной традиции. Очень любили изображать разные подземелья представители так называемой «готической прозы». Возьмем классику жанра — «Замок Отранто» английского писателя Горация Уолпола. Повесть буквально насыщена кошмарными сценами. Вот молодая героиня оказывается в подземелье мрачного строения: «Подвальная часть замка состояла из множества низких сводчатых коридоров, настолько запутанных [настоящий лабиринт. — **Т. Ш.**], что до крайности взволнованной Изабелле нелегко было найти дверь в тот погреб, откуда начинался ход. Пугающее безмолвие царило во всех этих подземных помещениях, и лишь иногда порывы ветра сотрясали раскрытые ею двери, заставляя их скрипеть на ржавых петлях...»

Правда, собственно готическая проза стала нашему поколению доступна достаточно поздно — где-то в конце 1980-х гг. Но Эдгара По, скажем, и в советское время издавали активно. А его творчество, конечно, очень близко к готической традиции. Рассказы Э. По притягательно жуткие. Действие в них очень часто связано с подземельями, подвалами, развалинами («Падение дома Ашеров», «Заживо погребенные», «Колодец и маятник»). Писателя тянуло именно к тому аспекту подземья, который связан с замогильным светом. Он сам был чело-

веком нездоровой впечатлительности, зыбкого духовного склада, и таковы же его герои — болезненно сосредоточенные на себе, на своих внутренних переживаниях, полные отвращения к реальной действительности. Как яркий представитель американского романтизма, Э. По был одним из первых писателей XIX века, кто интересовался пограничными состояниями человеческой психики. Не потому ли в советское время его так интенсивно издавали, что он несколько «заворачивал мозги» тогдашних читателей? Готовилась будущая информационная война?

Вообще же наше поколение увлекалось всеми романтиками (Пошло ли это нам на пользу?). Одно из самых незабываемых описаний в романтической прозе — подземелье под чешским имением графов Рудольштадт в романе Жорж Санд «Консуэло», чрезвычайно популярном в годы нашей молодости. Тогда многим моим друзьям и особенно подругам хотелось прочитать продолжение романа — «Графиню Рудольштадт». Широко он не издавался. Только мне удалось достать какое-то казахское или узбекское издание на русском языке. В этом якобы любовном романе также многие сцены происходят в мрачных и часто жутких подземельях. Стало, кстати, понятно, почему роман не печатался в советских центральных издательствах, где сидели все-таки достаточно компетентные люди. В произведении подробно показан обряд посвящения адептов в какой-то мистический орден, видимо, розенкрейцеров. А впрочем, таких было множество в XVIII—XIX, как и в последующих веках.

Широкой популярностью пользовался в наше время и еще один яркий романтик — Вальтер Скотт. Действие в его произведениях, особенно шотландского цикла, также часто происходят в таинственных замках и, естественно, подземельях.

Все, что под землей, связано с таинственностью и всем в мире непознанным.

Я задумываюсь, почему так притягательны для читателей описания подземных лабиринтов? Видимо, это потребность области подсознания нашего мозга. Он и сам по себе похож на лабиринт, а потому для его подпитки, причем подпитки именно подсознательной сферы, требуются соответствующие описания. Иногда нам снятся блуждания по бесконечным ходам, коридорам, комнатам, по существу — по лабиринту. В таких снах мозг как бы демонстрирует собственную работу — движение нейронов, которое сознанию, критическим структурам мозга кажется хаотичным.

Есть и иная потребность — в выбросе адреналина. Потому подземелья описывали не только романтики, интересующиеся тайнами психики и мистикой, но и все авторы приключенческих романов. Углубил, в духе времени, эту традицию непревзойденный Жюль Верн. В его романе «Путешествие к центру Земли» ученые отправляются для научного исследования в недра планеты, и все приведенные здесь описания — не столько для нагнетания ужасов, сколько для знакомства со все новой информацией, иллюстрирующей разные этапы в развитии Земли. Правда, тогда науке многое не было известно. Так, герои Жюля Верна спускаются в недра по жерлу вулкана. Однако это совершенно невозможно — жерла вулканов забиты окаменевшей магмой, как пробками.

Тем не менее роман Жюля Верна вдохновил многих поэтически настроенных молодых людей. Например, академика, известнейшего российского, а затем советского ученого Владимира Обручева, который сначала стал знаменитым путешественником-исследователем, а затем решил написать о том же, о чем писал Жюль Верн, но только грамотно с точки зрения геологии. Владимир Афанаьевич Обручев — современник В. Ластовского — один из крупнейших в Европе геологов. Во многом под влиянием его произведений «Плутония» и «Земля Санникова» мой брат и мой муж тоже стали геологами. В «Плутонии» ученые, обнаружив на далеком севере некое отверстие в земле, спускаются все ниже, и по мере спуска встречают все более древние формы растительности и давно вымерших животных — мамонтов, саблезубых тигров, ящеров. Путешествие отважных исследователей — это как бы последовательная экскурсия в прошлое нашей планеты.

Еще один современник В. Ластовского — английский классик фантастического жанра Герберт Уэллс — создал одну из гениальных антиутопий, а впрочем, ту реальность, к которой мы сегодня явно приближаемся. Люди будущего в романе Уэллса «Машина времени» оказываются разделенными на две части — элоев и марлоков. Утонченные, выхоленные элои живут на поверхности Земли, наслаждаются красотой природы и всяческими искусствами. Но их существование лишено смысла. Антиподы аристократичных элоев — морлоки — тяжело трудятся под землей и давно потеряли человеческий облик. По ночам морлоки выбираются на поверхность, отлавливают изящных элоев и пьют их кровь. В этом мире будущего нет ни безработицы, ни социальных проблем, но человечество деградировало окончательно, разум умер...

Как всякий шедевр, роман Г. Уэллса становится все более актуальным со временем. Мы в своем воображении уже можем выстроить предысторию его сюжета — с чего начиналось в антагонистическом обществе. С грабительской приватизации, когда кучкой негодяев, объявивших себя элитой, оказалось присвоено все богатство, принадлежащее народу; с прекращения работы социальных лифтов; с социального апартеида и зомбирования населения средствами массовой информации, чтобы утвердить в сознании людей законность проведенных махинаций; с элементарного выдавливания людей с их земли (пока еще не под землю, но это пока), как происходит в Донецке и Луганске: их родина понадобилась хищникам для добычи сланцевого газа...

Для крупных *писателей-реалистов* подземное пространство всегда оказывалось связано не с тайными обществами и не с семейными загадками, а с социальным угнетением и беспросветностью жизни. С детства запомнилась пронзительная повесть «Дети подземелья» Владимира Короленко, которая заставляла нас не замирать от сладкого ужаса, как при чтении романтиков, а плакать и страдать, осуждая несправедливости жизни. О том же думалось, когда читали историко-философский роман Марка Твена «Принц и нищий».

Под землей можно жить и даже довольно долго, как жили монахи в пещерах Киево-Печерской лавры или подпольщики во время Великой Отечественной войны в каменоломнях Одессы и Керчи. Но такая жизнь ужасна. Я сама в молодости была в каменоломнях Аджимушкая в Крыму и навсегда осталась под впечатлением их хтонической страшной силы. А для патриотов Крыма, защищавших его от фашистов, подземелье и вовсе оказалось адом.

Недавно российская пресса широко писала о необычных тоннелях на реке Медведице, притоке Дона. Известные еще с глубокой древности, они были взорваны советскими саперами в 1942 году. Люди, в детстве ходившие по ним или помнившие рассказы земляков, свидетельствуют, что тоннели — явно искусственно созданные и очень необычные. Проблема тысячекилометровых ходов обсуждалась на Зигелевских научных чтениях в 1996 году, где прозвучало немало версий происхождения медведицких тоннелей. Найдены такие обширные подземелья и в Сахаре, и в Южной Америке, да практически по всей земле.

В принципе эта тема неисчерпаемая — как в художественной литературе, так и в науке, экономике (прокладка шахт, метро, тоннелей под проливами, в горах и т. д.). Под каждым большим городом находится другой город — подземный, с которым всегда связана соответствующая мифология (типа поиска «Либерии» — библиотеки Ивана Грозного под Кремлем). Я помню, в начале и середине 50-х годов, когда Минск еще отстраивался после войны, мои родители и соседи говорили о каких-то найденных или, наоборот, засыпанных подземных ходах в центре города. Да любой белорусский город или замок не обходятся без таинственных подземелий.

Нельзя не сказать еще об одном, современном Ластовскому явлении. Собственно, я об этом вспоминала в своих очерках неоднократно. В начале XX века в Германии был создан таинственный орден Туле (так, полагали немцы, называ-

лась столица Гипербореи и вся эта страна). Адепты ордена верили, что она не исчезла полностью, а погрузилась под землю, однако не из-за катастрофы, как я утверждаю, а по доброй воле ее жителей, решивших избегать проблем несовершенного мира. Таким образом, магический центр арийской цивилизации сохранился где-то глубоко под землей. В близкую помощь Германии со стороны этого центра гитлеровцы верили до падения Берлина в мае 1945 года. Давно, слава богу, исчез Третий рейх и орден Туле, а идеи о Полой Земле или о Новой Швабии в огромных пещерах Антарктиды время от времени возникают в мировых СМИ, причем подтверждаются все более вескими доказательствами. Если это миф, то характерный миф.

Да даже в советское время, где-то в начале 1980-х годов, я обратила внимание на некое эссе в журнале «Юность», чрезвычайно популярном в 1960-е годы, а потом уже выписываемом мною по традиции. В этом эссе (автора не запомнила) предложено вообразить климатическую катастрофу, от которой пострадала достаточно развитая цивилизация, условно говоря — Гиперборея. В результате часть населения уходит под землю, унося с собой многие приспособления, приборы, типа сапогов-скороходов, шапки-невидимки, ковра-самолета (это, конечно, плод народной фантазии, однако на основе реальных машин и механизмов). Часть жителей остается на поверхности земли. Их жизнь, конечно, невероятно трудна, полна лишений, невзгод, утрат. Однако они помнят о прошлой цивилизации и время от времени отправляют своих лучших сынов — героев — добывать чудесные вещи под землю, в пещеры. Трудности закаливают. Люди на поверхности неуклонно развиваются. А в подземелье, наоборот, деградируют. Первыми чахнут дети и женщины. Тогда уже из-под земли вылезают нравственно и физически опустившиеся особи, чтобы красть красавиц. Вот будто бы исток сюжетов волшебных народных сказок или даже литературных, типа «Руслана и Людмилы» А. Пушкина, ведь он был явно *из посвященных*...

В многочисленных народных преданиях о подземельях они часто связываются с библиотеками древних рукописей. Именно так у Ластовского: «Тут я бачыў не толькі фаліян Полацкай летапісі, пісанай рукой княжны Еўфрасінні, але і летапісы шмат ранейшых перыядаў існавання нашага народа». Абсолютно, на первый взгляд, фантастическое утверждение писателя о славянской письменности, которая насчитывает шесть тысяч лет, сегодня, как ни удивительно, подтверждают многие исследователи — российские ученые А. Гусев, В. Чудинов, даже публицист-сатирик М. Задорнов, академик Украинской Академии наук А. Шилов: они реконструировали древний праславянский язык. А вот это уже настоящая наука — здесь не очень поспоришь. Да и Б. Г. Тилак, Н. Гусева, В. Демин, научные достижения которых также признаны в мире, во многом основывались на данных многочисленных языков, на глубокой этимологии топонимики и других групп лексики, общих для индоевропейских народов.

Таким образом, повесть В. Ластовского «Лабиринты» поражает глубиной проникновения автора в наиболее интригующие загадки Мироздания. Академик находился не просто на передовом крае тогдашней науки, но во многом и обгонял ее.

Заключение

Романтика советской науки — это постоянный научный поиск, дерзание духа и постоянная устремленность вперед. Если бы это было не так, Советский Союз не стал бы первой космической державой, не занимал бы второе место в мире по уровню образования.

В моих очерках охвачены далеко не все области, интересовавшие советскую науку в разное время. Это естественно — я не историк науки. Да и цель у меня другая: упомянуть те научные области, которые в наибольшей степени интересовали *наше поколение* и, кроме того, нашли отражение в *художествен-*

ных произведениях — как раз сфере моих интересов как филолога. Многих писателей волновали наиболее загадочные, таинственные области мироздания, хотя в нем по существу все таинственно. Однако это не значит, что только писатели открывали новые горизонты (хотя нередко так и было), а официальная наука в СССР — сплошь сухая и прагматичная, сориентированная на непосредственный результат. Это скорее характеризует сегодняшнюю науку, которая, безусловно, переживает кризис: организационный, финансовый, возрастной, а главное — творческий. В советское время академические институты занимались многими, на первый взгляд, фантастическими проектами: искали Тунгусский метеорит и Атлантиду, снежного человека и могилу Чингисхана, серьезно занимались изучением дельфинов и лозоходством, то есть геомантикой. Как раз главная особенность советской науки в том, что на поиски неизведанного устремлялись как официальные экспедиции, так и любители. Жаль только, что очень многие достижения энтузиастов оказались забыты, не востребованы после развала СССР, а то и проданы за рубеж. Естественную человеческую страсть к познанию новые идеологи постарались направить в иное русло — на астрологию, инопланетян, предсказателей и тому подобные вещи. Конечно, тоже таинственно, тоже интересно, но не заслуживает постоянного упоминания во всех СМИ, вообще везде, где только можно.

Я же постаралась сконцентрироваться на тех проблемах, которые имеют действительно мировое значение. Но главное: то, что они интересовали нас, мне кажется, в наибольшей степени характеризует *наше* поколение. Читателям судить, стоит ли проблемы, интересовавшие нас, передавать молодым...

Продолжение следует.



ЛЕВ КОЛОСОВ

Письма войны

Коллекции бывают разные. Кто-то собирает карманные календарики — коллекцию ушедшего времени. У кого-то собрана коллекция марок — визитных карточек разных стран. Кто-то коллекционирует вышедшие из употребления деньги — потерянные надежды.

Долгое время я собирал подлинные материалы о Великой Отечественной войне — книги, газеты, журналы военных лет, листовки, различные документы, фронтовые письма, фотографии... Это коллекция о войне. Материалы этого собрания рассказывают о мужестве и стойкости людей, о судьбах героических и трагических. О войне, про которую мы многое знаем и многого не знаем.

* * *

Листаю журнал «Огонёк» за 1941 год. Военные номера — без цветной обложки. Сообщено о том, что «Огонёк» будет выходить по воскресеньям на 16 страницах. В верхней части первого военного номера большими буквами набрано: «3-я неделя священной Отечественной войны». Значит, первые две недели журнал не выходил. Впереди еще много таких недель священной войны... На страницах журнала: бойцы в пассажирских вагонах едут на фронт, летчики в кожанках и шлемах, моряки на фоне крупнокалиберных орудий, танкисты на фоне одно- и двубашенных танков, первые орденоносцы войны, первые сбитые немецкие самолеты с крестами на крыльях и фюзеляжах, первые плененные солдаты немецкой армии в окружении бойцов с винтовками наготове — на винтовках длинные тонкие штыки. Много материалов о советских патриотах: женщины с противогазами у станков и на полях, женщины и подростки на крышах домов с большими клещами в руках — для схватывания зажигательных бомб. Всюду лозунги: «Все для фронта — все для победы!», «Каждый дом — крепость обороны».

Много карикатур и фотографий о войне в Европе. Только нет в журналах ни слова, ни строчки о тяжелых боях под Брестом и Новогрудком, о том, что захвачен Минск, что враг движется вглубь территории СССР, нет сообщений об отступлении советских войск.

* * *

Вот несколько писем, которые высланы из Минска и получены в Минске накануне войны. Некто П. И. Сорокин был в Минске, по всей видимости в командировке, получал письма из Ленинграда на минском главпочтамте «до востребования». Последнее письмо от жены получил 21 июня 1941 года еще в мирное время. Почтовый штемпель зафиксировал поступление письма в Минск «21.6.41» в 11 часов. Ответ на это письмо был послан 23 июня 1941 года, на второй день

войны. О чем писал в Ленинград гражданин П. И. Сорокин своей жене, можно только догадываться. Письмо было получено в Ленинграде 26 июня 1941 года, а 28 июня столицу Белоруссии оккупировали фашисты, как сложилась судьба ленинградца Сорокина в Минске — неизвестно.

Еще один ленинградский командировочный — Мильнер — проживал в минской гостинице «Европа». 21 июня послал в Ленинград на имя Екатерины Мильнер последнее письмо, в котором писал, что хорошо устроился в гостинице, что его приветливо встретили «товарищи по цеху», что город «небольшой, больше деревянный, но милый и своеобразный». В письме сообщалось: «Числа 25—27 июня вернусь домой». Но как сложилась судьба адресата — неизвестно.

* * *

Вот письмо, отправленное за месяц до начала Великой Отечественной войны — 22 мая 1941 года из деревни Лахва Лунинецкого района Пинской области на имя красноармейца Самусевича М. В. в г. Балта. Этот городок расположен на речке Кодыма на севере Одесской области. В адресе указан почтовый ящик воинской части «п/я 40» и номер подразделения «подр. 10». На сохранившемся конверте заказного письма, высланного, видимо, в 1940 году, адрес красноармейца указан более подробно — «59 ЛАП, упр 2, подр. 10». В довоенные годы на корреспонденции красноармейцев разрешалось в адресе указывать наименование воинской части от полка и ниже. «59 ЛАП» — возможно расшифровать как 59-й легкий артиллерийский полк. Судьба белорусского парня, призванного в ряды РККА после освобождения Западной Белоруссии, трагична. В первые месяцы, а возможно, дни войны он попал в плен. Родным сообщил о себе только через год, в июне 1942-го. На имя Параскевы Самусевич (матери, а может, жены красноармейца) была получена почтовая карточка из лагеря военнопленных — № 242-XVII В. Где находился в Германии этот шталаг — лагерь для рядовых советских военнопленных — неизвестно. Карточка проверена военным цензором и погашена немым почтовым штемпелем, на котором указана только дата отправ-

Datum Число 18.06.42

Mein Lieber / meine Liebe — ~~Мой дорогой~~ / моя дорогая

Ich bin in deutscher Kriegsgefangenschaft. — Я нахожусь в немецком плену.

Mir geht es gut, ich bin im Lager / auf Arbeit. — У меня все благополучно, я в лагере / ~~на работе~~.

Ich bin verwundet / krank / im Lazarett. — Я ~~ранен~~ / болен / ~~в лазарете~~.

Meine Anschrift ist umseitig zu ersehen. — Мой адрес подан на обороте.

Vorläufig könnt Ihr mir nur auf anhängender Karte schreiben, auf die Ihr die umseitige Anschrift setzen müßt. —
Пока Вы можете написать мне только на прилагаемой открытке, на которой Вы должны написать поданный на обороте адрес.

Erst später werde ich Briefe von Euch empfangen und darauf antworten können. — Лишь впоследствии я могу получать Ваши письма а также отвечать на них.

Einen herzlichen Gruß. — Сердечный привет.

Unterschrift Подпись Самусевич М.

Unzutreffendes streichen. —
Не соответствующее вычеркнуть.

ления — 21 июня 1942 года. На почтовой карточке было заранее отпечатано стандартное сообщение, в котором следовало вычеркнуть то, что не соответствует действительности. Бывший красноармеец М. В. Самусевич сообщал, что он в немецком плену, его лагерный номер — «130748— XVII A», что впоследствии он может получать от родных письма, что у него все благополучно, но он болен. Как и сотни тысяч других пленных советских солдат, М. В. Самусевич из фашистской неволи в родную Лахву не вернулся...

* * *

Письмо из Ленинграда из воинской части № 2575 в Тимковичи Копыльского района Минской области Я. И. Безносик. Послание написано 3 июня 1941 года, отправлено в Белоруссию 6 июня. До начала войны — полмесяца. Сын в письме спрашивает о здоровье отца, передает привет всей семье, сообщает, что служить ему два года и вряд ли удастся приехать за это время домой. Сообщает, что 6 июня воинская часть переезжает в Детское село (возможно, в летние лагеря). По всей видимости, это последнее письмо С. Я. Безносика своим родным. Судьба красноармейца неизвестна.

Почтовая карточка на имя Я. А. Подокшина была отправлена 23 июня 1941 года из Могилева в Бобруйск. На почтовом штемпеле получения стоит дата «25.06.41» — два дня понадобилось почте, чтобы доставить корреспонденцию из Могилева в Бобруйск, почти как в мирное время. А уже несколько дней шла война, на белорусские города, станции, железные дороги фашисты сбрасывали бомбы. Карточка писалась 22 июня — в первый день войны, — и нет в написанном тревоги и страха по поводу того, что случилось. Среди семейных новостей только одна большая неприятность: приходится работать во вторую смену — с пяти вечера до двух ночи, а это очень неудобно. А о войне такие оптимистические и пророческие строки: «Сегодня вы, наверное, слышали не очень хорошую новость — Германия объявила нам войну и война уже идет. Нужно надеяться, что она закончится в нашу пользу. Так должно быть». Через несколько дней — 28 июня — Бобруйск был оккупирован фашистскими войсками. Неизвестно как сложились судьбы адресата и получателя, но предсказание сбылось: война закончилась в нашу пользу. Кстати, после того, как эта карточка была опубликована в журнале «Веснік сувязі» откликнулись родственники Подокшина, которые теперь живут в Санкт-Петербурге и США.

* * *

Несколько лет назад в Санкт-Петербурге в одном семейном архиве были обнаружены партизанские письма, отправленные на большую землю из Белоруссии в 1942—1943 гг. А это значит, что в партизанском отряде работала почта. Известно, что уже в октябре 1941 года было издано «Постановление Государственного Комитета Обороны о доставке периодической печати в районы, временно оккупированные фашистскими войсками». В феврале 1943 года появился второй документ — приказ Наркома связи о доставке периодической печати и почтовой корреспонденции на временно оккупированные территории Белоруссии, Украины, и Прибалтики» В приказе говорилось об организации военно-полевой почты (ВПП) на этих территориях.

На одном из обнаруженных писем обратный адрес выглядит так: «БССР, Минск, п/о 41, п/л 692, подр. 08», письмо было получено 30 августа 1942 года, о чем свидетельствует штемпель получения. Интересен тот факт, что в осажденном Ленинграде почта работала четко. На Дзержинский районный почтовый узел письмо поступило в 15 часов, в почтовое отделение Ленинград-14 было достав-

лено в 18 часов. На конверте второго письма календарный штемпель отправления корреспонденции — «Минск — Менск — 41—8.11.43». На обоих конвертах партизанских писем виднеется треугольный оттиск штемпеля «Красноармейское письмо. Бесплатно». Обращает на себя внимание и такой факт: письмо было получено в Ленинграде 16 ноября 1943 года — т. е. находилось в пути всего 8 дней. Партизанское почтовое отделение, судя по этим двум письмам, работало более года. А как попал календарный штемпель минского 41-го почтового отделения в партизанский отряд — неизвестно. Как и неведомо как было организовано и само почтовое обслуживание в отряде.

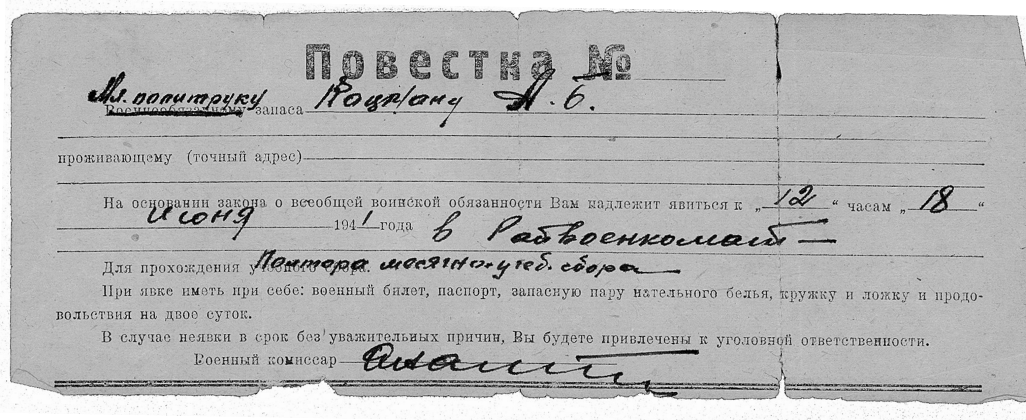
В 1980-х годах я интенсивно занимался поиском сведений о партизанской почте. Но поиски не увенчались большими успехами. Кто-то посоветовал обратиться к бывшей партизанке, проживающей по улице Чкалова (за давностью лет других сведений о ней у меня, к сожалению, не сохранилось). В ее семейном архиве нашлось одно партизанское письмо. Было оно отправлено в г. Сталино (Донецк) на имя М. Тарановой из партизанского отряда № 41-й Минской бригады. Отправитель — Белоновский.

По нечетким и слабым оттискам почтовых штемпелей можем определить, что из партизанского отряда письмо попало в почтовое отделение г. Душиничи Смоленской области 6 марта. Когда передано из отряда — неизвестно. В Душиничах письмо было просмотрено военным цензором, о чем свидетельствует слабый оттиск штемпеля. Так как на письме не было отметок, что оно воинское или солдатское, в почтовом отделении Душиничи был поставлен штемпель «Душиничи. Доплатить» и почтовым работником от руки была проставлена сумма оплаты: «60 копеек». Двойной тариф. Оплату пересылки письма должен был осуществить получатель. В Сталино письмо было получено в мае (указано на штемпеле). Дата и место получения нечитаемы. Текст письма обычный, почти домашний, с приветами и пожеланиями родным и знакомым, с вопросами о здоровье и уверенности в нашей победе и скорой встрече.

Женщина, сохранившая письмо, рассказала, что после удачных операций против фашистов командир отряда или комиссар перед строем сообщал, что родителям и семьям отличившихся партизан будут отправлены благодарственные письма. Эта форма поощрения применялась в отряде не раз. Тем, кто жил на оккупированной территории, письма посылались нарочными, а в советский тыл по почте, самолетами. Иногда на имя командира отряда поступали ответы на такие письма. Эти ответы зачитывали на отрядных построениях, на комсомольских и партсобраниях, а затем помещались в рукописном журнале, чтобы морально поддерживать бойцов.

О партизанской почте известно очень мало. В опубликованных партизанских мемуарах редко встречаются такие данные. В книге «Мы — алексеевцы» партизанский разведчик П. Л. Лебедев вспоминает: «*Около большака Витебск — Сенно в лесу между деревнями Церковище и Задорожье в двух-трех метрах от дороги стоит дуб. Дуб имеет дупло, в котором с давних времен гнездятся шершни. Дуб этот сросся с елью. В период Великой Отечественной войны под этим дубом находился «почтовый ящик» партизанской бригады Героя Советского Союза А. Ф. Донукалова. Партизанам необходимо было иметь надежный «почтовый ящик». Поступило предложение использовать для этой цели дуб. Место всем понравилось. С обратной стороны под дубом была вырыта небольшая ямка, ее обложили корой, сделали из дерна крышку. «Почтовый ящик» получился отличный. Чтобы обменять почту достаточно было нескольких секунд. Этот своеобразный почтовый ящик прослужил партизанам до зимы 1942 года и с весны по октябрь 1943-го*». Далее Лебедев пишет: «*Бывшим партизанам-алексеевцам дорого это создание природы, которое имеет прямое отношение к борьбе нашей партизанской бригады с немецко-фашистскими оккупантами. Через этот «почтовый ящик» под дубом витебские подпольщики имели регулярную связь с бригадой «Алексея», а затем и с Большой землей*».

* * *



Повестка №

~~Военнообязанному~~ Мл. политруку запаса Кацману А. Б.

проживающему (точный адрес)

На основании закона о всеобщей воинской обязанности Вам надлежит явиться к „12“ часам „18“ июня 1941 года в Райвоенкомат

Для прохождения ~~учебного сбора~~ Полтора месячного учеб. сбора

При явке иметь при себе: военный билет, паспорт, запасную пару нательного белья, кружку и ложку и продовольствия на двое суток.

В случае неявки в срок без уважительных причин, Вы будете привлечены к уголовной ответственности.

Военный комиссар

В середине 1990-х я получил письмо от бывшего помощника секретаря Лунинецкого райкома партии А. Б. Кацмана (эту должность он занимал в 1939—1941 гг.), в котором он поделился своими воспоминаниями о начале войны и прислал некоторые интересные документы того времени. Вот повестка из Лунинецкого райвоенкомата, в которой указывается, что «младшему политруку Кацману А. Б. на основании всеобщей воинской обязанности надлежит явиться к 12.00 18 июня 1941 года в Райвоенкомат на прохождение полуторамесячного учебного сбора». До войны оставалось 4 дня. 45-дневные курсы политсостава РККА должны были состояться в Бресте. Для поездки в Брест был выдан воинский железнодорожный проездной билет, по которому Кацман и парторг Лунинецкого леспромхоза 19 июня 1941 года отбыли в Брест. «Призывали как будто на сборы, но мы знали — едем на войну. Нам было известно, что на границе сконцентрировано много немецких войск и скоро начнется война» — писал Кацман в одном из своих писем, адресованных мне. Уже 27 июня Кацман был тяжело ранен. Войну закончил в Германии.

* * *

Прошли тяжелые годы оккупации. 3 июля 1944 года столица Белоруссии была освобождена Красной Армией. Именно в этот день солдат Н. Ф. Тимошенко написал родным письмо в Наровлянский район Полесской области, в котором поздравлял всех знакомых с освобождением Минска. На конверте письма штемпель полевой почты с датой «3.7.44».

Еще одно интересное письмо, его послал солдат Марьян Зуевский с полевой почты № 66513 на улицу Некрасова в освобожденном Минске своим родственникам. Письмо датировано 23 июля 1944 года, прошло всего 20 дней, как Минск стал свободным. Не было у солдата под рукой клея, поэтому сложенный вдвое листок бумаги склеен хлебным мякишем и полоской газеты, а для прочности прошит суровой ниткой. Что писал солдат в письме? Что жив-здоров, что движется на запад, с удовольствием бьет врагов, рад, что все родственники живы, что дом цел, Минск освобожден.

Старые письма войны — это страницы нашей истории, страницы трагические и героические. Это свидетельства мужества советского народа, выстоявшего в борьбе с фашизмом и победившего его.



ЯКОВ АЛЕКСЕЙЧИК

Марта, маршал и страшная тайна

Сентябрь для этого военного человека стал высшей точкой в его карьере. В первый же день месяца — 1 сентября 1939 года — он был назначен верховным главнокомандующим вооруженных сил Польши, которая смотрела на него и с благоговением и с надеждой. По-другому, пожалуй, и не могло быть. Он был самым известным в стране военным, кроме того, ему предстояло сменить и президента, Игнацы Мосьцицкого, у которого истекал срок пребывания на высшем государственном посту. Однако прошло каких-то две с половиной недели, и он, как потерявший управление или попавший в критическую ситуацию самолет, вошел в штопор, из которого не смог выйти. Его дальнейшее существование уже было только попыткой продолжать жить, по крайней мере, жить жизнью того человека, каким он был до сентября. Есть основания — формальные и фактические — сказать, что в сентябре он умер дважды. Первый раз — как политик и военный. Второй — как человек. Речь идет о маршале Польши Эдварде Рыдз-Смиглом. Правда, тот сентябрь был переломным для многих, притом не только для миллионов отдельных людей, но и для целых стран и народов. Тем он и вошел в историю. Потому и не прекращаются вокруг него споры. Жаркие. Во многих странах. Ведь для одних этот месяц стал месяцем избавления, для других — месяцем потерь, с которыми никак не удается смириться.

Особенно сильная атака по обе стороны Западного Буга приходится на семнадцатый день сентября — дату, с которой в 1939 году начался поход Красной Армии в сторону Бреста и Львова, закончившийся воссоединением белорусского и украинского народов.

Если говорить о поляках, их понять можно, ведь у них забрали то, что они желали бы иметь своим. Труднее уразуметь некоторых россиян, которые, не заглядывая в исторические святцы, тоже начинают заявлять о вступлении советских войск «на польские земли», словно они не знают, кто на тех землях жил и живет, как эти земли стали «польскими». И уж совсем невозможно понять тех, кто шлет проклятия тому походу, но относит себя к белорусам, тем более к числу «национально сознательных белорусов», как сами они утверждают. Казалось бы, для всех белорусов должно быть бесспорным, что тот поход реализовал право нашего народа жить одним домом, что других вариантов для осуществления такого права попросту не было. Ан нет, по мнению некоторых, никакого объединения в 1939 году не было, поскольку «одни из этнических белорусов» 17 сентября приветствовали приход Красной Армии, а другие, «более умные», как утверждается, «круто сменили направление и двинулись к немцам с надеждой попасть в плен, что считали лучшим вариантом, чем советская свобода». А самыми умными, оказывается, были украинские бандеровцы, которые сразу же открыли пальбу по «москалям». При этом напрочь отметается то, что именно по условиям того «лучшего варианта» белорусы за три военных года потеряли каждого третьего жителя республики. Так с чьего голоса такое звучит? Кстати, а проживавшим рядом с белорусами евреям, цыганам и прочим «национальностям» тоже надо было проявить столько же ума и сдаться в гитлеровский плен?

Упорно называя освободительный поход Красной Армии, начатый 17 сентября 1939 года, «оккупацией чужого государства», эти люди делают вид, будто понятия не имеют, что белорусские земли оказались в составе Речи Посполитой как раз в результате наглой оккупации. Против нее белорусы активно боролись, создавая многочисленные партизанские отряды, для противодействия которым с фронта отзывались регулярные польские дивизии. Энергично протестовали даже западные страны и два года не признавали Рижский договор, оттяпавший почти половину белорусских территорий, на которых, по словам министра внутренних дел Польши пана Перацкого, через пятьдесят лет даже запаха белорусского не должно было остаться. В этой связи куда большим белорусом выглядит один из самых авторитетных британских политиков Дэвид Ллойд-Джордж, который писал в своем письме тогдашнему польскому послу в Великобритании, что в сентябре 1939 года Советский Союз вернул себе «территории, которые не являются польскими и которые силой были захвачены Польшей после Первой мировой войны. Было бы актом преступного безумия поставить русское продвижение на одну доску с продвижением Германии». Получается, Ллойд-Джордж больший белорус, чем некоторые из тех, кто рядом обретается.

Вообще-то, с историей в последние годы происходит явно странные вещи. Все очевиднее попытки сделать белым то, что десятилетиями считалось совершенно черным. В странах Балтии открыто маршируют бывшие эсэсовцы, притом в обнимку с политиками и государственными деятелями. В Беларуси кое-кто пытается утверждать, что полицаи и прочие гитлеровские прихвостни боролись за независимость республики в условиях оккупации, хотя та оккупация вовсе не предусматривала существования белорусского народа, поскольку по плану «Ост» четверть белорусов подлежала онемечиванию, а остальные — «выселению». Три года войны показали, что речь шла о «выселении» основной массы населения из жизни, в чем гитлеровцам способствовали местные «бобики». Не менее поразительны по своему содержанию попытки отдельных политиков и авторов утверждать, что предводители белорусских коллаборационистов и пошедшие на службу гитлеровцам полицаи, участвовавшие не только в боях с партизанами, но и в массовом уничтожении евреев, в условиях той ужасной войны «боролись за белорусскую независимость». Ужель у кого-то повернется язык сказать, что белорусам нужна была независимость, политая кровью невинных еврейских детей, женщин, стариков...

В современной Германии в некоторых кругах все явственнее звучат голоса, что это была не *«чудовищная захватническая война, направленная на порабощение и уничтожение народов»,* а *«отражение коммунистической угрозы».* Как отметил германский историк А. Клёне, «приемлемыми» для западногерманского общества стали установки, которые «до недавнего времени находились под знаком табу и считались экстремистскими». А научный сотрудник Федерального военного архива ФРГ Юбершер Герд подчеркивает, что правые круги и впредь намерены «использовать историю Второй мировой войны для возврата к «образу врага», для возрождения «страха перед Востоком», а это, по их мнению, поможет формированию «позитивного немецкого национального сознания». Новому поколению немцев явно неуютно от ощущения, что их предки остаются в представлении мировой общественности исчадиями ада, потому тезис о «превентивной войне», принадлежащий к «новейшим фальсификациям истории, должен освободить немцев от вытесненного из сознания ощущения вины». Это чувство явно пытается эксплуатировать кое-кто из современных политиков. Да и не все на Западе, а теперь уже оказывается, что не только на Западе, признали чудовищность затеянного Гитлером преступления. Австрийский философ Э. Топич стал утверждать, будто «политический смысл Второй мировой войны сводится к агрессии Советского Союза» против западных демократий, а роль Германии и Японии состояла в том, что они (вот это да!!!) служили военным инструментом Кремля.


Маршал Рыдз-Смиглы.

Что касается «знака табу», то с весьма важных аспектов Второй мировой войны его постепенно снимают и в других странах. В этом смысле показательной будет цитата из интервью директора Института истории Силезского университета Рышарда Качмарека, которое в мае 2013 года — как раз в дни празднования очередной годовщины победы над гитлеровской Германией — было опубликовано в таком массовом издании Польши, как «Gazeta wyborcza»: «Мариуш Малиновский снял фильм о судьбах силезцев, попавших в немецкую армию. Я был на демонстрации этого фильма в нескольких силезских местностях. После показа «Детей вермахта» ветеранам, которые выступили перед камерой, вручали цветы, поздравляли местные политики. А на их лицах было видно настоящее удивление. С чем их поздравляли? Со службой в вермахте?»

Не менее интересны и другие сведения, изложенные в том интервью: «Во время отправления рекрутов, которые вначале проводились на вокзалах с большой помпой, часто пели польские песни. В основном в Поморье, особенно в польской Гдыне. В Силезии же в районах с традиционно сильными связями с польской речью: в районе Пщины, Рыбника или Тарновске-Гуры. Начинали петь рекруты, затем подключались их родные, и вскоре оказывалось, что во время нацистского мероприятия поет весь вокзал». Речь идет о том, как на службу в германский вермахт во время Второй мировой войны отправлялись поляки. Конечно, далеко не все они были добровольцами, однако и «ситуации, когда кто-то бежал от мобилизации, случались крайне редко», отмечает профессор.

Само интервью посвящено выходу в Кракове («Wydawnictwo Literacke») объемной книги профессора «Поляки в вермахте». В ней ученый основательно проанализировал «ряд обусловленностей, способствовавших коллаборационизму во время войны» — так говорится в издательском анонсе. Она уже была номинирована на премию, которая носит имя популярного в Польше (впрочем, среди белорусских исследователей прошлого тоже) историка Яна Длугоша, жившего в пятнадцатом веке. Профессор подчеркивает также: «Из докладов представительства польского правительства в оккупированной Польше следует, что до конца 1944 года в вермахт было призвано около 450 тысяч граждан довоенной Польши. В общем можно считать, что через немецкую армию во время войны их прошло около полумиллиона... В немецком мундире воевал каждый четвертый мужчина из Силезии или Поморья». И «почти 5 тысяч силезцев, награжденных Железным Крестом, перед войной имели польское гражданство. Несколько сотен получило Рыцарский Крест — самую высшую немецкую воинскую награду».

Польский ученый полагает, что «у 2—3 млн. человек в Польше есть родственник, который служил в вермахте». А еще он знает «случай с братьями, которые оба погибли под Монте-Кассино, но находятся на разных кладбищах, потому что носили мундиры враждующих армий». И добавляет, что к нему «постоянно при-

ходят студенты и спрашивают, как установить, что произошло с дядей, с дедом», что «их родные об этом молчали, они отделывались фразой, что дед погиб на войне, но третьему послевоенному поколению этого уже недостаточно».

Приведенные выдержки несколько неожиданны. Ведь мы привыкли считать, что поляки воевали на многих фронтах, однако только против гитлеровцев. Значительный вклад в формирование такого вывода у нас и в остальном мире сыграл польский кинематограф. Кто из нас не восхищался «Каналом» Анджея Вайды, другими картинами о варшавском восстании. А тут, оказывается, воевали и за идеи фюрера. И тоже на всех направлениях: «на западном и восточном фронтах, у Роммеля в Африке и на Балканах». Притом 60 процентов сражавшихся в вермахте поляков составляли граждане предвоенной Польши и только 40 — представители немецкой «полонии». А первый «набор» состоялся уже весной 1940 года. В знаменитом парашютном десанте, результатом которого стал захват гитлеровцами острова Крит в 1941 году, поляки уже участвовали, «на кладбище на Крите, где лежат погибшие участники немецкого десанта», профессор Качмарек «находил и силезские фамилии». Та воздушно-десантная операция считается едва ли не самой успешной в истории войн, поскольку в ходе нее с острова были выбиты британские, канадские, новозеландские, греческие силы, многократно превосходящие нападавших.

Однако, как говорится, нет худа без добра. Приведенные после «снятия табу» факты серьезно проясняют и некоторые другие вопросы. Ведь еще недавно в Польше возмущались, как минимум, удивлялись, когда слышали, что в числе попавших в советский плен гитлеровцев было более 60 тысяч поляков. Откуда, мол, такая цифра русскими взята, хотя подсчет этот сделал не российский, а австрийский исследователь. Но есть и еще более важные моменты.

Во-первых, в свете выводов профессора Качмарека куда более понятными становятся суждения тех, кто считает, будто для Польши в целом было бы более выгодно выступать в той войне на стороне Гитлера. Их позицию в последнее время выражает варшавский профессор Павел Вечоркевич, который в своих интервью бредит видением: Гитлер и польский верховный главнокомандующий маршал Эдвард Рыдз-Смиглы на трибуне Мавзолея принимают парад немецко-польских победителей. Его фантазии просто шокируют: «Польша была бы одним из главных создателей — наряду с Германией и Италией — объединенной Европы со столицей в Берлине и с немецким языком в качестве официального». Если бы эти слова услышал фюрер, он бы немедленно наградил варшавского профессора Рыцарским крестом с дубовыми листьями — одним из высших отличий в рейхе. А ведь Вечоркевич не одинок в своих стенаниях. Еще ранее другой польский историк Ежи Лоек тоже неоднократно писал, что его стране надо было выступить на стороне Гитлера, как это сделал Муссолини, в результате Польша оказалась бы даже в более выгодном положении, чем Италия. Ни Лоека, ни Вечоркевича не смущало и не смущает то, что гитлеризм осужден международным трибуналом и международным сообществом, и даже то, что при подобном повороте событий часть ответственности за страшные нацистские преступления во время Второй мировой войны легла бы и на польское сознание: за Майданек, Освенцим, Треблинку, газовые камеры, холокост. Надо полагать, они исходили и исходят из чего-то такого, что до сей поры находилось в тени, но на самом деле присутствовало в польском обществе и польских политических структурах, на основе чего и возможен был такой поворот. В отрыве от этого суждения того же Вечоркевича могут показаться ученой заумью. И вот Рышард Качмарек приоткрыл занавес...

Во-вторых, для белорусов это еще больше подчеркивает важность того самого освободительного похода Красной Армии к Бресту, Вильно, Львову, который начался 17 сентября 1939 года. Ведь, не будь его, война для нашего народа, если бы он продолжал оставаться «в разобранном состоянии», могла сложиться еще трагичнее. В этой связи, становится необходимостью уточнить некоторые

моменты, связанные с возможным развитием событий. Например, делались ли польскими политиками или военными реальные попытки все-таки совершить поворот в сторону Гитлера в ходе Второй мировой войны? Если да, то кем? А главное, что это означало бы для белорусов и Беларуси, будь они реализованы? До сих пор было известно, что до весны 1939 года руководство третьего рейха предпринимало довольно настырные попытки поставить Польшу в гитлеровские оглобли, только потом было дано распоряжение разработать план «Вайс», предусматривающий оккупацию этого государства. А вот то, что уже после оккупации серьезные намерения самим стать в те оглобли имели и весьма высокие польские политические и военные функционеры, было спрятано за семью печатями. И кое-кто даже заплатил жизнью, чтобы они там и оставались. В Польше ее называют страшной тайной, которая могла изменить ход Второй мировой войны...

Летом 1951 года французская полиция была шокирована зверским убийством одной польки, которую нашли без головы, без рук и ног. Убийцы расчленили труп, разбросав разные его части по территории, равной целой области. Сначала на Лазурном Берегу нашли левую руку, затем тело без головы и ног в мешке под мостом в сорока километрах от Ниццы, ноги обнаружили у Марселя. Полиция, прежде всего, изучила версию, связанную с ограблением убитой. В самом деле, с места ее жительства исчезли предметы поистине бесценные, в числе которых была и сабля польского короля Стефана Батория, правившего в Речи Посполитой еще в шестнадцатом веке, пропали также ее личные бриллианты. Исчезли и огромные по тем временам деньги — полмиллиона франков, которые были получены в банке буквально за несколько дней до убийства. Было выяснено, что 350 тысяч франков из той суммы владелица одолжила живущей тоже в Ницце семье поляков Романовских. Их сразу же арестовали, тем более, что именно Ян Романовский был последним, кто видел убитую живой во время обеда 2 июля 1951 года. Но вскоре их выпустили.

Рассматривались и версии, касающиеся связей погибшей с местными наркодельцами, а также с организаторами оргий, в которых она могла участвовать. Все было безрезультатно. Не помог следствию и приезд из Англии одного из самых именитых польских генералов — Владислава Андерса. Оно зашло в тупик и было прекращено. Единственный вывод, к которому смогла прийти полиция, состоял в том, что убийцей был кто-то из 290 человек, внесенных в записную книжку владелицы. При этом никто не поинтересовался, почему останки убитой даже не пытались спрятать. Скорее, наоборот, к ним постарались привлечь максимум внимания. Тогда на что был намек? Мертвой, как написал Дариуш Балишевский в польском журнале «Wprost» в статье «Polska femme fatale», уже было все равно, значит, кто-то думал о живых, стараясь подчеркнуть ужасность той смерти и важность той тайны, которую убитая унесла с собой в могилу. Погибшей, как вскоре выяснила французская полиция, была Марта — жена второго в истории Польши маршала Эдварда Рыдз-Смиглого, предвоенного верховного главнокомандующего польскими вооруженными силами, которому в сороковом году предстояло стать польским президентом, поскольку истекали полномочия Игнацы Мосьцицкого. Именно такая замена представлялась наиболее очевидной польскому политическому сообществу, о чем перед войной говорилось и писалось открыто.

В жизни Марты Томас-Залесской, а затем Марты Рыдз-Смиглы, все было загадкой, подчеркивает Балишевский. Родилась она в 1895 году в Житомире в семье аптекаря. Сразу же после окончания гимназии влюбилась в местного панича Залесского, который, кстати, был наследником куда больших богатств, чем ее отец. Любовь подверглась испытанию войной. Молодой царский поручик Залесский, теперь уже никто точно не помнит, как его звали, Михаил или Станислав, ушел на фронт. А у Марты случилась новая любовь. Доброжелатели сообщили об этом мужу, и тот сумел вырваться из окопов, чтобы появиться в Киеве. В известном ему от тех же доброжелателей номере отеля он нашел соперника и, побуждаемый благородными чувствами, стал уговаривать того... жениться на

Марте ради их взаимного счастья. В ответ услышал хохот. Тогда Залесский выхватил наган и выпустил в любовника жены все семь пуль. Утверждают, что последнюю он хотел оставить себе, но в горячности переусердствовал. Когда пришли его арестовывать, он сидел у трупа уже с пустым револьвером в руке. Жена о нем так и не вспомнила, но молва судачила, что она присутствовала на похоронах любовника и чуть ли не рвала на себе волосы от горя. Похоже, эта картинка «супружеской верности» и склонила суд к тому, что Залесский был приговорен только к разжалованию из офицеров в рядовые и отправке снова на фронт.

А в марте 1918 года Марта Залесская встретилась с польским полковником Рыдз-Смиглы, которому было только тридцать два года, но он уже являлся правой рукой Пилсудского, возглавлял Польскую военную организацию и приехал в Киев, чтобы пополнить ее ряды. Марта же была курьером в одной из местных структур, занимавшихся агитацией и призывом в польские армейские формирования. При каких обстоятельствах они встретились, никто не знает, известно только, что вскоре Марта оказалась в Варшаве, где Рыдз-Смиглы — уже генерал — за заслуги перед отечеством вытребовал для нее Крест Сражающихся. Никто не смог также выяснить, как они женились, венчались ли, если да, то где, тем более, что первый муж Марты ко времени ее нового замужества был жив. Известно только то, что с 1921 года Марта и Рыдз уже считались супругами. И еще известно, что они были своеобразной семейной парой.

Балишевский пишет о солдатских байках того времени, доплывающих вместе с людской молвой из Вильно, где Рыдз-Смиглы потом служил в качестве инспектора армии, свидетельствовавших, что у пани генеральши было очень своеобразное чувство юмора. Например, набрав в магазине покупок, она, увешанная пакетами, высматривала молодого офицера и просила помочь ей. По дороге представлялась незамужней. На ступеньках своего дома начинала расстегивать офицеру мундир, обещая продолжение уже в доме. Но на звонок в дверь выходил сам генерал Рыдз-Смиглы и заставал офицера с расстегнутым кителем или даже брюками. Один из них в такой ситуации пытался застрелиться, но Рыдз отнял пистолет, а потом лично проводил офицера до самой квартиры. Когда Марта появлялась в обществе вместе со своим генералом, она обязательно была в перчатках, всем объясняя это тем, что у нее аллергия на мужа. Впрочем, вместе их видели очень редко.

Дариуш Балишевский приводит в своей статье свидетельство друга Рыдз-Смиглого по студенческим годам Францишка Студзиньского: «Эдзё не был очень умным, зато симпатичным, весьма храбрым... полным темперамента, простым в обращении, без больших амбиций... После войны 1920 года изменился до неузнаваемости. Что на него так повлияло — не знаю. Женитьба или болезнь, или что-то еще. Он словно угас, стал апатичным, пассивным, ничто — по крайней мере, именно так выглядело — его не интересовало, кроме партийки в бридж и бесед с несколькими приятелями».

В 1938 году Марта подалась во Францию. Как судачили в то время в высших кругах, там она намерена была шлифовать свой французский язык и манеры в связи с тем, что мужу предстояло стать президентом Польши. За счет фондов второго отдела польского генерального штаба, ведавшего разведкой, на ее имя в Монте-Карло был приобретен особняк. Сама Марта стала получать зарплату из армейской кассы. В чем состояли ее услуги отечеству и вооруженным силам, замечает Балишевский, пока неизвестно, поскольку не обнаружено ни одного ее донесения. Но за несколько недель до начала войны она возвратилась в Польшу. Словно почувствовала, что придется спасать имущество. Как происходила эвакуация, уже в Румынии написал в своем рапорте капитан хозяйственного отдела штаба верховного главнокомандующего Густав Стахович. В ночь на 14 сентября 1939 года, зафиксировал капитан, колонна из двух грузовиков с мебелью и другим домашним скарбом, а также легковых автомобилей, в которых ехали жена маршала, ее родители и сестра, две горничных, две кухарки, лакей с жандармами

охраны, двинулась через Дубно, Кременец, Тернополь к румынской границе. И уже 27 сентября после скандала в польском посольстве в Бухаресте Марта отправилась во Францию.

Сам маршал добирался до румынской границы другими путями. Он уехал из Варшавы 7 сентября, когда стало ясно, что польский фронт против немцев уже рухнул. Назавтра гитлеровцы появились у самой столицы и предприняли первую атаку на ее предместье, но, потеряв несколько танков, отступили. Справедливости ради, надо сказать, что Рыдз-Смиглы оставлял Варшаву не первым из высшего руководства страны. Президент Игнацы Мосьцицкий выехал из своей резиденции еще 1 сентября, правительство эвакуировалось 4 и 5 сентября и уже 9 сентября начало переговоры с Францией о предоставлении убежища. С тех пор все перемещались по стране и действовали порознь: президент Мосьцицкий, премьер-министр Славой-Складковский, главнокомандующий Рыдз-Смиглы, министр иностранных дел Бек. В разных местах размещались сейм, сенат, верховный суд, правительственные структуры...

В Бухарест 15 сентября была направлена просьба к румынскому правительству о разрешении на пересечение границы польским государственным руководством и получение им убежища. Сам маршал остановился в Коломые, в тридцати километрах от границы с Румынией. Именно отсюда 16 сентября вскоре после полудня он и выехал в сторону Бухареста. В Варшаве, как засвидетельствовал политик и историк Вацлав Липиньский, понятия не имели, где главнокомандующий подевался и все остальные тоже. Была даже попытка создать новое правительство во главе с командующим обороной столицы генералом Юлиушем Руммелем, но от нее все же отказались, чтобы не усугублять политическую неразбериху.

То, что Рыдз-Смиглы на глазах у всех собрался в эвакуацию, произвело гнетущее впечатление на офицеров. Как же так, переговаривались они, войска продолжают драться, а штаб главнокомандующего намерен переходить на территорию соседнего государства. Офицерская честь требует отправиться к сражающимся частям, а не прятаться в столь трагичный момент. А дальше произошло то, чего никто не ожидал. На мосту через Черемош автомобилю маршала перегородил дорогу полковник Людвик Боцяньский — главный квартирмейстер правительства. Полковник этот в армии был хорошо известен. Много воевал. Сначала в германской армии. Принимал участие в боях под Верденом. Был отмечен Железным крестом второго класса и вырос от капрала до подпоручика. Затем дрался с большевиками, после включения западнобелорусских земель в границы межвоенной Польши командовал пехотным полком в Молодечно и пехотной дивизией в Барановичах, был депутатом польского сейма, виленским и познаньским воеводой. Во время руководства Виленским воеводством активно вмешивался в межконфессиональные дела, в частности, на нынешней Витебщине добился увольнения будущего лауреата Нобелевской премии поэта и публициста Чеслава Милоша с польского радио в Вильно за использование в передачах белорусских песен и сочувствие литовцам, которые желали возвращения Вильно в пределы своего государства, о чем Милош впоследствии вспоминал в стихотворении «Тост». Боцяньский настолько посвящал себя службе, что не нашел времени для обзаведения семьей.

Известен был этот полковник и маршалу. Когда он оказался перед машиной Рыдз-Смиглого, тот вынужден был выйти из авто и спросить, в чем дело. «Речь идет о чести армии», — ответил полковник, но маршал твердой рукой отодвинул Боцяньского с дороги. Тогда полковник вытащил пистолет и выстрелил... себе в грудь. После минутной растерянности главнокомандующий приказал положить тело полковника в машину и двигаться через Черемош. Уже в Румынии оказалось, что Боцяньский жив — пуля прошла рядом с сердцем. Забегая вперед, уточним, что после выздоровления ему было отказано в возвращении на военную службу, он умер в Великобритании в 1970 году, пережив своего главнокомандующего

почти на тридцать лет. Но вряд ли будет ошибкой, если сказать, что тот самострел полковника стал знаковой точкой и в судьбе маршала, у которого дальнейшие дела тоже не заладились.

Как пишет польский историк Владислав Побуг-Малиновский, президент Польши Игнацы Мосьцицкий был сильно удивлен, увидев своего маршала на румынской территории, поскольку буквально накануне главнокомандующий уверял главу государства, что остается с армией. Сам Рыдз-Смиглы, как зафиксировали свидетели тех дней, был полон пессимизма. Он утверждал, что подвели молодые офицеры, не выдержав немецкого напора, что нарушены были связь и транспортные коммуникации. Но не было недостатка и в голосах тех, кто утверждал, что подвел, прежде всего, верховный главнокомандующий. Ведь он, по долгу службы обязанный принимать многочисленные рапорты и донесения, оперативно реагировать на них, еще в Бресте распорядился не развертывать на боевое дежурство даже свою радиостанцию, чтобы ее не засекли немецкие пеленгаторы и не вычислили его местонахождение. Правда, некоторые авторы утверждают, что ее и не могли развернуть, поскольку забыли в Варшаве коды.

Современная польская публицистка Анна Тыхманович свою статью на эту тему назвала вполне красноречиво — «Позорное бегство командующего из борющейся Польши». Как историки, так и публицисты, пишет она, «решение Смиглого о бегстве оценивают по преимуществу негативно». Для того же Владислава Побуг-Малиновского «неприемлемым было само присутствие маршала у польско-румынской границы, а не в центре командования обороной страны». Это вызвало озлобление и «усилило деморализацию польских солдат и офицеров». Полковник Стефан Собоневский, у которого был свой пост на мосту через реку Черемош, вспоминал потом, что через некоторое время после переезда в Румынию президента и премьер-министра Польши ему доложили, что «приближается колонна автомобилей верховного главнокомандующего — лимузин и два грузовика.

— Вы что, с ума сошли, — закричал я на какого-то комиссара полиции, который об этом мне сообщил. — Прикажу предать вас суду за попытки сеять панику. Того не может быть. Гетман никогда не оставляет своих войск! Но это действительно был Смиглы».

Негативные настроения среди польских военных зафиксировали даже немецкие наблюдатели, отметила Анна Тыхманович, ссылаясь на одну из депеш: «Бегство Рыдз-Смиглого вызывало глубокое возмущение... Некоторые из них



Юзеф Пилсудский и Рыдз-Смиглы во время советско-польской войны. 1920 г.

требуют расстрелять маршала. Особое озлобление возникло в польских воинских подразделениях в отношении части офицеров, которые, как только ухудшилась ситуация, реквизировали транспортные средства, частные автомобили, чтобы спасаться бегством через румынскую границу... Даже когда Смиглого уже интернировали на территории Румынии, через несколько недель его перевезли в иное место, поскольку маршал чувствовал опасность со стороны иных интернированных польских военных». Правда, уже упоминавшийся Павел Вечоркевич высказался по этому поводу опять же довольно своеобразно. Мол, надо было маршалу «переходить границу с винтовкой в руках, символически отстреливаясь от наступавших советских частей». Это «было бы красивым актом, и, полагаю, тогда никто не мог бы иметь к нему ни тени претензий».

Однако переход Рыдз-Смиглым румынской границы и оставление армии стал потрясением не только для вооруженных сил, но и для всего польского общества. Ведь и в нынешней Польше всем известно, что «после смерти Пилсудского он имел в Польше исключительную популярность. Был фигурой первоплановой, заслонявшей даже президента Мосьцицкого. О нем пели песни, слагали стихи, его именем называли школы, улицы, спортивные клубы. Издавали в его честь специальные листовки-однодневки, его изображениями украшали здания, на информационных стендах висели плакаты с его снимками, выпускались значки и почтовые открытки с его портретами. Он был любимцем масс. Он был мужем одной из красивейших полек. Ему было пятьдесят лет, когда в 1936 году он стал маршалом Польши и ее вождем. Он вызывал удивление. Стройная, спортивного склада фигура, немного робкая улыбка на лице, быстрые, понимающие глаза — все это вызывало уважение в людях. Плакат с его фотографией в маршальской фуражке и надписью «Мы сильны, сплочены, готовы» или его заявление, что в случае немецкого нападения «не отдадим даже пуговицы», успокаивали и давали ощущение безопасности. Во время шествий и митингов звучали песни о том, что «Nam nie grozi nic, bo z nami jest marszałek Śmigły-Rydz» (Нам ничего не грозит, ибо с нами маршал Смиглы-Рыдз). Примерно так же в СССР в то время пели о К. Е. Ворошилове: «...нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет». В Польше тоже подчеркивалось, что Рыдз, как его обычно называли в народе, дан стране самим Пилсудским. Все знали, что Комендант отзывался о нем только в превосходной степени: «Бросал его во время войны на самые трудные задания. С точки зрения силы характера и воли он стоит выше всех польских генералов». Это был настоящий культ. И вдруг «красивая карьера лопнула, как мыльный пузырь», а «туз стал банкротом».

Свой последний приказ по армии Рыдз-Смиглы издал уже в Румынии в ночь с 26 на 27 сентября 1939 года. Как свидетельствуют польские источники, тогда к нему прибыли подполковник Тадеуш Закжевский и полковник Ян Ковалевский, чтобы получить приказы для сражающейся еще Варшавы. Маршал поблагодарил командовавшего обороной польской столицы генерала дивизии Юлиуша Руммеля и подчиненных ему солдат и офицеров за героизм и заявил, что «Варшава должна обороняться столь долго, на сколько хватит снаряжения и продовольствия». Через два дня румынские власти запретили ему контакты с польскими кругами и под охраной полиции перевезли на виллу бывшего румынского премьер-министра Мирона Кристе. А новый польский президент Владислав Рачкевич предложил маршалу отречься от функций верховного главнокомандующего и Главного инспектора вооруженных сил Польши, что он и сделал. В письме президенту он написал, что интернирование сделало его беззащитным, высказался в том смысле, что замена верховного главнокомандующего неактуальна, поскольку нет армии, и предложил главе государства поступать так, «как подсказывает совесть».

А дальше события развивались уже в жанре детектива. Из Румынии маршалу удалось перебраться в Венгрию, оттуда в конце октября 1941 года — в Польшу, где, согласно его планам, должно было возникнуть пронемецкое руководство по типу правительства Квислинга в Норвегии, а самой Польше предстояло при-

нять участие в крестовом походе против большевиков силами освобожденных из немецкого плена и вновь вооруженных солдат и офицеров. Разумеется, были бы и новые мобилизации. Но помешало соответствующее подразделение главного командования Союза вооруженной борьбы — предшественника Армии Крайовой. По приказу полковника Эмиля Фельдорфа оно арестовало несостоявшегося Квислинга, объявило о его смерти от инфаркта в начале декабря 1941 года и организовало его похороны на варшавском кладбище Повонзки, где он был якобы погребен под именем Адам Завиша. Разделяют эту версию Дариуша Балишевского польские историки Анджей Кунерт и Марек Галензовский.

В могиле на участке № 139 на Повонзках с самого начала Рыдз-Смиглого не было. Он жил еще почти год и умер где-то в Отвоцком регионе от туберкулеза в сентябре 1942 года. Уже не имея возможности разговаривать, он занимался любимым рисованием, ведь когда-то закончил академию изящных искусств в Кракове, учился живописи в Вене и Мюнхене, а военное образование получал только в школе офицеров запаса австро-венгерской армии. А еще «старательно записывал в дневнике события последних лет своей жизни». Дариуш Балишевский полагает, что он, «скорее всего, записал свои будапештские беседы с немцами, встречи с регентом Венгрии Миклошем Хорти, которого убеждал в необходимости создания в Бухаресте нового польского правительства... свои разговоры с бывшим премьером Козловским, которого он направил в Берлин (для встреч с немецкими официальными лицами. — *Авт.*), свои приказы, высланные в Бузулук... словом, тайную, правдивую историю польской войны и польской борьбы за главенство с генералом Сикорским», который в это время возглавлял польское правительство в Лондоне. Через год после смерти маршала, а это был уже 1943-й, согласно воле умершего, один из его офицеров Михаил Эйгин доставил этот дневник и другие бумаги его жене Марте во Францию. Они-то, полагает Балишевский, и стали причиной смерти маршальской супруги. Из дома, в котором она жила, исчезли не только ценности, но и все документы, касающиеся маршала, включая его письма к жене, фотографии. И, конечно же, исчез дневник, в котором была зафиксирована «тайна ситуации» — вся «правда о людях и их роли в годы войны». Публицист и историк считает, что это была «правда о большой, значительно выходящей за рамки польской истории политической акции, целью которой могло быть строительство немецкой единой Европы...»

Дариуш Балишевский к судьбе маршала Рыдз-Смиглого вернулся и в статье «Тайна доктора Z», в которой основное внимание уделил жизни Стефана Витковского — руководителя разведывательной организации «Мушкетеры», работавшей не только на подпольное польское руководство в Варшаве, польское правительство в Лондоне, британскую Интеллидженс сервис, но и на гитлеровский Абвер. В ней, в частности, автор конкретизирует, какие приказы маршал слал в Бузулук, где размещался штаб генерала Владислава Андерса, под руководством которого формировалась польская армия в Советском Союзе. Оказывается, в декабре 1941 года совместными силами «Мушкетеров» и абверовцев к Андерсу была переправлена группа польских офицеров во главе с ротмистром Чеславом Шадковским — офицером 10 полка уланов, человеком безупречной репутации, находившимся рядом с Рыдз-Смиглым после прибытия того в Варшаву. В ходе приготовлений, которые заняли несколько недель, «немцы предоставили теплое белье и кожу для сапог, польская сторона готовила письма, которые следовало вручить генералу Андерсу или генералу Сикорскому, поскольку было известно, что он вскоре посетит Москву. Материалы были микрофильмированы и укрыты в куске мыла для бритья». До Харькова группу сопровождал лейтенант Зааль из Абвера. На линии фронта немцы открыли огонь по одному из участков советской обороны, чтобы отвлечь внимание от группы, намеревавшейся перебраться на противоположную сторону. Перейдя фронт, люди Шадковского зашли в первый попавшийся дом в советском тылу и попросили вызвать командира ближайшей воинской части. Военные доставили пришельцев в свой штаб, затем в Воронеж,

потом в Москву. После проверки их отправили в Бузулук. Там гостей встречали с большим почетом. Был устроен даже банкет. Шадковский сразу же был зачислен в личную охрану Андерса.

А буквально через несколько минут случилось неожиданное. Балишевский приводит воспоминания Шадковского, который потом записал, что «генерал Окулицкий спросил про Смиглого. Звучали разные слова. Одни утверждали, что он в Будапеште, другие, что в Анкаре. Все вопросительно смотрели на меня. Я наклонился к Андерсу и тихо сказал, что должен кое-что передать лично ему, потому прошу о беседе с глазу на глаз. Когда она началась, сообщил: Смиглы находится в Варшаве и вместе со своими людьми готовит покушение на Сикорского...» Андерс был потрясен. У него не было оснований сомневаться в том, что он услышал, ведь Шадковский руководил личной охраной маршала и не отходил от него ни на шаг. А назавтра из куска мыла извлекли микрофильм. На нем было письмо Витковского к Андерсу, в котором содержался призыв ударить по советским тылам, как только его армия окажется на советско-германском фронте.

Еще через день ротмистр Шадковский был арестован. Он был обвинен в измене, сотрудничестве с немцами, отдан под суд и приговорен к смерти. К счастью для офицера, приговор не был приведен в исполнение. А Дариуш Балишевский задался вопросом: мог ли Витковский, о котором Андерс ничего не знал, давать такой приказ этому генералу? И почему он отнесся к тому приказу столь серьезно, а не выбросил в урну? И если не Витковский, то кто за ним стоял? Ответ напрашивался только один: «единственно возможным автором того скандального приказа... мог быть только маршал Эдвард Рыдз-Смиглы. А единственный повод для его издания — попытка покушения на подпольные власти в Варшаве и генерала Сикорского в Лондоне». Польское войско должно было начать войну на немецкой стороне. И здесь, отмечает публицист, неизбежен еще один вопрос: а в самом ли деле тот микрофильм, спрятанный в куске мыла, не был прочитан советскими контрразведчиками. Ведь в Бузулук он был доставлен в уже проявленном виде, хотя разведывательная практика требовала перевозить их не проявленными, чтобы в случае опасности «малозаметным движением руки дернуть скрытый шнурочек и засветить упаковку». А если русские познакомились с содержанием того микрофильма, то не повлияло ли это знание на их последующее решение выпустить польскую армию в Иран, поскольку отправку ее на фронт можно было счесть большим риском?..

Дариуш Балишевский замечает, что ноябрь 1941 года в польской истории полон тайн. Анна Тыхманович тоже пишет, что Рыдз-Смиглы встречался с руководителем Союза вооруженной борьбы, который потом перерос в Армию Крайову, генералом бригады Стефаном Ровецким — псевдоним «Грот». О чем был разговор — никому не известно. Ровецкого впоследствии выследило гестапо, и в первые дни восстания в Варшаве он был расстрелян в концлагере Заксенхауз. Рыдз-Смиглы встречался и с бывшим премьером Леоном Козловским. О чем говорили — никто не знает. И если не дошло дело до создания правительства по типу квислинговского, то от кого прокурор Юзеф Намысловский, близкий к Рыдз-Смиглому, получил назначение на пост поморского воеводы? В конце 1941 года в Варшаве что-то происходило, утверждает Балишевский. Он приводит цитату из письма главы польского правительства в Лондоне генерала Владислава Сикорского послу Польши в Москве Станиславу Коту: «Согласно докладу, который я получил 20 января, польский народ, несмотря на жестокие преследования, ответил совершенно отрицательно на призывы принять участие в крестовом походе против большевиков, что было связано с серьезными уступками в пользу Польши». Какими уступками, задается вопросом Балишевский? Кто формулировал те призывы? Все-таки они были? Ответов на эти вопросы в письме к послу нет. Однако известно, что в марте 1942 года в беседе с президентом США Рузвельтом Сикорский вновь заявил, что в январе 1941 года «все политические партии Польши продекларировали свое единогласное решение не поддаваться немецким

предложениям и не участвовать в антироссийской кампании, за что полякам было обещано возвращение нормальных условий на польской территории». Раз это обсуждали, заключает Балишевский, значит, был повод для дискуссий, а в них участвовала и та сторона, которая выступала за сотрудничество с Германией. Были ли такой стороной Козловский, Рыдз-Смиглы и Витковский, сказать с уверенностью Балишевский не решился, однако, правдоподобным он считает факт, что все они получили смертный приговор из Лондона.

Приказ о разжаловании в капралы и смертный приговор Рыдз-Смиглому подписал генерал Сикорский. В качестве компромисса ему было предложено покончить жизнь самоубийством или уехать из Польши. Он отказался. Тогда его приговорили еще раз. Уже к небытию. Арестованного офицерами Армии Крайовой, маршала содержали на тайной квартире «в нечеловеческих условиях, в результате у него возобновился туберкулез легких, которым он болел в молодости». Такова версия Дариуша Балишевского. А «Gazeta Lubuska» высказала предположение, что он был отравлен своими политическими потивниками.

Рыдз-Смиглы умер 3 сентября 1942 года. Официальная дата смерти — 2 декабря 1941 года — обычная мистификация, отмечает Балишевский. А «Мушкетеры» уже в начале декабря 1941 года были включены в состав Союза вооруженной борьбы. Витковский был приговорен к смерти и убит. Приговор подписали члены этого союза: полковники Тадеуш Бур-Коморовский — будущий главный комендант Армии Крайовой, Казимеж Плюта-Чаховский и Ян Ржепецкий.

Упоминаемый в статье Леон Козловский был премьер-министром Польши еще при Пилсудском. Это он внес маршалу предложение о создании специального концлагеря для политических в Картуз-Березе. В 1939 году был интернирован во Львове и доставлен в Москву. Посидел на Лубянке. После подписания пакта «Майский—Сикорский», которым были восстановлены дипломатические отношения между СССР и Польшей и начато формирование польской армии в Советском Союзе, был отпущен и направлен в эту армию. Но ее командующий генерал Владислав Андерс не очень жаждал видеть бывшего премьера в своем окружении. И через некоторое время Козловский вместе с еще одним офицером покинул расположение польских частей, осенью 1941 года в районе Тулы перешел линию фронта и вручил свою судьбу в руки немцев. Полевым судом армии Андерса он был заочно приговорен к смерти. Как сообщают польские источники, сначала в Варшаве, потом в Берлине Козловский тоже вел беседы с гитлеровцами о создании правительства по образцу квислинговского. Впоследствии он жил в Берлине, сотрудничал с органами нацистской пропаганды. Закончил свои дни в мае 1944 года во время бомбардировки столицы рейха авиацией союзников. По одним утверждениям, это произошло в результате инфаркта, случившегося во время налета, по другим — он скончался от полученных ран. Сам факт коллаборационизма Козловского с гитлеровской верхушкой, включая попытки создания польского коллаборационистского правительства, никем не отрицается. Но начаты были они значительно раньше и не им, о чем свидетельствуют и другие смерти. И тоже насильственные. Об одной из них в статье «Тайна полковника Штайфера» в журнале «Wprost» рассказал все тот же Дариуш Балишевский, постоянно интересовавшийся «неприятной правдой», как он сам ее называл. Ту историю, подчеркивал автор, вообще никто и никогда не должен был узнать, ибо она была государственной тайной, так как тоже касалась переговоров с врагом и попыток создания польского правительства, сотрудничавшего с немцами. Все, кто оказался в орбите той тайны, должны были молчать под страхом смерти. И хотя молчали, в большинстве своем все равно не дожили до конца войны.

Никто никогда не узнал бы и о деле Штайфера, если бы не случай, который в марте 1942 года произошел на южном железнодорожном вокзале Будапешта. Тогда под колеса поезда бросился или упал человек. У него не оказалось никаких документов, по которым можно было бы установить его личность. На нем был новый костюм, новое белье, впервые надетые ботинки. В карманах — никогда не

использовавшийся носовой платок, ни крошки табака. Но следователи все-таки установили, что это был майор 52 пехотного полка польской армии Владислав Залусский, связанный с лагерем сторонников Пилсудского, оказавшихся в Венгрии. Во внутреннем кармане пиджака был найден листок бумаги, на котором был написан смертный приговор полковнику Мариану Яну Штайферу, вынесенный гражданским судом чести в Будапеште за попытки «создания польского правительства в согласии с немцами».

Теперь, спустя 70 лет, писал Балишевский, все указывает на то, что Залусский стал жертвой польской гражданской войны, но отдал жизнь как раз для того, чтобы мир все же узнал о польских попытках договориться с немцами. В Будапеште, где погиб Залусский, размещался конкурирующий с польским правительством в Лондоне политический центр, тоже располагавший тысячами солдат и офицеров. И если в Лондоне польскими делами руководил генерал Сикорский, то в Будапеште — маршал Рыдз-Смиглы. И в то время, когда сотни польских военных стремились на запад, чтобы сражаться под знаменами Сикорского, сотни таких же солдат и офицеров шли из Румынии и Венгрии в Польшу, чтобы потом бороться с врагом на родной земле. Официальным представителем польской армии в Венгрии был пятидесятидвухлетний полковник Мариан Ян Штайфер, руководивший польской секцией в венгерском министерстве обороны.

Мариан Ян Штайфер был уроженцем Львова, до Первой мировой войны являлся подданным императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа II, потому во время той войны в чине подпоручика воевал в австро-венгерской армии на итальянском фронте. В одном из боев он спас жизнь венгерскому поручику Барта, который с многочисленными ранами лежал на нейтральном поле под артиллерийским обстрелом. Получив несколько ранений, Штайфер тогда все-таки притащил Барту в свои траншеи. А в 1939 году — после сентябрьской катастрофы — Штайфер решил уйти в Венгрию. Когда его задержали на мадьярской границе и потребовали сдать оружие, он попросил разрешения позвонить. Вскоре на границу примчалась машина, из которой вышел генерал Барта и молча отдал честь Штайферу. Барта к тому времени был министром обороны Венгрии. Штайфер вскоре стал руководителем отдела в его министерстве и фактическим опекуном 28 тысяч польских солдат, оказавшихся в Венгрии. Как пишет Балишевский, так Барта через 23 года возвращал долг своему спасителю.

А в первые дни мая 1941 года поручик польской армии Казимер Морвай — сын мадьяра и польки, исполнявший функции адъютанта в том же отделе, которым руководил Штайфер, услышал, как капитан Корменди докладывает полковнику Бало: «Полковник Штайфер просит о приеме у министра национальной обороны Барта по делу о создании польского правительства, сотрудничающего с немцами». Капитан Корменди тогда понял, что Морвай услышал его слова и жестко предупредил поручика: вынесешь сор из избы — будет тебе плохо. Но Морвай, который чувствовал себя больше поляком, нежели венгром, все-таки счел нужным проинформировать об этом докладе представителей генерала Сикорского, тоже действовавших в Будапеште. Так дело дошло до следствия и суда, которые можно отнести к одному из наиболее тайных судебных заседаний в истории Второй мировой войны.

Скрупулезный Балишевский выяснил, что в ходе суда обвинителями Штайфера были люди из лагеря генерала Сикорского. Это доктор Станислав Бардзик-Любельский — заместитель представителя лондонского польского правительства в Венгрии и адвокат Адольф Витковский — заместитель представителя министерства имуществ. Защищал же его ярый пилсудчик майор Стефан Бенедикт. В состав суда входили Адам Опока-Лёвенштейн из Польской социалистической партии и Вацлав Слоницкий из Народной партии. Возглавлял суд генерал Ян Коллонтай-Средницкий. После пяти дней заседаний, в ходе которых были выслушаны свидетели как с польской, так и с венгерской стороны, суд констатировал, что он «не нашел доводов, что какая-то группа граждан стремилась к сотрудни-

честву с немцами». Однако Балишевский, задавшись вопросом, так были все же переговоры с немцами или нет, пришел к выводу, что, скорее всего, они были. Явный намек на это содержался в самом решении суда, в котором сказано, что «полковник Мариан Штайфер сослужил плохую службу Отечеству».

А еще Балишевский сообщает, что в середине 80-х ему самому в руки попали личные бумаги Штайфера. В письме своей жене, которая находилась в Польше, датированном 18 апреля 1941 года, полковник писал: «С венгерской стороны уже несколько раз и от разных личностей мне делались предложения о том, чтобы при посредничестве моего давнего коллеги со времен Первой мировой войны я пошел на подписание договора с хозяином и на сотрудничество с ним. Отмечается, что это было бы охотно принято, ибо он (хозяин. — *Авт.*) не имеет никакого кандидата на обладание старым, хотя и уменьшенным уже домом, а такой кандидат для него очень важен. В качестве аргумента говорится, что лучше спасти хотя бы что-то из мебели, а особенно речь идет о детях, которые страдают больше всего. Как ты на это смотришь? Из этого может получиться и большое дело, и большой позор».

Балишевский поясняет, что полковник пользовался эзоповым языком. Хозяин — это немцы. Уменьшенный дом — Польша. Разве, имея такие документы, можно сомневаться, что до переговоров с гитлеровцами дело все-таки дошло, пишет автор? Но ставит еще один вопрос: неужели те беседы вел полковник Штайфер от своего имени? Какой бы протекцией в Венгрии он ни пользовался, трудно представить, что он мог быть политической стороной в каких-либо переговорах с немцами или венграми. Даже большой фантазер не мог представить себе польского правительства во главе с никому не известным полковником, притом с немецкой фамилией.

Суд все же признал Штайфера виновным, поскольку «он должен был отдавать себе отчет в том, что проведение им такого рода переговоров может в глазах мира бросить значительную и фальшивую тень на монолитную и несгибаемую позицию польского народа». Однако за спиной Штайфера должен был стоять кто-то более важный, делает вывод Балишевский. Из доклада поручика Морвая следовало, что тот Кто-то — маршал Рыдз-Смиглы.

В отчете другого польского офицера — подпоручика Станислава Тейхмана — тоже говорится, что польские военные, оказавшиеся в Венгрии, знали об усилиях создания Польского легиона, который вскоре должен был двинуться в Польшу. Переговоры с немцами на эту тему по поручению Рыдз-Смиглого вел подполковник Зыгмунт Венда — довоенный вице-председатель польского сейма, преданный друг самого маршала. Но 15 мая 1941 года этот 47-летний никогда не болевший мужчина вдруг умер от инфаркта. Как раз накануне — 14 мая — суд вынес смертный приговор полковнику Штайферу. Многие утверждали, что, узнав об этом, Венда покончил жизнь самоубийством. Его жена на похоронах не проронила ни слезинки. Рыдз-Смиглы вовсе не приехал. Маршала неожиданно увезли из Будапешта и спрятали где-то у озера Балатон. Затирали следы? Боялись еще одного приговора? Неизвестно, — пишет Дариуш Балишевский. — Известно лишь то, что через несколько месяцев в Польшу отправился сам маршал Рыдз. В Будапеште его напутствовали венгерский правитель адмирал Миклош Хорти, военный министр генерал Карой Барта и полковник Мариан Штайфер.

Дальнейшая судьба Штайфера теряется в военно-политических лабиринтах. Как утверждает Дариуш Балишевский, после взятия Будапешта Красной Армией его арестовала одна из групп НКВД. Впрочем, скорее всего, это была группа СМЕРШа. Чекистов якобы интересовали познания Штайфера, который, помимо прочего, был и опытным разведчиком. Вполне возможно, пишет журналист, спрашивали они и о деньгах полковника, а это миллион долларов — астрономическая по тем временам сумма, находившаяся в будапештском отделении швейцарского банка. Доступ к ним давал только специальный код. Штайфер зашифровал его в своем последнем письме к жене в Польшу. Зашифровал номиналами марок,

наклеенных на конверт. Но служанка, не знакомая с приемами конспирации, этого не знала. Еще по дороге с почты она отклеила марки и раздала играющим на улице детям. Так от тех денег осталась только легенда.

Дариуш Балишевский отмечает в своих публикациях, что переговоры с немцами после падения Польши вел в Румынии и уже упоминавшийся министр иностранных дел полковник Юзеф Бек. Подчеркивает также, что немцы относились к нему вполне уважительно. Умер Бек в 1944 году и был похоронен в Бухаресте с воинскими почестями, при участии румынско-королевской гвардии. А Румыния, как известно, воевала на стороне Гитлера. Так что вряд ли гвардейские почести Беку были отданы без ведома немцев — главных на то время хозяев в румынской столице.

Польский историк Ежи Туронок также пишет, что на исходе минувшего века в берлинском архиве были найдены письма еще одного видного польского политика Станислава Мацкевича, который после поражения Франции в 1940 году тоже посылал немцам предложение создать польское правительство на оккупированной ими территории. Об известности и влиятельности этого человека красноречиво говорит то, что после войны он некоторое время возглавлял польское правительство в эмиграции. Уже в нашем веке этот документ обнаружен в германских архивах одним из преподавателей Европейского университета во Франкфурте и передан для публикации в парижские «Zeszyty Historyczne». По мнению немецких историков, это была самая весомая попытка коллаборации с третьим рейхом, а концепция взаимодействия с рейхом не была чуждой многим польским политикам, отметил журнал «Newsweek Polska». Меморандум, о котором идет речь на этот раз, был написан по-французски и начинается с констатации, что поражение Франции в июне 1944 года радикально изменило ситуацию на старом континенте и поставило польское сообщество в трудную ситуацию, способствующую укреплению в нем советского влияния. А это не соответствует интересам ни Германии, ни Польши, потому ограничение его — советского влияния — полезно обеим сторонам. Достичь этого можно двумя путями. Во-первых, добиться положительного отношения поляков к немецкой оккупации, во-вторых, создать коллаборационистское правительство. При этом, указывается в документе, такой шаг будет поддержан различными политическими движениями от националистов до части социалистов. Кроме Станислава Цат-Мацкевича, известного публициста, антикоммуниста и германофила, его подписали, в частности, Игнацы Матушевский — один из наиболее влиятельных последователей Пилсудского, Тедуш Белецкий — лидер националистического движения, Ежи Здзеховский — известный политик, бывший министр, вице-председатель центрального совета промышленности, торговли, горного дела и финансов, Эмерик Гутен-Чапский — депутат сейма и руководитель союза землевладельцев, политик Ежи Курцюш и даже заместитель председателя польского союза журналистов в эмиграции Станислав Стжетельский. Меморандум был датирован 24 июля 1940 года и направлен итальянскому послу в Лиссабон для передачи германскому послу барону Освальду фон Хойнинген-Хюне. Барон переслал его в Берлин. Окончательное решение о том, что делать с инициативой поляков принимал министр иностранных дел рейха Риббентроп. Он счел нужным оставить ее без ответа, а германскому послу в Португалии было сообщено, что «не ожидается изменений в структуре Генерал-губернаторства» — так после немецкой оккупации стала называться та часть польской территории, которая формально не была включена в состав третьего рейха, и большинство ее жителей не имело германского гражданства.

Но самое первое предложение о сотрудничестве с немцами и о создании польского правительства и польских воинских формирований в вермахте было сформулировано в Польше еще раньше: сразу же после той оккупации. Как написал еще в 2001 году в журнале «Политика» в статье «Война о войне» публицист С. Жерко, оно исходило от Владислава Студницкого. В нынешней Польше его

нередко пытаются представить как маргинала, но С. Жерко считает, что в его воспоминаниях «есть зерно правды». А в тех мемуарах, которые Студницкий писал, видимо, уже после войны в Лондоне, сказано: «Ко мне приходили люди из разных слоев общества, представляющие разные политические направления. Они считали, что следует начать переговоры с немцами, создать Национальный комитет, послать в Берлин делегацию, что надо спасать то, что еще удастся спасти. Уговаривали меня взять дело в свои руки».

Почему шли к нему? Да потому, что Студницкий в довоенной Польше был известен не только как историк, но и как завзятый германофил. И фундаментом для соглашения «должен был стать немецко-советский конфликт». Студницкий убеждал немцев: «У вас недостаточно людского материала для того, чтобы водвориться на территории и обеспечить безопасность коммуникационных линий. Без восстановления Польши, без воссоздания польской армии вы проиграете». Предполагалось, что польская армия будет воевать только на востоке, что она займет территории до Днепра, а немецкая — до Дона и Кавказа. Самому вермахту она никак бы не угрожала, поскольку в ней не предполагалось иметь танков и авиации, только пехоту и кавалерию. Все эти предложения были изложены в специальном «Мемориале по вопросам создания польской армии и приближающейся немецко-советской войны», который был подан немцам 20 ноября 1939 года. А в январе 1940 года В. Студницкий был принят Геббельсом, что тоже опровергает суждения о маргинальности названного германофила: стал бы министр пропаганды рейха тратить время на маргинала.

Нашлись ли бы в тогдашней Польше люди, готовые поддержать идеи Студницкого? С. Жерко отвечает на этот вопрос утвердительно: если появились желающие сотрудничать с Советами, то такой же призыв, брошенный в немецких офлагах для польских пленных, тоже встретил бы понимание. Были бы добровольцы и «на воле». Не секрет, что многие в Польше руководствовались правилом: хоть с дьяволом, но против русских. Именно так еще до войны выражался генерал Болеслав Венява-Длугошовский — личность тоже легендарная. Сначала учился на врача в университете имени короля Яна Казимира, затем в Берлинской академии художеств, работал частным врачом в Париже и там же стал одним из основателей Товарищества польских художников, а с началом Первой мировой войны стал военным, адъютантом Пилсудского и его любимцем, командиром кавалерийского полка и кавалерийской дивизии, послом в Италии. Он был весьма популярен, после интернирования польского руководства в Румынии несколько дней исполнял обязанности президента, ибо Игнацы Мосьцикий хотел передать ему функции руководителя государства, но этому резко воспротивилась Франция, имевшая своего кандидата — генерала Владислава Сикорского — и не желавшая в той политической ситуации видеть во главе Польши откровенного сторонника маршала Пилсудского.

Живая сила гитлеровцам, конечно же, была нужна, потому в СС они принимали добровольцев всех мастей. Летом 1941 года в Варшаве на улицах появились большие киноэкраны, на которых показывалось, как иностранные волонтеры отправлялись на восточный фронт. При этом звучали призывы: «Вся Европа борется с большевизмом... Рядом с немецким солдатом есть итальянцы, испанцы, бельгийцы, норвежцы, датчане, хорваты, словаки, венгры, румыны. А вы где, поляки?» От себя С. Жерко добавляет, что в СС были также арабы, турки, шведы, португальцы, ирландцы и даже канадцы с американцами. В этой связи стоит упомянуть, что состояло в СС более 50 тысяч голландцев, большинство из которых участвовало в блокаде Ленинграда и несколько тысяч попало в советский плен. В наше время уже откровенно говорится, что французов на стороне немцев тоже было больше, чем под началом генерала де Голля, возглавившего французское Сопротивление. А 638-й полк французских легионеров СС боролся с белорусскими партизанами на Могилевщине и Минщине, о чем в книге «Французский легион на службе Гитлеру» написал О. И. Бэйда. Принимались, разумеется, и поляки,

однако на создание отдельных польских воинских формирований рейх все-таки не решался. Против них выступал генерал-губернатор Ганс Франк, вполне однозначно выразился на эту тему и Геббельс в беседе со Студницким: «Знаем, что вы всегда были врагом России, но теперь вы нам нежелательны». Немцы даже посадили Студницкого на некоторое время в тюрьму Павяк. Позиция эта была неизменной до осени 1944 года, но в 1944 было уже поздно: польскими политическими думами завладели Армия Крайова, Армия Людова, Батальоны Хлопске, Народове Силы Збройне, за плечами которых были вооруженные акции, а главное — варшавское восстание, ставшее сплошным подвигом польского духа. Студницкого среди повстанцев не было. Он продолжал пропагандировать идеи польско-немецкого сотрудничества, а после войны заявил о желании защищать фельдмаршала Эриха фон Манштейна, представшего перед Нюрнбергским судом.

Так что во время суровых испытаний разные польские политики по-разному видели будущее своей страны и по-разному действовали в тех условиях. Одни боролись с гитлеризмом, другие делали попытки договориться с ним и найти собственное место под гитлеровским солнцем. К чести Польши настоящие ее патриоты пресекали подобные поползновения. Но поскольку поползновения все-таки были, нам правомерно поставить вопрос: стань те усилия успешными, что сулил бы такой поворот белорусскому народу? Ответ лежит почти на поверхности: ему пришлось бы вести целых три войны: против гитлеровцев, против поляков и между собой. Приведем доводы.

Как пишет Ежи Гжибовский в своей объемистой книге «Белорусы в польских регулярных армейских формированиях в 1918—1945», в польской армии в 1939 году находилось примерно 70 тысяч белорусов. Офицеров среди них почти не было. Стоит помнить также, что удельный вес даже рядовых белорусов в воинских частях строго регулировался. В некоторых родах войск их и вовсе не полагалось иметь. Например, в Корпусе охраны пограничья. Кроме коренных поляков, в том корпусе более приемлемы были немцы из сопредельных с Германией регионов. При этом Гжибовский отмечает, что 70 тысяч — цифра приблизительная, оценочная, поскольку в Речи Посполитой учет военнослужащих по национальному признаку не велся. Но надо помнить, что с началом войны была объявлена мобилизация, хотя полностью осуществить ее польские власти не успели. Ежи Гжибовский подчеркивает также, что белорусы в целом хорошо воевали против немцев и очень многие из них вместе с поляками разделили лишения плена. В их числе был и классик белорусской литературы Янка Брыль, написавший о том времени прекрасный роман «Птицы и гнезда».

Совсем не трудно представить, что выступи Польша на стороне рейха по схеме, которую вынашивал маршал Рыдз-Смиглы или Студницкий, то сотни тысяч тех пленных, оказавшихся в немецких лагерях, могли быть снова поставлены в строй, снова вооружены и направлены на восточный фронт. В таком случае западным белорусам в польских формированиях пришлось бы драться против белорусов, сражавшихся в Красной Армии, а также в советских партизанских отрядах, бригадах и соединениях. И белорусов в польских формированиях было бы куда больше, чем к началу войны, так как под ружье были бы поставлены не только недавние пленные. На оккупированных территориях польские марионеточные власти проводили бы мобилизационные мероприятия для пополнения своих воинских частей и соединений, как это впоследствии делала Армия Крайова.

Более жестко было бы разделено и партизанское движение. О том, что оно вспыхнуло бы и в одной и другой части Беларуси, сомневаться нет оснований. Да и реальная история Великой Отечественной войны показала, что первые партизанские отряды после ее начала возникли именно в западной части республики. Отряд В. З. Коржа дал бой фашистам уже 28 июня 1941 года. Как теперь известно, это был первый партизанский бой с гитлеровцами во всей Второй мировой войне. Однако есть утверждения, что в тот же июньский день имел схватку

с оккупантами и отряд М. Н. Чернака в Жабинковском районе, сформированный из местных жителей и бойцов-окруженцев. Правда, тот отряд не был так удачлив, командир его впоследствии погиб, потому и не стало столь известным «безумство храбрых» его бойцов. Еще в июле 1941 года ушли в лес два десятка комсомольцев из деревни Мотоль Ивановского района. Соединившись с группой окруженцев, они потом создали отряд, известный доныне как отряд имени Макаревича...

Подобных примеров десятки, если не сотни. Желающие драться с оккупантами в Западной Беларуси были, они в любом случае о себе заявили бы. Тем более, что живы были многие участники партизанских отрядов, дравшихся в двадцатые годы против польской власти. Другое дело, что в таком случае партизанская борьба была бы тяжелее, поскольку белорусам пришлось бы сражаться не только с немецкими, но и с польскими формированиями — воинскими, полицейскими. Впрочем, реальные факты свидетельствуют, что без этого и так не обошлось, поскольку в польском политическом менталитете по отношению к Кресам Всходним даже с началом Второй мировой войны ничего не изменилось. На западнобелорусские земли одинаково смотрели со всех польских политических колоколен — в партиях, движениях, группах: как на собственность. Яркий тому пример — «Тезисы польской внешней политики», утвержденные польским Советом Министров, в котором уже не было сторонников Пилсудского или было их мало, в конце августа 1940 года в эмиграции — в Лондоне. Казалось бы, «пилсудчики» ушли в политическую тень, новое правительство состоит из людей, декларирующих свою демократичность и прогрессивность, но в том документе сказано: «Нынешние границы советской оккупации **не имеют оснований ни этнографических, ни якобы освободительных** — (выделено мной. — *Авт.*)... Фундаментальным условием выравнивания отношений между Польшей и Россией должно быть возвращение к польско-российской границе перед сентябрем 1939 года». Если исходить из упомянутых «Тезисов...», то никаких белорусских земель, никаких белорусов, хотя их там жило несколько миллионов человек, попросту не было.

О том, как складывались белорусско-польские отношения во время Второй мировой войны в самих Кресах, красноречиво говорят факты и суждения, приведенные в книге польского историка Ежи Туронка «Беларусь под немецкой оккупацией», выпущенной в 1993 году издательством «Książka i Wiedza» («Книга и знание»). Вот что он пишет о польском понимании сложившейся с началом войны ситуации: «Основной задачей было стремление к созданию в условиях оккупации такого состояния, которое фактически содействовало бы новому присоединению западнобелорусских земель к Польше. Эта сверхзадача в глазах польских государственных деятелей освещала множество средств, рассчитанных на укрепление собственных позиций и исключение из политической игры белорусов, которые вне зависимости от их ориентации... рассматривались... как потенциальная преграда на пути к восстановлению рижской границы». Стремление к достижению этих политических целей определило доброжелательное восприятие немецких войск польским населением и повлияло на его активное участие в создании новой администрации и полиции, подчеркивает автор. Овладение территориальным аппаратом оккупационной власти польские деятели воспринимали в качестве важной предпосылки для восстановления экономических, культурных, а в будущем и политических позиций.

Надежды на возвращение ситуации, которая была перед сентябрем 1939 года, стимулировали возвращение на Беларусь вслед за немецкой армией и предвоенных польских управленцев... Они пользовались репутацией потерпевших от советской власти, а кроме того, определенная часть их знала немецкий язык. В той ситуации «они легко получали согласие немецких комендантур на организацию администрации и полиции. Как показывают рапорты Айнзатцгруппы В, процесс занятия поляками мест в администрации начался сразу же по вступле-

нии немецких войск и в короткое время привел к тому, что практически на всех ключевых должностях в городских и районных (уездных) немецких управах в Западной Беларуси оказались поляки. Главным образом под командованием поляков создавалась и местная вспомогательная полиция, численность которой была значительно большей, чем на востоке Беларуси... Преобладание поляков на руководящих должностях одновременно сделало польский язык языком управления и предопределило польский характер этих структур».

Ежи Туронок приводит несколько «иллюстраций с мест» из польских, белорусских и немецких источников.

Белостокский округ. «В настоящее время почти все административные посты, за исключением руководящих, занимаемых немцами, находятся в руках поляков, поскольку оккупант встал на позицию возвращения к работе тех людей, которые на этих местах находились в 1939 году... Вспомогательную службу несет местная полиция, организованная исключительно из польских полицейских...»

Гродно. «Административный аппарат в Гродно почти исключительно в польских руках. Хорошее взаимодействие с немецкими управлениями. Служба порядка 72 человек — исключительно поляки».

Брест. «...Неудовольствие из-за того, что администрация доверена полякам».

Лидский округ. «Поляки немедленно установили контакты с немецкими военными властями и начали занимать все должности в окружной, уездной и гминной администрации, в полиции, а также в немецких управлениях... Тем самым с самого начала немецкой оккупации административная и полицейская власть в уездах и гминах оказалась полностью в польских руках».

Вилейский округ. «В Вилейском уезде можно было видеть такие удивительные вывески, как «Участок польской государственной полиции». В уездных аппаратах, в сельских школах, полиции и гминах — везде польский язык... Ошмянский уезд поляки воспринимали как своего рода «польскую республику». Вся администрация, полиция, образование были заняты поляками. В Молодечно руководителем уезда был бывший ротмистр польской кавалерии Виктор Уневич,.. его заместителем — был Витольд Бурачевский, бывший референт службы безопасности в Вилейке, начальником полиции был офицер польской «двуйки» (довоенная польская контрразведка — *Авт.*) Карчевский...»

Барановичи и Слоним. «Административный аппарат — польский».

В то же время Ежи Туронок отмечает, что в восточной Беларуси немцы столкнулись с серьезными трудностями при формировании полиции и административного аппарата. И поясняет, что «западнобелорусская» активность была «преимущественно результатом поведения польского населения, стремящегося к реализации собственных национальных интересов».

Белорусско-польский конфликт становился неизбежным еще и потому, что возвратившиеся бывшие хозяева имений требовали возврата имущества, национализированного Советской властью. Ежи Туронок приводит выдержку из подпольной польской газеты «Nowe Drogi»: «...Летом 1941 г. в опустелые дворы стали возвращаться «паны»... Некоторые возвращались разъяренными, полными желания ответа и мести за то, что было. Начались жаркие сцены насилия во время возвращения движимого и недвижимого инвентаря. Были многократные обращения к немецким властям за помощью в возврате права собственности. Немецкие власти охотно вмешивались и «били морды» крестьянам, защищая «обоснованные права польского пана».

Но эти сцены, отмечает историк, не ограничивались «битьем морд». Разведка Союза вооруженной борьбы — предшественника Армии Крайовой — доносила: «На белорусские территории под охраной немецкой жандармерии часто возвращаются землевладельцы. Это вызывает конфликты с крестьянами... В окрестностях Лиды... жандармы застрелили более десятка крестьян». При этом немецкие службы безопасности, комментирует Е. Туронок, отдавали себе отчет в том, что поляки действуют в плановом порядке, добиваясь «восстановления польскости на

Западной Беларуси и возвращения предсентябрьского status quo». Польская сторона третировала белорусов за их «действительный или мнимый большевизм».

Такие действия в 1941 году охватили значительные территории и вызвали много жертв, особенно среди интеллигенции. «Белорусы вообще боялись попадаться немцам на глаза в то время, как поляки встречали их с энтузиазмом, благодаря их за освобождение от большевиков и уверяя, что только поляки являются настоящими друзьями западной культуры и самих немцев, а вот белорусы — прирожденные большевики и ориентируются на восток. Первая кровь, которая пролилась от рук немецкого оккупанта, была белорусской». При этом историк, ссылаясь на белорусские же коллаборационистские источники, указывает: среди белорусов утвердилось мнение, что двуличная политика местных поляков «продиктована центральными польскими властями».

Такими же, разумеется, установками на Кресах руководствовалась Армия Крайова — польские подпольные воинские формирования, подчиненные правительству Речи Посполитой в Лондоне. На втором этапе войны многие ее части, расположенные на территории Западной Беларуси, пошли на открытое сотрудничество с гитлеровцами, получая от них оружие и боеприпасы для борьбы против белорусских партизан. В ряде случаев они просто подменяли немецкие гарнизоны. Притом ими подавлялись не только советские партизаны, но и действия белорусских коллаборационистов. Белорусы в любой своей ипостаси попросту нигде не должны были высовываться. Все это соответствовало директиве от 14 мая 1943 года: «Каждый поляк должен помнить, что белорусы — это враги польского народа... Поляки должны всеми способами компрометировать белорусов перед немцами, добиваться арестов белорусов для того, чтобы потери у белорусов были наибольшими».

Красноречивые свидетельства на сей счет содержатся в сборнике документов и материалов «Польша-Беларусь (1921—1953)», изданном Институтом истории Национальной академии наук Беларуси и Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции республики. Один из них — «Отношение партии гренадеров к немецким властям и войскам», принятый на собрании этой структуры в деревне Лугомович Ивьевского района 4 мая 1943 года, весьма красноречив:

«1. Стараться за всякую цену быть в самых хороших отношениях со всеми гражданскими немецкими властями для того, чтобы получить доверие с их стороны...

3. Потому что немцы относятся очень вражески к коммунистам, мы должны это использовать для своих целей, называя коммунистами всех белорусских народных деятелей, которые всегда были и теперь являются серьезными врагами поляков. Пусть их бьют немцы, а мы будем на стороне как будто проявлять сочувствие к невинным жертвам... Для проведения этого нужно собирать все факты, стараться их увеличивать и даже выдумывать (только умело), приставить своих свидетелей, написать заявление и передать в жандармерию...

4. За посредничеством своих людей просить полицию и немцев жечь белорусские деревни под предлогом, что они помогают партизанам. Отдавать в руки полиции немцев (так в тексте — Авт.) лучших политических деятелей белорусских...

5. Чтоб отношение к белорусам было еще более вражеским — печатать на машинке специальные листовки...

6. Стараться помочь немцам словить несколько советских партизан как доказательство нашего сотруничества с ними...»

Лето 1943 года стало переломным во взаимоотношениях советских и польских вооруженных формирований. В первые два года войны они в большинстве регионов Западной Беларуси как-то уживались, не нарушая экстерриториальности один другого. Если возникали трения, проблема разрешалась во время встреч командиров. Случались и совместные операции. В ходе одной из них был разгромлен гарнизон в Ивенце. В редких случаях польские партизанские отряды входили в состав советских бригад и соединений. В частности, был такой отряд

в Пинском партизанском соединении, которым командовал В. З. Корж. Он носил имя Костюшко, отряд возглавлял Чеслав Клим, однако это формирование не имело никакого отношения к Армии Крайовой.

Надо подчеркнуть, что сама Армия Крайова претендовала на то, чтобы считать себя именно армией. Ее подразделения назывались взводами, ротами, батальонами, полками, дивизиями, которые подчинялись командованию округов. В Западной Беларуси больше всего их было на Гродненщине и Минщине. На Брестчине, где польское население не было многочисленным, структуры АК ограничивались буквально несколькими десятками человек. Однако во всех регионах, если говорить о взаимоотношениях между советскими отрядами, бригадами и формированиями Армии Крайовой, то лучше сказать, что они чаще всего не столько уживались, сколько терпели своих визави, поскольку на положение вещей и боевые задачи смотрели с разных точек зрения. Если советское партизанское руководство всячески стремилось к объединению сил и к действиям по согласованному плану, то командиры АК ревниво оберегали свою самостоятельность. Вдобавок ко всему обостряло ситуацию и то, что те и другие считали Западную Беларусь своей.



Рыдз-Смиглы получает маршальскую булаву из рук президента Польши Игнацы Мосьцицкого 10 ноября 1936 года.

Заметно усилились трения к середине 1943 года. Польскому политическому руководству и военному командованию в Лондоне стало совершенно ясно, что фронт неуклонно приближается к Беларуси, и оно дало установку своим командирам подчеркивать, кто «в доме хозяин». Белорусских партизан такая установка устроить никак не могла, они стали предпринимать меры по усилению давления на поляков. А в октябре 1943 года бойцы одного из подразделений базировавшегося в Столбцовском районе батальона АК, эскадрона, которым командовал хорунжий З. Нуркевич, расстреляли десяток партизан еврейского отряда Зорина, который входил в бригаду имени Пархоменко Барановичского партизанского соединения. После этого начальник Центрального штаба партизанского движения П. К. Пономаренко дал приказ разоружать формирования Армии Крайовой. Тлевшее пламя разногласий переросло в пожар, полилась кровь. Подлила масла в огонь и «катыньская тема», которая получила широкую огласку в польских политических и военных кругах.

В декабре 1943 года был разоружен столбцовский батальон, который нередко называют рубежевичским, поскольку он базировался вблизи деревни Рубежевичи. Его командование было арестовано, а личный состав небольшими группами распределен по советским отрядам. Избежал этого только насчитывающий четыре десятка человек взвод Нуркевича, к которому присоединился поручик А. Пильх. Он прошел специальную подготовку в Великобритании и был заброшен

в немецкий тыл в начале года. Таких в Польше называют «тихотемными». Этот «десантник» и принял на себя общее командование. Вскоре он вступил в контакт с немецкими оккупационными и военными властями и в течение нескольких месяцев смог восстановить численный состав батальона. Но тот батальон воевал уже только с советскими партизанами.

Знакомство с историей тех лет невольно подталкивает к выводу, что во время Второй мировой войны Польша имела две Армии Крайовых. Одна из них действовала в самой Польше и в меру сил и полученных установок сражалась против фашистов, вторая — в Беларуси боролась против белорусов. Заслуги батальона АК, который базировался в Столбцовском районе, перед немцами были столь значительны, что с приближением Красной Армии в 1944 году, это формирование пешими колоннами, при полном вооружении, в польском военном обмундировании, двинулось на запад. На виду у немцев маршировало 860 человек, с ними двигался обоз, насчитывающий 150—200 подвод. И никаких препятствий гитлеровцы чинить не стали, наоборот, предоставили переправы через Западный Буг.

Современная польская пресса пишет, что у командира батальона поручика Пильха на сей счет была специальная бумага от минского СД. Петр Глуховский и Мартин Ковальский в ежедневном издании «Gazeta wyborcza» в январе 2009 года опубликовали статью «Польско-русская война под немецким боком», в которой уточнили картину: впереди колонны, состоявшей из четырех эскадронов кавалерии, пулеметной роты и трех пехотных рот, ехали поручик Пильх и несколько немцев в форме. Они цитируют воспоминания самого Пильха о том, что «были случаи, когда надо было пересекать главные магистрали, в том числе железнодорожные, и поляки «делали это, не колеблясь, нагло». А Ежи Туронок тоже вполне конкретен. Он указывает, что еще 9 декабря 1943 года Адольф Пильх — псевдоним «Гура» — подписал с немцами соглашение, по которому получал оружие, патроны, которые «доставлялись из Минска до конца оккупации».

В Лиде на такой же договор с гитлеровцами пошел командир наднеманской группировки АК Юзеф Свида — псевдоним «Лех», который «в течение января, февраля и марта 1944 года получил пять транспортов с оружием». Активно сотрудничали с оккупантами командиры АК — поручик Грациан Фруга, поручик Зыгмунт Шендзеляж, а также полковник Александр Крыжановский, части которого действовали на Новогрудчине. Вот еще одна цитата: «На переломе 1943—1944 годов создалась ситуация, в которой ряд уездов новогрудской земли был полностью в руках польских. Немцы, видя антибольшевистскую активность польского войска, не трогают польских подразделений, во многих случаях оказывают им помощь... Щучинский уезд, который входит в состав лидского гебитскомиссариата, является кусочком РП, на котором местные немецкие власти оказывают максимум понимания и терпимости к организованному и вооруженному польскому сообществу... Немецкая власть ограничивается городками, красные — на другой стороне Нёмана». В марте 1944 года гауляйтер Готтберг на одном из совещаний в Минске заявил, что на немецкую сторону перешли формирования АК под командованием А. Пильха, Ю. Свиды, Ч. Зайончковского. Правда, при этом он все равно назвал их бандами.

Поскольку в наше время нередко говорится, что в подразделениях Армии Крайовой на территории оккупированной Беларуси воевали и белорусы, следует сказать и о мобилизациях в ряды АК. С разрешения немецких властей — того же генерала СС Готтберга, который сменил погибшего гауляйтера Кубе, — части АК проводили их регулярно. Повестки призывникам вручали деревенские старосты. В результате численность частей АК в Новогрудском округе достигла 7,7 тысячи человек, из которых, отмечает Туронок, 40 процентов составляли православные белорусы. Польские власти методами военного призыва ставили их в свои шеренги. Значительно меньшим был такой процент в тех местностях, в которых гауляйтер Вайсрутении Готтберг не разрешил АК осуществлять мобилизаций. Заметим в этой связи, что, осуществись намерение Рыдз-Смиглого

создать польское коллаборационистское правительство, такое разрешение и не потребовалось бы.

Вот как рисовал общую картину польско-немецкого сотрудничества польский публицист Юзеф Мацкевич: «Итак, есть договор. Немцы втихаря дают нам оружие... Взамен желают, чтобы мы разогнали советскую партизанку. Если наше подразделение встречается с жандармами на дороге, то одни смотрят в одну сторону, другие — в другую... А в последнее время лидский гебитскомиссариат отдал в наши руки весь свой «Гебит» взамен на очищение уезда от большевиков... Впрочем, уже дошло до того, что наш комендант в полном обмундировании, три звездочки на фуражке, «маузер» на ремне... средь белого дня приезжает к немецкой комендатуре в местечке. Выходит немецкий комендант, отдает ему честь. Идут на совещание. Выходят, козыряют друг другу. Наш садится и отъезжает к лесу. Вот так это делается».

В уже упомянутом сборнике документов «Польша-Беларусь (1921—1953)» опубликована «Докладная записка заместителя командира партизанской бригады им. Кирова начальнику оперчекистской группы по Лидской зоне о взаимодействии Армии Крайовой с немецкими оккупационными властями», датированная 19 марта 1944 года. В ней тоже сообщается, что «белопольские банды... официально и открыто связаны с немецкими властями г. Лиды. Свободно круглые сутки ходят и разъезжают по гор. Лиде с полным вооружением, даже вместе с немцами в одной подводе».

О «плодах» такого сотрудничества говорят и цифры. Как впоследствии утверждал сам поручик Пильх, с декабря 1943 до конца июня 1944 года — всего за полгода — бойцы его подразделения убили на Столбцовщине около шести тысяч «большевиков». Вот только откуда было взяться тысячам тех большевиков в Столбцовском районе. В лучшем случае большевиков с партбилетами могло быть шесть десятков, а может и всего шестнадцать. Во всем Полесском партизанском соединении, как следует из отчета его командира И. Д. Ветрова, по состоянию на 1 сентября 1943 года насчитывалось только 688 большевиков, то есть коммунистов, которые находились в 52 отрядных партийных организациях. А ведь Полесское партизанское соединение действовало на большей части нынешней Гомельской области и насчитывало не менее десяти тысяч бойцов. По данным, которые хранятся в Национальном архиве Беларуси, за весь 1942 год подпольными организациями на территории республики в партию было принято 703 человека. В январе 1944 года в отряде имени Димитрова, где было почти триста бойцов, насчитывалось восемь членов и десять кандидатов в члены партии. О партийных организация в отрядах имени Гастелло и «Советская Белоруссия» Брестского соединения в отчете на имя командира этого соединения С. И. Сикорского вообще ничего не говорится.

Так что речь о тысячах большевиков-партийцев в одном только районе — явное преувеличение. Реальные факты свидетельствуют о том, что столько не было их во всей Беларуси. Потому тот же Ежи Туронок с уверенностью говорит, что преобладающее большинство убитых на Столбцовщине людьми Пильха — это мирные белорусские граждане. А ведь названный район не был исключением. В окрестностях Лиды в феврале-апреле от рук аковцев тоже погибло несколько тысяч человек, в том числе «только в одной белицкой гмине — 480...» В Заславльском и Дзержинском районах отряды АК уничтожили 11 белорусских деревень. В том же сборнике «Польша-Беларусь (1921—1953)» опубликован «Акт комиссии Щучинского межрайцентра Барановичской области о расследовании преступлений, совершенных бойцами Армии Крайовой над жителями Желудокского, Василишковского и Щучинского районов» от 31 марта 1944 года. Приведем его полностью, сохраняя терминологию и пунктуацию:

«1944 г., марта 31 дня, Комиссия в составе председателя Федорова А. Н., членов Южакова Д. С. и Рыжкова И. составили настоящий акт о злодеяниях, совершенных над мирными жителями белопольскими бандами:

1. 22.2.44 г. белопольской бандой расстрелян крестьянин дер. Береговцы Желудокского р-на Шершень Юлиан Дмитриевич.

2. 25.2.44 г. в д. Турейск белопольской бандой сожжено 30 домов и 30 сараев.

3. 20.8.43 г. белопольской бандой убит крестьянин д. Решетники Щучинского р-на Протокович О. С., как бывший советский служащий.

4. 8.2.44 г., возвращаясь из Желудка, гр-не д. Досная Альшейвский П., Дрозд в пути были убиты белополяками.

5. 25.2.44 г. белополяки сожгли дом гр-на Слушко Ю. В. в д. Турейск.

6. 18.2.44 г. белополяками расстрелян крестьянин д. Карповичи Карпович О., бывший советский военнослужащий.

7. 25.2.44 г. белополяками убит крестьянин д. Крупово Дробниц А., как бывший советский служаший.

8. 25.2.44 г. белополяками расстреляны граждане из д. Белогорцы: Позниак В. М., Слушко Н. Д., якобы, за то, что они ушли жить из д. Белогорцы в д. Рыжки.

9. 28.2.44 г. белополяками расстреляны граждане из д. Сухари: Косица В. В., Косица Ю. В.

10. 29.2.44 г. белополяками убит крестьянин д. Самлаги Асовик Михаил.

11. 29.2.44 г. белополяками расстрелян крестьянин д. Голынка Масевич В. И.

12. 27.2.44 г. белополяками расстреляны: Позниак С. С. и 3 человека семьи, Прокопович В. и три человека семьи, в то же время сожжено 10 домов и 4 сарая, убитые сгорели в домах.

13. 18.3.44 г. белополяками расстрелян гражданин д. Баличи Черняк И. за то, что он при советской власти служил фингагентом».

В акте, составленном той же комиссией 30 апреля 1944 года года, говорится, что 6 апреля бойцами АК расстреляны крестьяне д. Русаки Заянчковский Антон, Заянчковская Ата, Заянчковская София, Козловский Николай; в д. Турейск Гриц София, в д. Крупово крестьяне Дробыш Антон, Дробыш Анастасия; в д. Заборье Лазовик Маланнья «за то, что ее муж работал финагентом», 7 апреля — «расстреляны крестьяне д. Быковка Бакун Анна, Бакун Владимир, Гром Юстина».

Не требует комментариев и выдержка из материалов спецгруппы НКГБ БССР «Дальние», в которой говорится, что: «польскими национальными (так в тексте — *Авт.*) организациями в Августовском, Ломжинском, Кнышинском, Лапском, Высоко-Мазовецком и других районах уничтожены все советские военнопленные, семьи советских служащих, не успевших эвакуироваться, весь советский актив и даже белорусские семьи местных жителей, живших среди поляков.

Националистическими организациями уничтожаются советские десантные разведывательные группы. Уничтожаются мелкие партизанские отряды.

Польским националистическим организациям имеется указание из Лондона вести непримиримую борьбу с советскими парашютистами (оперативно-разведывательными группами и зачинщиками партизанского движения)».

Справедливости ради, добавим, что польское правительство в Лондоне «братства» отрядов АК с немцами все-таки не одобрило, но тот же Пильх и другие командиры это неодобрение просто проигнорировали. Правда, когда батальон из-под Столбцов достиг Варшавы и вошел в контакт с местными командирами АК, те поначалу отказывались с Пильхом сотрудничать, зная, что он и его люди скомпрометированы связями с гитлеровцами. Но, поскольку прибыла немалая сила да еще и обстрелянная, разбирательство решили отложить до завершения войны, посоветовав Пильху сменить псевдоним. Тот отказался от «Гуры» (Горы) и стал «Долиной». А до разбирательства и вовсе не дошло. В сентябре 1944 года батальон, включенный в Кампиносскую группировку, был окружен немцами и разбит. Спастись удалось всего восьми десяткам бойцов из полутора тысяч. В числе счастливчиков был и Пильх, который в январе 1945-го через Чехословакию ушел в Великобританию, где и жил до своей кончины в 2000 году. Впервые посетив уже постсоциалистическую Польшу, он был очень удивлен, когда его назвали «борцом с гитлеризмом», поскольку сам себя считал «борцом с Совета-

ми» и везде подчеркивал, что только в январе-июне 1944 года он провел около 200 боев с советскими партизанами.

К счастью, белорусско-польский конфликт не стал всеобщим. И во многом, если не в главном, этому способствовал именно поход Красной Армии, начатый 17 сентября 1939 года, который привел к воссоединению белорусского народа и укрепил в белорусах чувство единого дома, за который они готовы были драться. Стремление белорусов жить единым домом и в соответствии с собственными представлениями весьма способствовало их сплочению во время войны. Так что белорусам лучше всего прямо говорить: спасибо, 17 Сентября, спасибо за воссоединение, за возможность стоять в одном строю в годы трудных для народа испытаний. Однако при этом надо обязательно добавить, что тот Сентябрь был очень нужен не только с национальной точки зрения, поскольку, во-первых, привел к воссоединению белорусского народа, во-вторых, почти на два года задержал гитлеровскую оккупацию почти половины белорусских территорий и значительной части украинских. Он был важен и для большого государства — Советского Союза, так как на триста километров отодвинул на запад его государственную границу. В полезности такого шага и его обоснованности ничуть не сомневался и Уинстон Черчилль, который не отличался симпатиями к СССР, но которому не принято отказывать в здравом смысле. Однако есть и еще один нюанс, не менее важный, на который обратил внимание уже американский специалист по европейской истории профессор Йельского университета Тимоти Снайдер. Тем, кто подчеркивает, что сентябрьский поход Красной Армии стал следствием заключенного в августе 1939 года советско-германского договора, профессор дал ответ исторического порядка. В своей книге «Реконструкция наций: Польша, Украина, Литва, Беларусь» он резонно отметил, что советско-германский договор, подписанный в августе 1939 года, дезавуировал Люблинскую унию, служившую полякам правовым обоснованием их претензий на земли к востоку от Буга: «1939 год перечеркнул 1569». Иными словами, если бы в 1921 году, отталкиваясь от той унии, Польша не загребла не свое в Беларуси, на Украине и Литве, возможно, никакой поход в сентябре 1939 и не потребовался бы.

С какой стороны не подойди, тот поход был судьбоносным.

А в Польше продолжаются дискуссии о том, как надо было вести себя во время Второй мировой войны. Их новый всплеск вызвали суждения историка Петра Зыховича. Он всколыхнул общественное мнение своей книгой «Пакт Бек-Риббентроп». Как написала «Gazeta wyborcza», в ней автор утверждает, что надежда на помощь Англии и Франции была страшной ошибкой, что надо передать Гданьск рейху, согласиться со строительством экстерриториальной автострады через польское Поморье, которая бы соединила Пруссию с остальными германскими территориями, а затем вместе напасть на СССР, что «поставило бы точку на империи Сталина».

В прошлом году он издал еще одну книгу, которая называется «Помешательство-44». В ней Зыхович пишет о ненужности варшавского восстания и напрасных жертвах поляков. По его мнению, в 1944 году полякам надо было вести себя абсолютно пассивно, со стороны наблюдая «за битвой тиранов», поскольку «независимость можно было вернуть только после уничтожения обоих врагов». Вопрос, правда, в том, как можно остаться пассивным, если противоборствующие стороны ведут пальбу уже в твоем доме...

Предположения о том, как могла повернуться и война и сложиться польская судьба — по принципу «что было бы, если бы» — затронули не только польскую журналистику, литературу, но и фильмографию. Об этом в журнале «Политика» в октябре 2013 года польский пубицист Адам Кшеминьский опубликовал статью с говорящим сам за себя заголовком «Мания величия» с такой же красноречивой рубрикой «Лечение исторических комплексов». Она полна великолепной иронии и глубоких мыслей. В ней он обращается к фильму режиссера Махульского «AmbaSSada» («ПоССольство») и книге Земовита Щерка «Речь Посполитая

победоносная». Фильм построен на «путешествии во времени», а «транспортом» для такого путешествия стал лифт в доме по улице Пенькной (Красивой), в котором до войны размещалось германское посольство в Варшаве. В этом доме на одном этаже — 1939 год, а переехав на другой, его обитатели попадают в 2013. Именно так один из предвоенных сотрудников посольства, «оказавшись» в 2013 году, узнал, что его страна в 1945 году войну проиграла, о чем и доложил, вернувшись в 1939-ый, своему берлинскому руководству. А то информировало Гитлера. И фюрер тайком прибыл в Варшаву, чтобы узнать свою судьбу. Попав в руки «польских ясновидцев», он после совсем не сильных пыток согласился остановить войну, но, выйдя на крышу посольства, был убит немецкой бомбой. Оставшись без фюрера, немцы войну проиграли. Сталин своих войск к Бугу не двинул. Польша осталась с тем, что имела, с Вильно, Львовом, даже приобрела Щецин, Вроцлав. И в ней теперь нет Дворца науки и культуры, который в польском сознании напрямую связан с именем Сталина, зато много «вытянутых вверх небоскребов и евреев с пейсами».

Впрочем, Адам Кшеминьский отмечает, что авторство в таком «подходе к истории» принадлежит все же не полякам, а, как и на той войне, тоже немцам. И вспоминает немецкий фильм «Отель Люкс», в котором Сталин и Гитлер пожелали у ясновидцев узнать свое будущее, но потеряли усы, а вместе с ними и харизму. А еще публицист называет Ханнеса Штайна, который в своей «басне» под названием «Комета», задался вопросом, что было бы, если наследник престола Австро-Венгрии Франц Фердинанд, с убийства которого началась Первая мировая война, не поехал в госпиталь, в котором лежал его раненный офицер, а вернулся из Сараево в Вену. В результате не случилось бы двух мировых войн. Сталин стал бы грузинским прорицателем, Гитлер рисовал бы пейзажи, США за океаном жили бы сами по себе, а Япония с Китаем неустанно воевали бы, но на ту войну мало кто обращал бы внимание. А немцы свою энергию направили бы на технологии и освоили бы Луну, на обратной стороне которой похоронили бы Энштейна и установили громадный телескоп. Анна Франк стала бы известной писательницей, Януш Корчак — большим педагогическим авторитетом. В Австро-Венгрии с австрийцами и мадьярами мирно уживались бы евреи, русины, поляки, чехи и другие народы. В Боснии продолжился б «исламский эксперимент», о Турции мало кто и слышал бы. Но громадный телескоп на Луне обнаружил большую комету, которая мчалась к земле и угрожала ей смертельной опасностью. Все оказались в страхе перед Армагедоном. В этой ситуции австро-венгерский цесарь молится о душах подданных, а люди распутные идут в последний раз в постель или в пивную. К счастью, комета пролетает мимо.

Свою «басню» в своей «Буре» нарисовал еще в 2009 году и Мацей Паровский. Страшная непогода осенью 1939 года задержала броневые лавины вермахта. Французы тоже не сдвинулись с места. Но так же сделали и Советы. Потом в Берлине и Москве состоялся путч. Сталина интернировали в Катынь, Гитлера вывезли на остров Святой Елены, где провел свои последние дни Наполеон. А писатели Камю, Эренбург, Оруэлл, педагог Корчак и кинорежиссер Хичкок, работавший на британсткую и советскую разведки Ким Филби и полковник Штауфентерг, сначала до потери руки и глаза (не пульса) воеваший за «дело Гитлера», а потом организовавший на него покушение, собрались в 1940 году в Варшаве на конгресс интеллектуалов...

А вот на обложке книги Земовита Щерка «Речь Посполитая победоносная» на фоне Брандербургских ворот изображены Черчилль, Рузвельт и Пилсудский, который был бы в тройке победителей, если бы французы и англичане в сентябре 1939 года перешли Рейн. Тогда Сталин не двинулся бы к Бресту и Гродно. Польская оборона стабилизировалась бы на линиях рек, через Румынию пришла бы военная помощь, а руководитель германского абвера адмирал Канарис сверг бы Гитлера. Польша превратилась бы в сверхдержаву. Но стала бы она счастливой? Какой была бы его страна, задается вопросом автор, если осуществились поль-

ские амбиции, воображения? Ведь не надо забывать, напоминает он, что до войны Польша была слабой и отсталой, что в ней было много национальной вражды, что она, «еще надавно будучи полуколонией Пруссии, России и Австрии, имела собственные колониальные амбиции». Многим снилось региональное лидерство, были и такие, что мечтали о возврате славянских земель по Гамбург. Стала бы та «польская Европа» счастливой, более уравновешенной, нежели современный Евросоюз? Как она строила бы отношения с соседями? И Земовит Щерек дает на эти вопросы отрицательный ответ. Потому что сверхдержава Польша имела бы дело с зависимыми от нее, но плохо относящимися к ней странами на юге, постоянными украинскими и белорусскими бунтами на востоке, больше похожими на терроризм в Ирландии. Потому что «польские оккупанты везде встречали бы только презрение». Заканчивается книга рассказом о том, как польская супердержава разваливается в 2013 году. А Адам Кшеминьски, оценивая ее, отмечает, что «Речь Посполитая победоносная» не является «проявлением националистической мании величия вечных неудачников». Наборот, это «до абсурда доведенная деконструкция таких мечтаний». И, наряду с фильмом «АмбаССада», считает ее «развлекательным чтением» в отличие от книг Петра Зыховича ««Пакт Бек-Риббентроп или как поляки могли вместе с Третьим Рейхом победить Советский Союз» и «Помешательство-44», написанных «со злостью вечно проигрывавших». И призывает выбросить из головы «сны о могуществе», давая понять, что тот вариант, который поляки имеют теперь, является оптимальным.

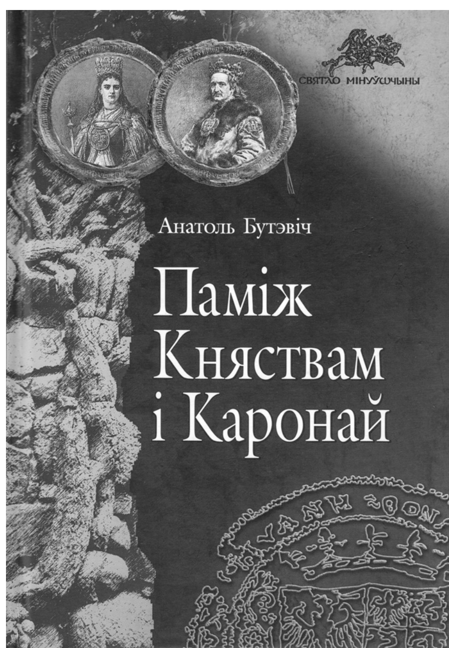
Имеют ли приведенные исторические фантазии какое-либо отношение к судьбе белорусов в годы Великой Отечественной и в целом Второй мировой войны? Скорее всего, да. Но только в том смысле, что могут помочь осознать весьма важное: в отличие от поляков, многие из которых считали и считают, будто в канун той большой войны у них был некий выбор, у нас никакого выбора не было. И народ это уловил лучше политиков.

Продолжаются у наших соседей и споры о маршале Рыдз-Смиглом. Пожалуй, никто не сомневается только в том, что это была трагическая личность. Иногда задаются вопросы, почему его именем названы улицы. Появляются также публикации о том, что его жена тогда в 1939 году не все имущество довезла до Румынии, а потом до Франции, что часть его было спрятано в тайниках у лесной сторожки в окрестностях Люблина в имениях графа Кароля Рачиньского, который доныне известен «как пионер автомобилизма в Польше». Люблинский тележурналист Адам Сикорский утверждает, что к той сторожке, которая больше была похожа на охотничий дворец, транспорты с ценными вещами из резиденции польского верховного главнокомандующего прибывали не раз, что есть признания военных, закапывавших там тяжелые ящики, которые потом выкрал владелец местной лесопилки, активно сотрудничавший с немцами, но пропавший в той войне. Один из столов, принадлежащих Рыдз-Смиглому, потом использовался немецким чиновником в Радзыне Подлясском. Есть, якобы, и свидетели, утверждающие, что на одну ночь приезжал туда из Бреста или прилетал легкомоторным самолетом сам маршал Рыдз-Смиглы. Впрочем, Дариуш Балишевский все это относит к местным легендам...



С точки зрения рецензента

От Кревской до Люблинской унии



Новое произведение Анатоля Бутевича «Паміж Княствам і Каронай» (Мн: Издательский дом «Звязда», 2013) — вторая, документальная, часть исторического романа «Каралева не здраджвала каралю». Если в первой, беллетристической, книге рассказывалось о личной жизни Владислава-Ягайлы, а также о различных интригах, сопутствовавших его правлению, то вторая часть, как мы уже отметили, документальная. В книге четыре раздела: «Краіны, княствы, каралеўствы», «Часапіс», «Ягелонская дынастыя» и «Персаніфікаваны Ягайлаў час». В книге представлены ход истории от основания Полоцка до третьего раздела Речи Посполитой, списки имен самых влиятельных в истории Княжества и Короны лиц, краткое жизнеописание каждого представителя династии Ягеллонов. Списки и краткая биография великих князей литовских, князей московских, киевских, владимирских, царей и императоров российских, королей польских, а также императоров священной Римской империи. Как заметил сам автор в интервью, посвященном выходу первой книги в 2010 году, говоря о второй части: «Там храналогія падзей, Ягайлаў часапіс — ад Крэўскай да Люблінскай уніі. Там біяграфіі сучаснікаў Ягайлы — разам з легендамі, паданнямі, дэталямі, а не проста і суха».

Книга изобилует различными интересными фактами. Наверное, не все знают, что Ягайло отошел к праотцам в возрасте 82 лет из-за... любви к пению птиц: «Памёр Ягайла пасля таго, як майскімі начамі ў лясах каля Львова слухаў спевы салаўёў — гэта было захапленне праз усё ягонае жыццё — і прастудзіўся, вылечыць не змаглі». Еще одну интересную деталь открывает читателям Бутевич: Ягайло похоронен в Вавельском кафедральном соборе Кракова, а его сердце — в Городке.

Как видим, для путешествия во времени совсем не обязательно изобретать сложные механизмы — стоит только взять в руки книгу — и воображение само устроит экскурсию в мир прекрасных женщин, сильных мужчин, готовых на все ради Отечества, а также — в мир придворных интриг, рождающих хаос и путаницу.

Несомненно, книга будет чрезвычайно интересна как профессиональным историкам, так и всем, кому небезразлична судьба земли белорусской.

Татьяна КЕБЕЦ

С точки зрения рецензента

Выдумывать и мечтать

О, этот чудесный мир грез, мечтаний и фантазий!.. Когда окунаешься в него — словно возвращаешься в детство. Выдумывать и мечтать — это так прекрасно! Кажется, что живешь жизнью своих героев, становишься участником ярких, веселых, забавных приключений. Я потешила себя, прочитав фантастическую повесть для детей Елены Туровой «Киндервилейское привидение» (Мн: Издательский дом «Звязда», 2013) — читателям, наверное, сразу вспомнится новелла ирландского писателя Оскара Уайльда «Кентервильское привидение».



В произведении рассказывается о приключениях семьи Островых. Глава ее, Константин, — креативный продюсер, к сожалению, очень невезучий. Справляться с неудачами ему помогает большая семья: жена Геля, сын Ванечка, братья-близнецы Лелик и Борик, дочь Лютик и прабабушка Клава. После провала очередного проекта Константин перебирается в старинную усадьбу под Вилейкой, которая досталась ему по наследству. Родовое гнездо таит много мрачного и странного. На пороге дома новых жильцов встречает «мумия». Это — сторож Капитолина Янко, нездорово бледная дама, без признаков возраста. Она предупреждает, что оставаться в усадьбе небезопасно. Но у предпринимателя возникает очередная идея: организовать в имении парк аттракционов. В старинном особняке обитает привидение, дух предка-чернокнижника, которому совершенно не нравится перспектива совместного пребывания с вечно шумными компаниями людей. Семья вступает в «борьбу» с привидением. Ей приходится пройти различные испытания, но в итоге все получается. «Киндервиль» становится парком. Праздничная иллюминация, воздушные шары, конфетти, лотерея, сахарная вата, музыкальный фонтан. Все удалось, но чего это стоило!..

Книга предназначена для детей среднего и старшего школьного возраста. Она написана живым языком, читается на одном дыхании. По повести снят кинофильм, кадры из которого представлены в книге в качестве иллюстрационного материала. Режиссер-постановщик и сценарист — Елена Турова. Советую всем найти время и прочитать или посмотреть эту забавную фэнтези-историю.

Анастасия АЛЕЩЕНКО

Из почты журнала

Из истории создания адресного стола в Гродно

Адресный стол, учреждение, выдающее справки о месте жительства лиц в данн. городе; существ. в большинстве значит. городов Империи.

Брокгауз и Ефрон.

Случайно мне на глаза попались архивные бумаги, свидетельствующие об истории создания Гродненского адресного стола более ста лет назад. Не хочу отбирать хлеб у историков, у них своя работа, у меня — свой интерес. Но меня всегда интересовал дух и быт того времени, а язык является своего рода скрепой, проводником между прошлым и настоящим, он много передает нюансов и деталей, даже в протокольно-канцелярском изложении встречаются личные теплые нотки. А вдруг удастся открыть в архивных бумагах что-то новое!

Вот черновик письма городского полицеймейстера на имя Виленского, Ковенского и Гродненского Генерал-Губернатора, правленый, скорее всего, собственноручно Гродненским полицеймейстером. Замечу, документ отпечатан на официальном бланке, в левом верхнем углу штамп и витиеватый номер исходящего документа № 11-25 «*М.В.Д. ГРОДНЕНСКАГА ГУБЕРНАТОРА. По Губернскому Правленію. Іюня 7 дня 1903 г. г. Гродна*». Там же вверху курсивом напечатано типографским способом «*Господину Виленскому, Ковенскому и Гродненскому Генералъ-Губернатору*».

В обращении Генерал-Губернатор обезличен, но известно, что с 12.10.1904 по 19.12.1905 гг. эту должность занимал Александр Александрович Фрезе.

К сожалению, подпись городского полицеймейстера на прошении неразборчивая.

В царской империи существовала «Табель о рангах», соотношение чинов по старшинству (закон о порядке государственной службы в Российской Империи почти без изменений действовал до 1917 года). К титулованным особам (великий князь, князь, граф, герцог, барон) обращались согласно титулу: Ваше Высочество, Ваше Сиятельство, Ваша Светлость.

Городской полицеймейстер обращается к губернатору с предложением создать адресный стол.

«*Въ отвѣтъ на предложение отъ 19 мая за № 843 имѣю честь объяснить...»* Здесь рука городского полицеймейстера делает редакторскую правку и вставляет «В.С.» — Ваше Сиятельство. Так требует служебная «Табель о рангах» обращаться к Виленскому, Ковенскому и Гродненскому Генерал-Губернатору.

Дальше изложение идет в стилистике той эпохи, лично меня изумляющей, приводящей даже в некий легкий трепет: «*...что по изложеннымъ въ представленіи моемъ отъ 26 апрѣля сего года за № 819 соображеніямъ я не нахожу необходимымъ вь настоящее время съ полною строгостью наблюдать и карать за непрописку паспортовъ въ городахъ Гроднѣ и Брестѣ впредь до учрежденія въ нихъ адресныхъ столовъ, устройство коихъ, думаю, осуществится въ 1905 году*».

Обращаю внимание на дату — планируется открыть адресный стол в 1905 году. В Белостоке к тому времени он уже

функционирует, а в Гродно еще нет. Вот городской полицеймейстер и ходатайствует «*перед Вашимъ Сiятельствомъ, если Вы признаете это возможнымъ, издать обязательное постановленiе, дающее право Полицеймейстеру собственною властью налагать въ административномъ порядкѣ штрафы за непрописку видовъ на жительство въ размѣрѣ точно указанномъ закономъ 7 iюня 1867 года*».

Стилю городского чиновника в обращении к вышестоящему по рангу Генерал-Губернатору совсем не чужды некая приподнятость, благородство и высокопарная вежливость, как мне кажется, здесь даже излишняя. В царских гимназиях хорошо преподавали словесность, языки, навыки академического стихосложения, каллиграфию и многое другое. Поэтому высокий полицейский чин вполне владел изящным слогом, на мой взгляд — с налетом вычурной манерности и напыщенности. Но что-то в этом было, дух навсегда утраченного прошлого...

Кстати, в 1905 году адресный стол в Гродно так и не заработал, помешала русско-японская война, которая началась в январе 1904 года.

В этом же прошении городской полицеймейстер сообщает, что по его соображениям нет необходимости с полной строгостью карать за «*непрописку»*.

«*...Если же Ваше Сiятельство найдет не соотвѣтственнымъ уполномочить* ***Полицеймейстера*** (правка) *налагать взысканiя, то во всяком случаѣ считаю необходимымъ, чтобы это административное наказанiе налагалось властью Губернатора, такъ какъ изданiе обязательного постановленiя до пересмотра вышеуказанного закона въ установленном порядкѣ имеет целью лишь* ***быстроту наказанiя****, но* ***не увеличенiе его карательной силы***».

Надо же! Вот оно что, наконец-то городской полицеймейстер сформулировал свою осторожную многоходовую и многословную мысль. Речь идет о ранее принятом законе 1867 года. Замечу, с того времени прошло тридцать шесть лет, но штрафы за «*непрописку видовъ на жительство»* действуют *«въ размѣрѣ точно указанномъ закономъ*».

В царской империи, полагаю, не было роста цен и инфляции, если с 1867 года как-никак прошло треть века, а денежные штрафы до 1903 года не изменились. Главная мысль обращения, которую, витийствуя, так хочет донести городской полицеймейстер до Генерал-Губернатора, заключена в следующем: в том законе предусматривалась быстрота наказания, «*но не увеличенiе его карательной силы*».

Быстрота быстротой, но и наказание было, то бишь все равно карали за «непрописку», другое дело, каким образом. Городской полицеймейстер не в меру цепок, настойчив, целенаправлен, и, знай, твердит свое — он предлагает ни более, ни менее, как пересмотреть закон об административном наказании. Обычно такая настойчивость, в конце концов, достигает успеха. (*ГУ «Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно» ф. № 2, опись № 25, дело № 689, л. 36*).

Не знаю, как далее формально проходило оформление прошения городского полицеймейстера, но, видимо, для чиновников это дело было весьма хлопотным. Лишь спустя полтора года появляется копия очередного заседания гродненской городской Думы от 24 января 1905 года. В заголовок выносится тема «*По предложенiю г. Губернатора объ учрежденiи въ гор. Гроднѣ адресного стола съ 1905 года*».

Документ этот вызывает несомненный интерес, так как расширяет наши представления о возможностях и влиятельности городской Думы. «*По предложенiю г. Губернатора объ учрежденiи въ гор. Гроднѣ адресного стола съ 1905 года. Копiя. ЖУРНАЛЪ № 1 ОЧЕРЕДНАГО ЗАСЕДАНIЯ ГРОДНЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ. 24 января 1905 года. Собранiе, в составѣ двадцати одного гласныхъ, подъ председательствомъ Городского Головы, СЛУШАЛИ...»*

Обсуждение в городской Думе открытия адресного стола в Гродно заняло десять страниц печатного текста. Идет горячая полемика. В подготовленных документах уже фигурируют штрафы. Правда, с оговоркой,

что общие взыскания с горожанина не должны превышать 15 рублей в год.

Гласный городской Думы М. Л. Обрембский подготовил встречное заявление, которое вступает в некое противоречие с рапортом министра внутренних дел и ходатайством о денежных штрафах с домохозяев «*за необъявление Полиціи о пріѣзжающіхъ и отъѣзжающихъ, по 25 коп. въ сутки съ человѣка*». Деньги по тем временам немалые, но городской казне на содержание адресного стола они не сильно помогут.

Максимилиан Людвигович Обрембский предупреждает на заседании городской Думы, что теперь забота о заполнении адресных листков и их доставка в полицию ложится на всех домовладельцев, плата за каждый адресный листок составит пять копеек. Но городское управление действует согласно «*ст. 9 Город. Полож. сверхъ сборовъ, установленныхъ подлежащими земскими городскими или сословными учрежденіями, ...никакія подати, тягости или службы не могутъ быть налагаемы на городских обывателей иначе какъ* ***въ порядкѣ законодательномъ***». Поэтому вопрос о плате за адресные листки подлежит обсуждению в Городской Думе, «*какъ представительницы интересовъ городскихъ жителей*».

Принятие этого решения городской Думой затягивается, несмотря на давление со стороны департамента МВД. Попробуем разобраться почему.

Следом за выступлением гласного М. Л. Обрембского в документе приводятся предложения обывателя, коллежского секретаря Густава Карловича Рейнгардта, человека, проживающего в Гродно, которому, как выяснилось из его заявления, совсем не безразлично, какие налоги будут платить горожане за содержание адресного стола. «*Заявление Коллежского Секретаря Густава Карловича Рейнгардта о томъ, что установление г. Полицеймейстера исключительного права продажи въ Полицейскомъ управлении книгъ и адресныхъ листковъ находитъ весьма стеснительнымъ для городских обывателей, а установление платы за адресные листки въ 5 коп. сборомъ, неустановленным закономъ*».

Предписание губернатора Виленского, Ковенского и Гродненского еще не имеет законодательной силы! Вот как все повернулось. Оказывается, на тот момент действовали местные законоположения, которые в затруднительной ситуации могли оспорить высокие министерские. Интересы города, читай, горожан, оказались для представителей городской Думы важнее.

Кстати, коллежский секретарь — чин X класса довольно низкого ранга, давался молодым людям по окончании высших учебных заведений. Некоторые в силу разных обстоятельств так и не могли подняться по служебной лестнице выше этого звания.

Но продолжим. Коллежский секретарь Густав Карлович Рейнгардт озабочен будущими нововведениями не менее гласного Думы М. Л. Обрембского. «*Установленіе г. полицеймейстеромъ исключительного права продажи въ Полицейскомъ Управленіи книгъ и адресныхъ листковъ... кроме того и обременительнымъ для плательщиковъ...*»

Далее Г. К. Рейнгардт представляет собственные расчеты. Он доказывает, что такие сборы будут тяжелы для большой части бедных жителей Гродно. Городской обыватель ставит также еще один щекотливый вопрос «*о способѣ взысканія пятачков за адресные листки. Многіе и даже большинство домовладѣльцевъ не решатся сами лично являться въ квартиры жильцовъ для полученія пятачковъ съ жильцовъ, прислуги и т. п.*».

Обыватель Г. К. Рейнгардт, как и представитель городской Думы единодушны в одном: «*А такъ какъ это сборъ, неустановленный закономъ, то не можетъ быть принимаемо мѣр понужденія ко взысканію таковаго*» (*ГУ «Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно» ф. № 17, опись № 1, дело № 319, л. 17 об*).

В городе на момент заседания городской Думы 24 января 1905 года насчитывается 6466 квартир. Если каждая квартира, включая хозяина, его родственников, временно пребываю-

щих и прислугу, должна будет уплатить за адресные листки 30 копеек, то «*с 6466 квартиръ получится сумма 1939 руб. 80 коп.*» Такой же расчет дотошный коллежский секретарь сделал по книжке гостиницы «Россия» — 48 руб. 80 коп.

В Гродно двенадцать гостиниц, не считая постоялых и заезжих дворов. Приводятся данные переписи за 1897 год, когда было расквартировано около 10000 военных, а это шестая часть населения. Из 2000 домов только треть — каменные, остальные деревянные, причем больших каменных не более 10—15.

Адресный стол учреждается при городском полицейском управлении и теперь не только домовладельцы, но и содержатели гостиниц, меблированных комнат и заезжих дворов «*г. Гродны обязаны объявлять Полиціи о пріѣзжающихъ и выбывающихъ изъ дома в домъ*». Само собой, швейцары и дворники будут доносить полиции о всех подозрительных лицах, въезжающих в дома, и всех происшествиях, которые могут случиться во дворах и на улицах города.

Архивные документы подтверждают, что чиновниками Гродно исследовался опыт уже существующих адресных столов Харькова, Вильно, Ковно, Белостока и других. Тогда существовало два типа содержания адресных столов. В одном случае из городской казны назначалась необходимая сумма, во втором — «*возложение на самыхъ домовладѣльцевъ обязанности оплачивать всѣ расходы на содержаніе адресныхъ карточекъ и домовыхъ книгъ по чрезвычайно возвышенной цѣнѣ*».

На заседании Гродненской городской думы от 24 января 1905 года идут прения, и здесь всплывает еще один любопытный момент, на который стоит обратить внимание: «*...было-бы желательно, чтобы проектъ положенія объ адресномъ столѣ, подлежащій утвержденію административной власти, былъ предварительно присланъ на рассмотрѣніе Гродненскаго Общественнаго Управленія. Соображенія эти Городская Управа представила на обсужденіе Думы*».

Исполнительная власть работает в одной связке с общественностью города. «*Далѣе изъ содержанія приведеннаго предложенія г. Губернатора видно, что вопрос объ открытіи адресного стола при полиціи для указанныхъ цѣлей, уже предрѣшен. Такимъ образомъ, задача Гродненского Общественннаго Управленія, въ настоящемъ случаѣ, по мнѣнію Управы сводится къ тому, чтобы обслѣдовать и высказаться по вопросу о томъ, какой типъ адреснаго стола наиболѣе отвѣчаетъ нуждамъ и средствамъ города, при чемъ должно быть обращено вниманіе на осуществленіе означенного проекта **съ наименьшими тяжестями для обывателей города***».

В конце документа приводятся аргументы из пяти пунктов, три звучат особенно убедительно:

1. Малочисленность населения и ограниченность территории города «*составятъ мало интереса и никому не принесутъ существенной пользы*»;

2. «*...Возможность къ обнаруженію тѣх элементовъ, пребываніе коихъ можетъ быть вредно для общественнаго спокойствія, едва ли оправдаетъ эту цель, такъ как жизненный опытъ доказываетъ, что неблагонадежный элементъ, составляющій предметъ сыска полиціи, почти всегда избѣгаетъ регистраціи въ адресныхъ столахъ, скрываясь въ разных притонахъ и трущобахъ*»;

3. Отсутствие в Гродно промышленности «*съ пришлымъ населеніем... всякіе необходімые свѣдѣнія о мѣстонахожденіи какого лібо ліца, прожівающего въ городѣ, весьма легко получить, безъ заимствованія этихъ свѣдѣній из специального адресного стола. Наконецъ въ виду крайне тяжелыхъ экономическихъ условій, вызванныхъ войною* (русско-японской. — **И. Ш.**)*, не только не можетъ быть удѣлена какая либо сумма изъ городскихъ средствъ на оборудованіе и содержаніе адресного стола, но и трудно рѣшиться отнести этотъ расходъ на домовладѣльцевъ...*» Многие горожане строили свои дома на ссуды земельных банков, а большинство ремесленни-

ков лишилось в настоящее время заработков, они нуждаются в насущном хлебе «*вслѣдствіе чего, всякое даже малѣйшее обремененіе ихъ сопряженное при томъ для бѣднаго, малограмотнаго класса домовладѣльцевъ съ издержками по найму лицъ для веденія адресныхъ листковъ, безъ всякаго сомнѣнія ухудшитъ ихъ положеніе. Въ виду изложеннаго Дума единогласно ПОСТАНОВИЛА: убѣдительно просить г. Начальника губерніи, введеніе адреснаго стола* ***отложить*** *до болѣе благопріятнаго времени, когда съ окончаніем войны, можетъ быть улучшится матеріальный и экономическій бытъ большинства населенія города».* (*ГУ «Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно» ф. № 17, опись № 1, дело № 319, л. 16 об*).

Так что вплоть до июля 1913 года городская дума к вопросу об организации адресного стола в Гродно не возвращались.

25 мая 1913 года Гродненский Губернатор Генерал-лейтенант Павел Карлович фон Ренненкампф подписывает Обязательное постановление для жителей г. Гродно и его предместий об обязательном ведении домовых книг, теперь все домовладельцы не только «*обязаны объявлять Полиціи о пріѣзжающихъ, выѣзжающихъ и выбывающихъ изъ дома в домъ»,* но также будут платить штрафы за несоблюдение этого постановления.

Губернатор 13 июля 1913 года утверждает Положение об адресном столе в г. Гродно, где прописано, что «*в г. Гродно при городском Полицейском Управлении утверждается адресный стол для справок о месте жительства всех лиц, как постоянно живущих, так и временно проживающих в г. Гродно», который содержится на средства, выручаемые от продажи домовладельцам адресных листков, домовых книг и за выдаваемые частным лицам справки*».

В рапорте гродненского полицеймейстера от 13 июля 1913 года на имя его Превосходительства Гродненского губернатора сообщается «*признать возможным учреждение в г. Гродно адресного стола на таких же основаниях, на каких учрежден такой в г. Белостоке*». В это время уже идет строительство Гродненской крепости, в город прибывает много людей, поэтому «*требуется ежедневное доставление начальнику Жандармской команды сведений обо всех лицах, прибывающих в Гродно*».

Но вернусь к «пятачкам» — цене за один адресный листок, так бурно обсуждаемой в январе 1903 года на заседании городской Думы. В этом же рапорте Гродненского полицеймейстера от 13 июля 1913 года читаем: «*...с правомъ взиманія за листки на прибывшихъ и выбывшихъ въ гостиницы и меблированные комнаты по 10 коп., въ заезжіе дома и постоялые дворы по 5 коп. и в частные дома не болѣе 3 коп.».*

Так что цена общими усилиями городского управления и представителей горожан была снижена с пяти копеек до трех. Как говорится — без комментариев.

Имеется еще один рапорт Гродненского полицеймейстера от 21 декабря 1913 года, в котором сообщается: «*Такъ какъ регистраціей населенія, явившейся вслѣдствіе открытія адресного стола, на долю чіновъ городской поліціи и канцеляріи ввѣреннаго мнѣ полицейскаго управленія выпало не мало труда, то въ поощреніи понесенныхъ трудовъ я почтительнѣйше прошу Ваше Превосходительство, не признаете ли возможнымъ разрѣшить выдать пособіе къ предстоящему празднику Рождества Христова, какъ служащимъ адреснаго стола, такъ чинамъ наружной полиціи и канцеляріи.*

При этомъ докладываю, что въ данное время въ наличности адреснаго стола имѣется 1737 р. 1 коп. при каковой суммѣ я съ своей стороны нахожу возможнымъ выдать не болѣе 1200 рублей, остальную же сумму 537 руб. 1 коп. оставить на текущемъ счету адреснаго стола на удовлетвореніе нуждъ его».

Гродненский Губернатор уже не «Ваше Сиятельство», а «Его Превосходительство Господин Гродненский Губер-

натор». К 1 июля 1912 года должность Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-губернатора упразднена.

Гродненский Губернатор Генерал-лейтенант Павел Карлович фон Ренненкампф 23 декабря 1913 года наложил на рапорт Гродненского полицеймейстера свою резолюцию «Разрешаю», подпись размашистая, слабый нажим, но вполне разборчивая, росчерк больше напоминает след карандаша, чем перьевой ручки.

Несмотря на то, что между созданием двух документов — черновика Гродненского полицеймейстера от 7.06.1903г. и рапорта от 21.12.1913 г. — прошло более десяти лет, в канцелярском языке подателя узнается все тот же неизменный стиль верного державного служаки и радетеля за своих подчиненных. Гродненский полицеймейстер не забывает упомянуть, что «*на долю чіновъ городской поліціи и канцеляріи ввѣреннаго мнѣ полицейскаго управленія выпало не мало труда».*

Из архивных источников известно, что содержание адресного стола не превышало 600 рублей в год, жалование заведующего составляло 360 рублей, помощника — 240 рублей. Жалование не слишком высокое по тем временам. Например, железнодорожный инженер получал от 150 рублей в месяц, а среднегодовая зарплата врача достигала 2400 рублей, учителя — 600 рублей.

Гродненский полицеймейстер поставил на рапорте свою подпись ручкой со вставным тонким пером, опять не очень разборчиво. Директор исторического архива Татьяна Юрьевна Афанасьева помогла рассекретить фамилию Гродненского полицеймейстера. По имеющимся документам, с 1903 по 1913 год городское полицейское управление возглавлял Павел Сергеевич Геннисареццкий (или Генисаретский) — коллежский асессор, с 1904 года гродненский полицеймейстер, сменивший Н. М. Дынгу, ранее занимал пост помощника виленского полицеймейстера.

На рапорте Гродненского полицеймейстера стоит регистрационный номер 6843, указывающий на значительный документооборот в Гродненской губернии в тот 1913 год.

Ирина ШАТЫРЕНОК

Жизнь в искусстве

Портрет современника

Человек — главная загадка любой эпохи. Меняются ли люди с ходом истории? Каковы они сегодня? Кто он, наш современник, герой нашего времени? Ответить на эти вопросы постарались белорусские фотохудожники, представив свое видение современного человека на выставке «Портрет современника». Организатором выставки выступил народный фотоклуб «Минск», куратором — Владимир Блинов.

«Людей в последнее время снимают очень мало, а если и снимают, то не решаются показать, и эта проблема существует не только в фотографии, — рассказывает Владимир Блинов. — Попытаться исправить эту ситуацию должна была выставка портретной фотографии. Из-за сложности и обширности темы подготовка к ней заняла долгое время. Экспо-



Владимир Блинов. «Учитель информатики».

зиция получилась очень разносторонней, прежде всего, из-за мастерства фотографов, их опыта. Мы, как организаторы, не задавали жестких рамок для авторов, да и понятие «портрет» трактовали достаточно широко. На выставке были представлены не только портреты, но и репортажные снимки, и жанровая фотография. Главной задачей было раскрыть тему человека. На выставке не было представлено портрета парадного или гламурного. Потому что нам важнее было показать человека живого, показать его эмоции, чувства, переживания, его особенности, а не какую-то бездушную застывшую картинку».

Тема человека одна из самых важных в искусстве. Любой вид искусства, будь то литература, кино или живопись, пытается разгадать загадку человека. Анализирует его мысли, объясняет его поступки, старается понять его сущность. Не исключением стала и фотография, молодой и актуальный вид искусства. Подтверждением тому — выставка «Портрет современника».

«Для меня самыми выразительными фотографиями были портреты пожилых людей, — продолжает Владимир Блинов. — В каждой их морщинке отражена жизнь, которую они прожили, отражено время. Дети только начинают жить, на это интересно смотреть, но фотографии стариков впечатляют больше, прежде всего, своей глубиной и подачей».



Ольга Максимова.
«Человек из Полонечки».

Любой снимок несет в себе загадочную историю каждого изображенного на нем человека. Случайного героя фотографии, которого захватил объектив фотокамеры. Эти снимки не рассказывают каких-то определенных историй, они дают возможность зрителю придумать ее самому. Самому вообразить, о чем эти люди думали, что чувствовали, куда направлялись. Узнать в этих снимках самого себя.

Наравне со зрителем и некоторые фотографы порассуждали о героях своих фоторабот, прикрепив маленькие истории о незнакомцах, например, Виталий Ракович.

«Я не снимаю постановочную фотографию, — объясняет он, — все люди, которых я фотографирую и в том числе те, кто представлен на выставке, — это случайные портреты. Это люди, которых я выхватил из

толпы, мне интересней сделать фотографию человека, который не знает, что его снимают. Тогда на его лице, в его мимике, жестах будут искренние эмоции, я снимаю интересных людей с точки зрения сюжета или фактуры лица, общего состояния в текущий момент. Я не могу ответить на вопрос кто он, мой современник, он совершенно разный. Поэтому и работы на выставке совершенно разные, но в то же время это такой срез людей, которых можно встретить в обычной жизни: на улице, в автобусе, в кино — везде».

На выставке «Портрет современника» фотографы по-разному посмотрели на человека. Кто-то видел своего современника в наивных глазах и смеющемся лице ребенка, который только начинает свою дорогу в этом мире. Кто-то видел современника в силе мужчины или изяществе и нежности женщины. Кто-то разглядел в утомленном грустью лице проблемы нашего современника или его счастье в случайно пойманной улыбке или выхваченных из толпы влюбленных глаз. Кто-то разглядел современника в мудром лице старика, которое таит в себе много ответов, много историй и пройденных путей. Они все очень разные эти современники, но все-таки есть между ними что-то общее, что-то невидимое связывает всех этих незнакомцев.



Артур Гапанович. «Дети».

«Все это — живые люди, — говорит Владимир Блинов, — нет застывших, нет позирующих людей, они все живые, настоящие. Они все — наши современники, совершенно разные, как и мы сами».

Ольга ЛИТВИНЮК



Авторы номера

ЖДАН (Пушкин) Олег Алексеевич. Родился в 1938 г. в Смоленске (Россия). Окончил историко-географический факультет Могилевского педагогического института и Литературный институт им. М. Горького. Прозаик, драматург, переводчик. Автор многих книг прозы. Живет в Минске.

БАШЛАКОВ Михась (Михаил) Захарович. Родился в 1951 г. в поселке Станция Теруха Гомельского района Гомельской области. Окончил историко-филологический факультет Гомельского государственного университета. Поэт. Автор многих книг поэзии. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Живет в Минске.

ЯР Вадим (Салеев Вадим Алексеевич). Родился в 1939 г. в Ленинграде. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета, аспирантуру Московского государственного университета. Доктор философских наук, профессор, Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь. Автор более 500 статей в области театра, литературы, архитектуры и кино. Живет в Минске.

КУЦ Виктор Константинович. Родился в 1940 г. в д. Рыбаки Щучинского района Гродненской области. Окончил Гродненский химико-технологический техникум. Автор ряда поэтических сборников. Живет в Гродно.

СУПРУНЧУК Виктор Петрович. Родился в 1949 г. в д. Селец Березовского района Брестской области. Окончил Белоозерское училище электротехники, факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор более десяти книг прозы. Лауреат литературной премии им. Ивана Мележа. Живет в Минске.

ПЕТРОВИЧ Дмитрий Леонидович. Родился в 1971 г. в г. Заславль Минского района. Окончил Белорусский государственный педагогический университет. Поэт, прозаик, музыкант. Автор поэтического сборника «Белая квецень кахання» и книги прозы «Белая жанчына». Живет в Минске.

МИХЕЙКИНА Людмила Сергеевна. Родилась в 1955 г. в Минске. Окончила Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В. В. Куйбышева. Автор книги повестей и рассказов «Дорогами любви», романа «Неизведанное тепло» и поэтического сборника «Такая большая короткая жизнь». Живет в Минске.

БОРИСОВ Вадим Николаевич. Родился в 1935 г. в г. Троицк Челябинской области. Поэт, прозаик. Автор книг поэзии «Болючая звезда» и «В непечаль». Живет в Борисове.

ГОРОВЕНКО (Рыжанкова) Оксана Валентиновна. Родилась в г. Молодечно. Окончила Белорусский государственный университет. Кандидат экономических наук, доцент Белорусского государственного экономического университета. Автор книги философско-психологической лирики «Наедине». Живет в Минске.

АЛАНОВА Света (Гуринович Светлана Михайловна). Родилась в 1974 г. в Минске. Окончила Минский государственный педагогический университет. Поэтесса. В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в Минске.

ЛОПУХИН Евсей Евстафиевич. Родился в 1937 г. в Бобруйске. Учился в Одесском мореходном училище, окончил Гродненский педагогический институт. Поэт. Печатался в республиканской прессе, коллективных сборниках. Живет в Бобруйске.

ДЖО АЛЕКС (Сломчинский Мацей). Родился в 1920 г. в Варшаве (Польша). Польский писатель, переводчик и драматург. Автор псевдоанглосаксонских детективов и милицейских повестей, среди которых «Я третий нанесла удар», «Лабиринты смерти», «Пусть найдут своих врагов», «Черные корабли», «Серая тень» и др. Кавалер Ордена Возрождения Польши. Умер в 1998 году в Кракове (Польша).

ДРОСТЕ-ХЮЛЬСХОФФ Аннета фон. Родилась в 1797 г. в д. Хюльсхоф близ Мюнстера (Германия). Училась в пансионе профессора Антона Матиаса Шприкмана. Немецкая поэтесса и новеллистка. Автор сборников «Стихотворения», «Степные картины», «Горы, леса и озера» и др. Умерла в 1848 году в замке Меерсбург (Германия).